

В. Г. БАЗАНОВ

От фольклора к народной книге

В. Г. БАЗАНОВ



От фольклора
к народной
книге



В. Г. БАЗАНОВ



От фольклора
к народной
КНИГЕ



Издание второе



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
1983

ББК 83.3Р1
Б 17

Оформление художника
Н. НЕФЕДОВА

Б 4604000000-050 КБ-41-78-83
028(01)-84

© Издательство «Художественная ли-
тература», 1973 г.

© Оформление. Издательство «Художес-
ственная литература», 1983 г.



В статье В. И. Ленина «Еще один поход на демократию» не случайно старому антиингилистическому роману «Русского вестника» и новой охранительной публицистике «Вех» противопоставлены массовые народные книжки. «Г-н Щепетев, — пишет Ленин, — наблюдал (если наблюдал) Париж глазами озлобленного на демократию обывателя, который в первом появлении на Руси массовой демократической книжки сумел усмотреть одно только „беспокойство“»¹. Эту демократическую книжку Ленин характеризует следующим образом: «Миллионы дешевых изданий на политические темы читались народом, массой, толпой, «низами» так жадно, как никогда еще дотоле не читали в России.

Некрасов восклицал в давно-давно прошедшие времена:

Придет ли времечко
(Приди, приди, желанное!),
Когда народ не Блюхера
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Желанное для одного из старых русских демократов «времечко» пришло. Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную торговлю — демократической дешевой брошюрой. Демократическая книжка стала *базарным* продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси, — была пропитана сплошь эта новая базарная литература...»². «Базарная» означает здесь не лубочную, третьеразрядную, псев-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 87.

² Там же, с. 83.

донародную литературу с Никольского рынка, наоборот: подчеркивается огромная роль этой литературы в политическом воспитании народных масс. В. И. Ленин знает, что демократическая народная книжка у крепостников и либералов не может вызвать сочувствия, они с пренебрежением отзываются о ней и побаиваются ее: «...Какое «беспокойство»! — воскликнула мнящая себя образованной, а на самом деле грязная, отвратительная, ожиревшая, самодовольная либеральная свинья, когда она увидела *на деле* этот «народ», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю»¹.

Родословная демократической книги для народа ведется со знаменитых сатирических и «подблюдных» песен Рылеева и Александра Бестужева. Но это еще как бы предыстория «народной книги». «Миллионы» дешевых книг социалистического содержания, о которых упоминает В. И. Ленин, появляются в годы первой русской революции. В статье «Из прошлого рабочей печати в России» В. И. Ленин уточняет историю бесцензурной пропагандистской литературы, отдавая должное эпохе 60—70-х годов XIX века. В эти годы были созданы демократические книги для народа, сыгравшие исключительно важную роль в революционной пропаганде. «Эпоха 60-х и 70-х годов знает целый ряд начавших уже идти в «массы» бесцензурных произведений печати боевого демократического и утопически-социалистического содержания»². Таким образом, В. И. Ленин поставил перед историками литературы и фольклора очень значительную и заманчивую задачу: собрать необходимые материалы по истории новой, «базарной» литературы, изучить и прокомментировать их.

Наша работа посвящена истории демократической книги, связанной с героическим «хождением в народ» революционных народников и их предшественников в 60—70-е годы XIX века. В 1870-х годах, как никогда прежде, возникает необходимость идти в народ не с пустыми руками. Революционные народники много сделали, чтобы создать пропагандистскую литературу, специальные книги для народа. Нужно было противостоять реакционной литературе, противопоставить ей свою, научно-популярную и пропагандистскую. За решение столь ответственной задачи и взялись участники массового «хождения в народ». Народники-пропагандисты, говоря словами В. И. Ленина,

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 83.

² Там же, т. 25, с. 94.

«способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа»¹. В этом состоит историческая заслуга раннего революционного народничества, движения массового, вырвавшегося из тесных студенческих кружков на широкие дороги крестьянской России. Понятно, что нас не могут не интересовать сами пропагандисты, их политические биографии, революционные кружки, из которых они вышли, и та идейная борьба, которая сопутствовала успехам и поражениям начавшегося движения.

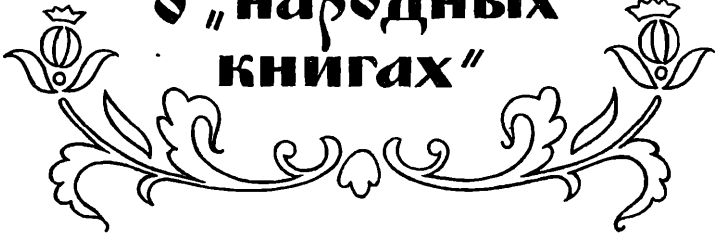
В настоящей работе постоянно придется обращаться к фольклору, напоминать о нем. Литература многое берет из фольклора и спорит с ним. Русский эпос и сказки в устном бытовании и в литературных интерпретациях — явления столь же схожие, как и различные. Отношения между фольклором и литературой не всегда имели гармонический, «дружеский» характер. История знает и разлады, столкновения, противоборство двух художественных и идейных систем. Литература стремится сохранить и возродить фольклорные жанры, но возрождение часто приводит к нарушению и разрушению первоначальных основ. Некрасов и революционные народники с помощью фольклора стремятся создать «народные книги» демократического и социалистического содержания.

В обсуждение жизненно важных проблем и текущих событий в пореформенные годы активно включаются сами крестьяне. Яким Нагой — из тех крестьян, которые наслушались пропагандистов и, вернувшись из Петербурга в деревню, сами произносят с земляного «валика» речи, не предусмотренные фольклорной традицией. Некрасов не только создатель подлинной «народной книги», но и широкой демократической программы народознания. Поэтому много места в работе отводится Некрасову, его поэме «Кому на Руси жить хорошо».

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 315.



К спору о «народных книгах»



1

Сам термин и понятие «народные книги» не вполне выяснены и научно определены. Под этим понятием часто объединяются явления, весьма разнородные как по своему происхождению, так и по жанровой природе и социальному значению.

В «Реальном лексиконе истории немецкой литературы» под редакцией Меркера и Штамлера можно, например, прочесть, что «народ как таковой не принимал никакого участия в возникновении „народных книг“». Они пришли к нему, спустились из «высших слоев литературной образованности»¹. Таким образом, здесь повторяется, даже в усиленном и подчеркнутом виде, теория Ганса Наумана, утверждавшего, что «народ не создает, а лишь репродуцирует» творческое богатство высших классов. Однако было бы крайне опрометчиво утверждать, что «народные книги» создает сам народ, то есть отождествлять их с фольклором. Многие «народные книги» действительно пришли из литературы. Но они не просто «спускались» в народ, как это можно было бы сказать о некоторых элементах материального быта (и то с большими оговорками). Они перерабатывались, и не только авторами, писавшими для народа, но и самим народом. Народные рассказчики, скоморохи и трактирщики, балагуры и сказочники переосмыслили сю-

¹ P. Merker und Wolfgang Stammer. Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte, Bd. III. Berlin, 1928/1929, S. 481.

жеты мировой литературы, циклизировали шванки и анекдоты вокруг определенных лиц (Эйленшпигель в Германии), придавали острое социальное звучание заимствованным мотивам и вносили новые, неведомые «высокой литературе». И затем переработанные народом сюжеты и мотивы снова входили в литературу, обогащая ее.

Молодой Энгельс в статье «Немецкие народные книги» (1839) указывал на неоднородность «народных книг», на пестрое их содержание¹. Далеко не каждая «народная книга» выдерживала историческое испытание. То, что казалось поэтическим и содержательным в эпоху средневековья, в новых условиях становилось консервативным и архаическим. Энгельс приветствовал те книги, которые помогают народу «осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к отечеству»².

Западноевропейская «народная книга» имеет свою историю, она широко использует фольклорное наследие, часто обряжается в фольклорную поэтику и сама выступает на правах народного предания или легенды. Без художественного творчества народных низов были бы немыслимы не только Уленшпигель (Эйленшпигель) в романе Шарля де Костера, но и Санчо Панса Сервантеса или Симплициссимус Гриммельсгаузена³. И если творец «Симплициссимуса» сам был выходцем из народа и непосредственно перерабатывал фольклорные мотивы и сплавлял их с наследием литературы (вплоть до галантного романа), то Сервантес и де Костер не были ни выходцами из народа, ни писателями, писавшими только «для народа» (разумея под этим низшие социальные слои читателей). Но они не могли бы стать национальными писателями, если бы на их творчество не оказала влияния та фольклорная стихия, которая присутствовала и в так называемых «народных книгах».

Конечно, «Симплициссимус» является прежде всего выдающимся памятником немецкой литературы. Но и сам жанр и биография главного героя многим обязаны народной словесности. Приключения Симплициссимуса составляют целый роман, они под стать приключениям

¹ Характеристика статьи Ф. Энгельса о немецких народных книгах содержится в кн.: Фридендер Г. М. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. М., 1968, с. 491—496.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2. М. — Л., 1929, с. 26.

³ Морозов А. А. Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен и его роман «Симплициссимус». — В кн.: Симплициссимус. Л., 1967.

сказочных героев, их путешествиям «за тридевять земель». У фольклора свои географические горизонты, они часто безграничны, иногда весь мир умещается в один сказочный сюжет. Симплициссимус тоже не боится расстояний, он бесстрашно покидает пределы своей земли, странствуя, оказывается в Московии, где принимает участие в сражении с татарами, путешествует по Волге, попадает в плен. Из татарского плена он бежит в Корею, затем возвращается через Ближний Восток на родину. Куда бы ни забросила судьба Симплициссимуса, каким бы превратностям он ни подвергался, в романе Гриммельсгаузена необычайные приключения и странствия не заслоняют немецкой народной жизни, фольклорной основы — в какой-то степени это и «крестьянский роман», написанный с позиций народного рассказчика. «Никто из писателей XVII века, — пишет А. А. Морозов, — не защищал человеческие права, честь и достоинство крестьянина с такой убежденностью, горячностью и упорством, как Гриммельсгаузен»¹.

И другие западноевропейские романы, посвященные средневековью и ставшие достоянием мировой литературы, сравнительно легко обнаруживают свои связи с фольклором, с народными шванками и анекдотами. А. Г. Горнфельд «Легенду об Эйленшпигеле» сравнивает с «Илиадой». «Широтой своего идейного размаха, глубиной захвата народной жизни, высотой нравственных помышлений «Эйленшпигель», действительно, влечет мысль к своим историческим прообразам — великим народным поэмам далекой старины», — писал А. Г. Горнфельд². У Костера были и более близкие источники (народные сказания). Однако, не утрачивая своих фольклорных связей, «Эйленшпигель» выходит далеко за пределы устных легенд. «Легенду об Эйленшпигеле» один из современных исследователей называет историческим романом, ибо основу сюжета составляют Нидерландская революция XVI века и связанные с ней исторические события³.

«Доктор Фауст» Иоганна Шписа (1587) тоже многим обязан средневековому немецкому фольклору — народным рассказам о кудесниках, бродягах, балагурах и проказниках. Путешествующий народный Фауст из богатых

¹ Морозов А. А. Г. Гриммельсгаузен. — В кн.: История немецкой литературы, т. 1. М., 1962, с. 421.

² См. статью А. Г. Горнфельда в кн.: Легенда об Эйленшпигеле и Ламме Гудзаке. Пг., 1919, с. 12.

³ Литвинов П. В. Художественная летопись Нидерландской революции и ее автор. — Вопросы истории, 1971, с. 158.

палат попадает в харчевни и на ярмарки; приходится ему встречаться и с крестьянами и ссориться с ними. «Когда он подходил уже к самому городу и завидел перед собой город, встретился ему крестьянин с четырьмя лошадьми и пустой повозкой. Доктор Фауст обратился к этому крестьянину с добрыми словами, чтобы он пустил его сесть и довез до городских ворот, а ему этот грубиян отказал, говоря, что он и так прекрасно дойдет»¹. Странствующий кудесник не потерпел столь грубого обращения «грязного невежи» и «пустил все четыре колеса на воздух». Такое путешествие, осложненное комическими эпизодами, неожиданными встречами, ссорами и примирениями, напоминает обычное сказочное путешествие. Структура самого жанра предполагает мотивы площадного фольклора и натуралистические сцены.

Немецкая народная легенда о Фаусте, пройдя множество литературных переработок, в новом виде возвращается в классическую литературу, становится сюжетной основой «Фауста» Гете. Только в творческой обработке Гете народная легенда приобретает мировое идейное и художественное значение. Но были еще лубочные «народные книги», где легенда о Фаусте обростала грубым эпикуреизмом и разными колдовскими приключениями. Молодой Энгельс справедливо указывал в своей статье «Немецкие народные книги», что «сказание о Фаусте низведено до уровня банальной истории о ведьмах, прикрашенной ординарными анекдотами о волшебстве...»².

Напомним также, что во Франции народные устные легенды о великане Гаргантюа и «народная книга» о нем («Великая хроника Гаргантюа», 1532) послужили непосредственным источником для Рабле, для его знаменитого романа.

2

В конце 1850-х годов и в особенности в 1860-е годы русские «народные книги» привлекают к себе пристальное внимание. Их изучают, классифицируют, о них спорят ученые, писатели, публицисты и журналисты различных политических направлений. Сопоставляя, например, статьи Ф. И. Буслаева, Д. И. Писарева и А. Н. Пыпина, посвященные «народным книгам», легко убедиться, что спор о них носил исключительно принципиальный характер

¹ Легенда о докторе Фаусте. М.—Л., 1958, с. 119.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 30.

и выходил далеко за пределы собственно филологической проблемы.

В статье «О русских народных книгах и лубочных изданиях», опубликованной в 1861 году в «Отечественных записках», Ф. И. Буслаев рассматривал лубочные издания в России и на Западе. Ученый-филолог видел в «народной книге» отражение обычаев, преданий, народного слова, идей и воззрений глубокой старины. «Народные книги» существуют у всех народов. «В Германии, Франции, Италии, — пишет Буслаев, — простой народ и доселе пробавляется лубочными изданиями, вроде наших картинок, изображающих Страшный суд, лестницу грехов и добродетелей и т. п.»¹. По Буслаеву, «народная книга» создается в результате противоборства различных сил в исторической жизни народа. По его мнению, лубочные издания сыграли значительную роль в умственной жизни простонародья. «Что для образованного человека — журнал или газета, то для грамотного простолюдина — народный альманах или письмовник, а для безграмотного — сказка или изустная легенда»².

В эпоху русского средневековья «народные книги» — это прежде всего книги, пользовавшиеся большим распространением в «народных низах». Сюда относятся нравоучительные сочинения («душеполезное чтение»), агиографические легенды, волшебные-рыцарские романы, сказки, фантастические путешествия в неведомые и загадочные земли, сборники новелл и анекдотов, описания походов разбойников, наконец сонники, травники, гадательные книги и т. п. Позднее (с середины XVIII века) по крайней мере часть «народных книг» приобретает название лубочной литературы.

А. Н. Пыпин подразделял «народные книги» на два разряда. В первый входили книги лубочные, оставшиеся в достояние от средних веков и XVIII столетия, «народные книги» в прямом смысле этого слова; во второй — книги для народа, созданные писателями, очень неравноценные по своему составу. Среди «народных книг» было немало лубочных, написанных в нарочито стилизованной манере, развлекательных, вроде «Бовы Королевича», «Милорда Георга», «Ваньки Каина», «Прекрасной Магометанки». «Это — народная литература, возникавшая сама по себе, собственными усилиями народных грамотников, без всяко-

¹ Отечественные записки, 1861, № 9, с. 1—2.

² Там же, с. 3.

го участия образованных сословий и литературы высшего класса. Другой разряд составляют те народные, а еще чаще мнимонародные книжки, появление которых довольно ново и начинается с тех пор, как в литературе высшего класса стала являться мысль о необходимости позаботиться о развитии массы и о сообщении ей разных полезных сведений и нравоучений. Этих книг также довольно много, и хотя они никогда не могли сравняться в популярности с книгами первого разряда, но стали, однако, благодаря дешевым ценам, появляться в коробах разносчиков или на столах букинистов, которые служат поставщиками книжного товара для народной публики». И в том и в другом «разряде» имеются книги полезные и «нелепые», «иногда серьезные, а иногда крайне наивные или даже тупые»¹. В общем «народные книги» — явление довольно пестрое и противоречивое. Их следует рассматривать в историческом становлении и постоянном, подчас очень сложном взаимоотношении и с фольклором и с литературой. Такова точка зрения «Современника».

Совершенно очевидно, что нельзя всю лубочную литературу считать низкопробной, отражающей исключительно народные предрассудки. Буслаев с полным основанием находил в лубочных изданиях отражение многовековой истории народа, народных верований и нравственных понятий. Конечно, эта литература в основе своей отвечала патриархальному мировоззрению русского крестьянина. Но и в нее проникали демократические настроения, свойственные устной народной поэзии. М. Н. Сперанский в некоторых лубочных листах находит «отражение антидворянских настроений, действительно имевших место в середине XVIII века»². Это же можно сказать и о народных картинках. «Никогда не было в народе и в Москве, — свидетельствует в 1796 году А. Т. Болотов, — столько едких сатир и пасквилей, как ныне... Они были рисованные и с девизами карикатуры, но так, что по сходству лиц, стана, фигуры и платья можно было тотчас распознавать, о ком шло дело. Все и многие знатнейшие фамилии были перебраны, и начато с главнокомандующего Москвою, г. Измайлова»³.

¹ Современник, 1865, № 5, с. 38.

² Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века. М., 1963, с. 84.

³ Болотов А. Т. Памятник протекших времен, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах. М., 1875, с. 91—92.

Если бы все лубочные книжки, пришедшие из XVIII века и вновь созданные мнимыми поборниками народного блага, представляли собой одну серую массу, не поднимались над обычным невежеством, то тогда Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову и Писареву не стоило бы так часто возвращаться к ним, тратить время на полемику с явной бездарностью. Но в том-то и состояла сложность этой проблемы, что «народные книги» как первого, так и второго разряда (по Пыпину) пользовались в народной среде огромной популярностью и оказывали сильное влияние на крестьянские умы. Поэтому приходилось в «Современнике» и в «Русском слове» постоянно возвращаться к «народным книгам», вмешиваться в судьбу книг для народа.

Официальные круги тоже понимали, что «народные книги» участвуют в формировании крестьянского мировоззрения. Поэтому Николай I изъявил желание осуществлять личный контроль над этого рода литературой. На его имя в 1850 году пишется специальная записка, в которой предлагается дать высочайшее указание авторам популярных книжек, чтобы они постоянно содействовали «утверждению наших простолюдинов в добрых нравах и в любви к православию, государю и порядку»¹. Тогда же нашлось множество писак, с готовностью выполнявших правительственный социальный заказ. В книгах, прославляющих самодержавие и православие, не было недостатка. Книги для народа писались и издавались, продавались по дешевке, но это были книги монархического и религиозного содержания.

Учитывая опасность охранительной литературы, ее воздействия на народное сознание, еще Белинский предупреждал, что «не должно писать книг для народа тем писакам, которые не знают народа, ни его характера, ни его обычаев, ни его образа жизни, ни его потребностей...»²

С конца 1850-х годов вопрос о народном просвещении и, в частности, о литературе для народа приобретает особую остроту.

3

«Современник» постоянно напоминает, что в России есть люди, пытающиеся оградить народ от просвещения.

¹ Цит. по кн.: Б а н к Б. В. Изучение читателей в России (XIX век). М., 1969, с. 14.

² Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч., т. 9. М., 1955, с. 66.

Имеются даже теоретики, которые доказывают, что крестьянин «от природы расположен к лениности» и «мало имеет охоты к просвещению». «Обе эти клеветы,— замечает Чернышевский,— одинаково тупоумны и нелепы». Стремление в народе к просвещению «чрезвычайно сильно», но обстоятельства «слишком не благоприятствуют его осуществлению»¹. С просвещенным народом легче решать исторические задачи социального преобразования. От степени просвещения и цивилизации во многом зависят народное благосостояние и экономическая деятельность, а также народная нравственность.

Предсказывая победу над устаревшими обычаями, Чернышевский вселяет веру в возможность революционного преобразования народной жизни. Исторический оптимизм составляет органическую черту высказываний Чернышевского относительно народного просвещения.

Сам Чернышевский намеревался подготовить целую серию «маленьких книжек», куда должны были войти лучшие произведения современных писателей о народной жизни. «Маленькие книжки» предназначались для «Общества по изданию дешевых книг для народа», организованного весной 1862 года землевольцем А. Д. Путятой². С общим замыслом революционных демократов связаны «Красные книжки» Некрасова (1862—1863). В. Д. Бонч-Бруевич справедливо указывал, что «народническая интеллигенция постоянно стремилась завести свои издательства как раз для борьбы с лубочной литературой. Еще Некрасов издавал свои книги для народа, чтобы хоть как-нибудь бороться с лубочной литературой и дать народу взамен ее хорошие стихи и художественные произведения русской литературы»³. Действительно, русские революционеры в 60-е и 70-е годы много сделали, чтобы противостоять лубочной литературе, прививавшей крестьянину под видом просвещения верноподданнические чувства и рутинерские понятия.

В 1855 году в Москве был издан «Новейший полный русский песенник, собранный из народных русских песен

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 5. М., 1950, с. 696. Далее ссылки на это издание даются в тексте (первая цифра обозначает том, вторая — страницу).

² Баренбаум И. Е. Легальное демократическое книжное дело в России (1856—1874). Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук (по специальности «книговедение»). М., 1967, с. 13.

³ Цит. по статье: Алексеева О. Б. В. Д. Бонч-Бруевич рецензирует труды фольклористов.— Русская литература, 1970, № 3, с. 152—153.

и из сочинений известных русских писателей: Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Кольцова, Цыганова, кн. Вяземского, Нелединского-Мелецкого, Козлова, Марлинского, Бенедиктова, Батюшкова, Мерзлякова, Дмитриева, Веневитинова, Давыдова, Плетнева, Баратынского; также содержащий песни святочные, хоровые, подблюдные, плясовые, свадебные и проч.». Ознакомившись с этим сборником, Чернышевский в «Современнике» (1855, № 6) писал: «Какова должна быть книжка с таким списком имен и слов, которые, кажется, отталкивают друг друга! Когда же мы будем иметь сборник, составленный хотя на один волос лучше этих уродливых чудовищ, которые от времени становятся только безобразнее?» (2, 714). Пока что «существуют только серо-бумажные песенники, слепленные с самою грустною небрежностью, самым жалким невежеством и безвкусием, — песенники, все похожие один на другой по своему внешнему и внутреннему безобразию...» (2, 713). О «Рассказе солдата Сидорова при бомбардировании Севастополя англо-французами» (М., 1855) Чернышевский в «Современнике» (1855, № 9) отозвался коротко: «Одна из многочисленных спекуляций, рассчитывающих на патриотизм простонародья» (2, 741). О лубочных книжках для народа, начиненных невежеством и фальшью, нужно было говорить резко и прямо. Это и делал Чернышевский в «Современнике». Рецензируя в девятом номере журнала ряд ложнопатриотических книжек, написанных в псевдонародной манере и вышедших в 1855 году в Москве («Последний вечер новобранца в родительской семье», «Чувство и любовь к престолу и отечеству», «Описание бомбардирования англичанами Соловецкого монастыря», «Обхождение русских с врагами», «Доблестные подвиги русских воинов»), Чернышевский дал им всем уничтожающую оценку, вместившуюся всего в несколько строк: «Все это множество книжек и тетрадок, имеющих в виду воспользоваться патриотическими чувствами народа, так же мало принадлежит литературе, как и «Рассказ Сидорова», о котором говорили мы выше, и читатели, конечно, не потребуют подробного отчета о их достоинствах и содержании» (2, 744).

Вместе с тем Чернышевский и Добролюбов замечали все прогрессивное в литературе для народа, поощряли тех авторов, которые в своих книгах сообщали малограмотному читателю полезные знания, способствуя улучшению народного экономического быта. Например, внимание Чернышевского привлек псковский помещик А. С. Зеленый, выступавший со статьями по крестьянскому вопросу в

«Земледельческой газете». Статьи Зеленого имели весьма характерные названия: «Не с другого, а с грамотности надо начинать образование крестьян», «Сельскоадминистративный вопрос», «О жестоком обращении крестьян с женами» и т. п. В статье «О распространении грамотности и образования в крестьянском сословии» Зеленый призывал учить грамоте всех крестьянских детей. «...А если учить, так учить, — пишет он, — всех крестьянских детей, и, если возможно, обоего пола, никого не обижая. Иначе будет несправедливость. К тому же, выбирая, вы, может быть, обойдете какого-нибудь будущего Ломоносова, или Кольцова... Вы смеетесь?.. Но ведь Кольцов, Ломоносов и им подобные вышли же из простонародья?.. И из скольких, может быть, подобных же им по натуре и гению, ничего не вышло именно потому, что они были безграмотны?..»¹ В молодости Зеленый испытал влияние Белинского, которого он называл «гениальным критиком», распространявшим «превосходные мысли о положении и роли русских женщин в нашем обществе»².

В конце 50-х — начале 60-х годов Зеленый пытается идти вместе с молодым поколением, правда, не всегда успевая в этом и часто сбиваясь в сторону либерализма. В письме к Добролюбову от 6 декабря 1858 года Зеленый с восхищением отзывается о его статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым». Книга Жеребцова, изданная в 1858 году в Париже на французском языке, была самой откровенной проповедью мракобесия и обскурантизма. Добролюбов разоблачал Жеребцова за попытку умалять значение трудящегося человека в истории цивилизации. Для Добролюбова постоянная тенденция истории состоит в «уничтожении дармоедов и в возвеличении труда». Зеленый увидел в статье Добролюбова «благородную и энергическую защиту Белинского». «...Я, — пишет Зеленый в письме к Добролюбову, — почувствовал к нему — автору нашей цивилизации (Жеребцову. — В. Б.) — негодование и омерзение. Эдаких людей надобно бить нещадно — Вы так и сделали, и — глубочайшая благодарность Вам, сердечное уважение, горячая симпатия, как-нибудь не могу не высказать Вам за Вашу статью»³.

¹ Современные вопросы. Собрание статей помещика А. С. З. СПб., 1858, с. 51—52. Далее цит. по этому источнику.

² Там же, с. 94.

³ Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым. Введение, примеч. и ред. Н. К. Пиксанова. М. — Л., 1925, с. 134. Н. К. Пиксанов впервые обратил внимание на Зеленого и опубликовал его письма к Чернышевскому и Добролюбову.

Чернышевский знал Зеленого в лучшую пору его жизни, когда тот посылал свои корреспонденции в «Современник». Видя в Зеленом полезного этнографа и начинающего писателя, Чернышевский проявляет самое горячее участие в издании его «Опыта книги для грамотного простонародья. Сельское хозяйство, домашний лечебник для скота, басни, сказки, песни». Получив в 1855 году рукопись «Опыта», Чернышевский тогда же одобрил книгу и пожелал скорейшего выхода ее в свет. «Книга ваша, — писал Чернышевский в письме Зеленому от 26 сентября 1856 года, — конечно, не имеет себе ничего подобного в нашей литературе, и напечатать ее не только должно — и можно, — но и совершенно необходимо» (14, 317). Чернышевский составляет подробный отчет всех расходов, отыскивает издателя и ведет переговоры с цензурой¹. Его увлекла сама идея издать «энциклопедию для крестьянского чтения». «Книг, подобных той, заглавие которой мы выписали, — писал Чернышевский, — нельзя не встречать с полным сочувствием даже и тогда, когда они не удовлетворяют вполне своей задаче. Простому народу у нас доселе почти решительно нечего читать. Г. Зеленый, как сам помещик, понимал очень хорошо этот недостаток, и, вероятно, ему наскучило ждать, пока гг. литераторы и ученые, толкующие непрестанно о необходимости народного образования и ничего, однако ж, дельного для этой цели не делающие, напишут что-нибудь действительно полезное и нужное для народа» (7, 480). В книге Зеленого крестьянин мог найти ценные сведения, относящиеся к земледелию и уходу за скотом, заметки из земледельческого календаря Е. Рудольфа, дополненные собственными наблюдениями составителя «Опыта». В конце сборника были помещены басни, сказки, песни Крылова, Пушкина, Лермонтова и Кольцова. В начале книги сообщались «көөкие сведения о русском государстве». Чернышевский прекрасно понимал, что «Опыт» Зеленого еще не есть «энциклопедия для крестьянского чтения», «энциклопедия знания и жизни». «Но пословица говорит: *на безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин*» (7, 481). Этой народной пословицей Чернышевский сказал все, что можно было сказать о книге Зеленого, заслуживавшей сочувствия.

¹ В цензуру рукопись «Опыта» была представлена в 1856 году, а разрешение на печатание было получено в 1858 году. Вышел из печати «Опыт» только в 1860 году.

Позднее, в письме к Ольге Сократовне из Петропавловской крепости, он писал, что задача настоящей «энциклопедии знания и жизни» состоит в том, чтобы «разъяснить им (людям.— В. Б.), в чем истина и как следует им думать и жить» (14, 456).

И все же было бы неправильно не отметить Зеленого как одного из первых составителей полезной книги для народа. Его статьи и очерки содержали конкретные этнографические факты, статистические данные, фольклорные материалы, своеобразные устные крестьянские рассказы, в общем — все то, что имело непосредственное отношение к подлинной народной жизни. Из статей Зеленого Чернышевский в «Современном обозрении» («Современник», 1857, № 10) приводит бытовые сцены, в которых действует и говорит сам народ. Объясняя необходимость просвещения, Зеленый тут же ссылается на бесчинства, творимые над неграмотным крестьянином, и на крайнее невежество самих крестьян. «Крестьянина надувают, обирают, обвешивают и обмеривают, — спросите вы его: зачем он поддается? «Где же нам, батюшка! нам — кто в синем, тот и барин. Мы люди темные!..» — «Зачем ты недавно возил в город какого-то пьяного писаря?» — спрашиваете вы его. — „А как же не везти, батюшка? Въехал в деревню: «Давай, кричит, подводу скорей!» и бумагу показывает — «Приказ, говорит, из суда от вашей деревни подводу взять». И печать приложена, а об том ли приказ — кто его ведает! Наше дело темное. К вашей милости десять верст — бежать далеко, а он торопит. Пока телегу ладил да лошаденку запрягал, не один подзатыльник от него, проклятого, съел... Дело, вишь, говорит, спешное, а ты, каналья, копаешься. Десятских, говорит, кликну, связать тебя велю, коли будешь разговаривать! Там тебе, говорит, такую баню за ослушку зададут, что не опомнишься!»» (4, 831).

Зеленый передает эту и многие другие крестьянские истории (о сборах податей, о мошенничестве присяжных и приказных, о варварском обращении крестьян с женами и т. д.) с точностью этнографа, замечая от себя лишь то, что «подобных случаев и обстоятельств в быту крестьян можно бы представить целые сотни». Для избавления от всех этих народных бед Зеленый предлагал всегда один и тот же рецепт: «Смягчающие наши нравы образование, школы, школы и школы для молодого поколения!» Чернышевский поддерживал идею открытия воскресных школ, но ему было ясно, что одного просвещения и исправления

нравов далеко недостаточно для уничтожения социального зла.

Ясно, что между умеренно-просветительской проповедью Зеленого и революционной программой Чернышевского разница огромная. Русский крестьянин не может получить доступ к подлинному просвещению и образованию до тех пор, пока он угнетен материальной нуждой и деспотизмом помещиков. «Улучшение общественного и материального положения — вот необходимейшее предварительное средство для возможности распространяться просвещению и улучшаться нравам» (4, 842). Основное — уничтожение тех обстоятельств, которые порождают грубость нравов, нищету и бесправие народа.

Революционные демократы проявляли полное единство взглядов в понимании задач народного просвещения и методов революционной пропаганды в народных массах.

Н. Добролюбов в статье «Народное дело» тоже спорит с теми «просветителями», которые все надежды возлагают на распространение грамотности и «разумные законы», забывая о том, что «успехи цивилизации нередко обращаются у нас в средство к более искусной эксплуатации народа»¹. Главным фактором является сама действительность — «путь жизненных фактов, никогда не пропадающих бесследно, но всегда влекущих событие за событием, неизбежно, неотразимо». Далее Добролюбов приводит и сами факты: «Холод и голод, отсутствие законных гарантий в жизни, нарушение первых начал справедливости в отношении к личности человека — всегда действуют несравненно возбуждательнее, нежели самые громкие и высокие фразы о правде и чести»².

О несбыточности легального просвещения говорит М. Антонович в статье «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «времени»)». В статье Антоновича всего более достается тем, кто рекомендует грамотность как «всеобщую панацею, как талисман или щучье повеленье, которое в миг доставит в наши руки все, чего только мы ни „пожелаем“»³. «До того времени, когда грамотность распространится повсюду и повсеместно и когда образуется весь народ, придется очень долго сидеть и ждать у моря погоды. Да едва ли когда-нибудь и можно дожидаться этого»⁴. К тому же «народ ни за что не станет учиться и не

¹ Современник, 1859, № 9, с. 4.

² Там же, с. 5.

³ Там же, 1861, № 12, с. 183.

⁴ Там же, с. 182.

пойдет в университет, если ему нечего есть, и с голоду он не примется за грамоту, а скорее бросится на кусок хлеба. Должно быть также и пустое брюхо на ученье глухо, и не даром же говорят, что „голодной куме постоянно хлеб на уме“¹. «Поэтому, — заключает Антонович, — заботящиеся о грамотности народа и о сближении с почвою должны вместе с тем позаботиться об улучшении его внешнего быта и увеличении его материального благосостояния»².

Таким образом, все революционные демократы были согласны в том, что «народное дело» нужно решать более радикальными средствами и непременно в комплексе всех проблем (социальных, правовых, экономических и нравственных), с учетом умственного состояния крестьянской России и дальнейших экономических преобразований. Революционное просвещение предполагало соответствующие «методы лечения» самой действительности. В статье «Суеверие и правила логики» Чернышевский напоминал о знахарях, которые встречаются в деревне, среди простонародья, и в образованном обществе, среди людей ученого мира (политиков, социологов, экономистов и литераторов). Русские либералы предлагали лечить социальные болезни домашними лепешками, припарками и прижиганиями. По Чернышевскому, никакие обрядовые действия не помогут исцелить больного, страдающего общим худосочием³. Когда болезнь зависит от «испорченности основного процесса организма», нужны самые решительные меры. Чтобы разбудить в народе умственную и трудовую энергию, необходимо «изменить весь образ жизни»: «Вся обстановка больного должна измениться для того, чтобы прекратилось гниение основного органа его тела» (5, 710). Весь этот спор о методах лечения проведен Чернышевским в «народном» стиле. Фольклорно-этнографическая фразеология и отдельные образы, взятые из деревенского быта, удивительно смело переключаются в план революционной публицистики. Статья «Суеверие и правила логики» со-

¹ Современник, 1861, № 12, с. 185.

² Там же, с. 188.

³ Напомним о мучительных сомнениях Д. И. Писарева: «Надо распространять знания — это ясно и несомненно. Но как распространять? — вот вопрос, который, заключая в себе всю сущность дела, никак не может считаться окончательно решенным. Взять в руку азбуку и пойти учить грамоте мещан и мужиков — это, конечно, дело доброе; но не думаю я, чтобы эта филантропическая деятельность могла привести за собою то слияние науки с жизнью, которое может и должно спасти людей от бедности, от предрассудков и от пороков» (П и с а р е в Д. И. Реалисты. — Соч. в 4-х т., т. 3. М., 1956, с. 122).

держит критические замечания и в отношении самого фольклора и в отношении народного быта с его знахарями, затемняющими сознание крестьян предрассудками и суевериями. Чернышевский борется как бы на два фронта: и против реакционных политических партий и против их опоры в простонародье. И тогда, когда речь идет о предстоящей революционной борьбе, Чернышевский параллельно образу либерала-постепеновца выводит образ сказочного глупца. В народе есть простофили и рутинеры. Свет критики ложится и на крестьянские рутинерские обычаи. Чернышевский показывает, что либеральные краснобаи держатся самых отсталых мнений, они не идут впереди народа, а следуют за сказочным глупцом. «Многие политики нашего времени, — пишет Чернышевский, — имеют обыкновение выдавать за аксиому, что ни один народ не должен быть свободным, пока не достигнет умения пользоваться своею свободою. Правило это достойно того глупца в старинной сказке, который решил не ходить в воду, пока не выучится плавать. Если бы людям следовало дожидаться свободы, пока они не сделаются умными и добрыми в рабстве, — им бы пришлось вечно пребывать в ожидании» (7, 1061).

Народоведческие статьи Чернышевского определили позиции «Современника» в пореформенные годы, со страниц журнала не сходило обсуждение актуальных проблем демократического народознания. Основная задача просвещения (вернее — пропаганды) видится в том, чтобы пробудить дремлющую народную энергию, сознание своего долга, чувство независимости.

4

Наибольшей остроты дискуссия о «народных книгах» достигла в 1861 году, после опубликования в «Отечественных записках» упоминавшейся выше статьи Ф. И. Буслаева «О русских народных книгах и лубочных изданиях». Исключительная резкость, с какой велась полемика как со стороны Буслаева и его единомышленников, так и со стороны «Современника» во главе с Чернышевским по поводу вопросов, внешне носивших академический характер, объяснялась огромной важностью стоявших за ними политических проблем.

В подходе Буслаева к лубочным изданиям проявлялось ревнивое отношение к старине ученого-филолога, дорожившего историческими реликтами. Ему казалось, что

в «Современнике» засели своеобразные нигилисты, отрицатели древнерусской культуры, недруги национальной самобытности. Это они, демократы из «Современника», пренебрежительно отзываются о лубочной литературе, говорят, что «изучать такую дрянь не стоит, даже не следует на нее обращать внимания, потому что она не годится для практической цели мистического возрождения и перевоспитания»¹. Буслаев переходит от обороны к нападению, тенденциозно истолковывает отдельные высказывания и оценки революционных демократов, чтобы тем самым облегчить полемику и защитить патриархальную народность. «Для чего же будем мы,— пишет Буслаев,— враждебнее относиться к какому-нибудь из современных сборников народных песен, сказок или лубочных картинок на том только основании, что издатель его свысока смотрит на русские суеверия или же набожно поклоняется Илье Муромцу?»². Принципиальный спор о лубочной литературе он именует «пошлыми дрызгами в науке».

Горячо ратуя за собиране и изучение народных песен, сказок, легенд и лубочных книг, Буслаев отделяет себя от славянофилов, которые ему кажутся слишком наивными теоретиками. Он, например, оговаривает, что «славянофильская любовь к народности почти всегда переходила в комическое»³. Однако со славянофилами Буслаев всегда находил примирение, чего нельзя сказать о его отношении к так называемым западникам. В статье «О русских народных книгах и лубочных изданиях» Буслаев не случайно подробно разбирает книгу Шарля Низара, вышедшую в 1854 году под названием «История народных книг». Шарль Нizar возглавлял во Франции правительственную комиссию по рассмотрению «народных книг», он занимал самые крайние позиции скептика, видя во французских «народных книгах» исключительно «дурной вкус, дурной тон, тривиальность, иногда даже беспутство»⁴. «Скромный секретарь Комиссии рассмотрения народных книг,— иронизирует Буслаев,— слишком круто поворачивает вопросы о народности, принимая за рычаг своей машины 1848 год...»⁵ Возрождение истинной народности Нizar ведет с 1848 года, то есть с французской буржуазной рево-

¹ Буслаев Ф. И. О русских народных книгах..., с. 15—16.

² Там же, с. 17.

³ Там же, с. 14.

⁴ Там же, с. 18.

⁵ Там же, с. 21.

люции. По его мнению, «народные книги», оставшиеся в наследство от средних веков, только мешают развитию народного самосознания. Буслаев крайне резко отзывается о Низаре, даже уличает его в том, что он «предоставляет кому следует сожжение народных книг на городской площади», сам «с удовольствием собирает из них костер и с математической точностью определяет степень пламени, предназначенного для сожжения той или другой книжки»¹.

Возможно, что на эту статью Буслаева, направленную против Низара, русские революционные демократы и не обратили бы столь пристального внимания, если бы не одно существенное дополнение, сделанное автором: «Нет сомнения, что в русской читающей публике не мало найдется людей, готовых сочувствовать г. Низару и применить его методу к русской народности»². «Отечественные записки» не замедлили воспользоваться этой тирадой, чтобы бросить открытый вызов Чернышевскому. В редакционном примечании к статье Буслаева говорилось, что и от Чернышевского можно ожидать гонений на русские «народные книги». Приведем это примечание «Отечественных записок»: «Странная судьба «здравого смысла»! И у нас недавно Чернышевский советовал смотреть на изыскание о русских народных верованиях и стремлениях как на галиматью и глупость — во имя «здравого смысла»! Но странно, что тот же г. Чернышевский терпеть не может «французских книжонок». — Как бы это понять?»

Таким образом, Чернышевский тоже был приравнен к гонителям народности, «народных книг», русских лубочных изданий, старинных преданий и верований. Ясно, что с Буслаевым после появления его статьи в «Отечественных записках» не могло быть примирения.

Полемика с Буслаевым имеет свою историю. Желая видеть русскую филологию «служительницей человека», не отгораживающейся от современности и социальных проблем, Чернышевский еще в 1854 году осуждал Буслаева за увлечение старомодными теориями, за преклонение перед «санскритским первообразом». В каждой народной пословице, в каждом народном поверии Буслаев пытался увидеть следы мифотворчества, забывая при этом о стадийном развитии фольклорных сюжетов и историческом характере народной поэзии. Между тем мифологические

¹ Буслаев Ф. И. О русских народных книгах..., с. 25.

² Там же, с. 27—28.

элементы в фольклоре, по словам Чернышевского, сохранились не потому, что они были «по своей сущности частью мифологического сказания, обряда или величания, а просто потому, что, обыкновенно выражая свои правила житейской мудрости аллегориями и сравнениями, она (пословица. — В. Б.) без всякого преднамеренного предпочтения заимствовала их иногда из области поверий, как в других случаях (и гораздо чаще) брала их из круга замечаний о погоде, разных качествах вещей, характерах животных и т. д.» (2, 379). Стремление во всем открывать следы мифологии, реминисценции древнеэпического стиля и языческого мирозерцания приводило Буслаева к отрыву филологии от истории. А без истории, по словам Чернышевского, «филология теряет всю свою важность» (2, 375).

В 1861 году «Современник» задел Буслаева в одном из примечаний к «Ответу на вопрос, или Освистанный вместе со всеми другими журналистами „Современник“». Фельетонист «Свистка» пародировал исследовательские приемы ученого. Познакомившись с ядовитым примечанием, Буслаев решил, что автором фельетона в «Свистке» был не кто иной, как Пыпин. В «Отечественных записках» тогда же было опубликовано «Письмо к А. Н. Пыпину», в котором Буслаев излил все свое негодование против «Современника». В действительности автором фельетона был Чернышевский. В своих знаменитых «Полемиических красотах» Чернышевский дал резкую отповедь Буслаеву. Это была критика не просто ученого, горячего приверженца «науки для науки», но и политического старовера, выступавшего против Белинского и «Современника». В «Исторических очерках русской народной словесности и искусства» (1861) Буслаев обвинял Белинского в аристократизме, в пренебрежении к народному творчеству. «И такие теоретики-критики,— писал он,— не только не хотели знать нашей письменной старины и народности, но и на самом деле не знали ни той, ни другой и, своими выпренными взглядами становясь будто бы выше нашей старины и народности, только возбуждали к той и другой презрение...»¹. Не следует забывать, что и «Письмо к А. Н. Пыпину» было пересыпано довольно прозрачными намеками. Мало того, что в этом письме революционным демократам приписывалось отрицание народной словесности, неуваже-

¹ Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. В 2-х т., т. 1. СПб., 1861, с. 402.

ние к народу и т. д., в нем делался намек на то, что литераторы «Современника» являются подстрекателями, что именно от них исходят прокламации, которые в 1861 году распространялись среди народа.

Нужно сказать, что в пылу полемики с Буслаевым Чернышевский и его ближайшие единомышленники иногда впадали в излишнюю горячность и не замечали некоторых объективных достижений так называемой академической науки. Критика научных разысканий и теоретических построений Буслаева носила по преимуществу резко обличительный характер, поэтому наряду с правильными замечаниями, касающимися, главным образом, мифологических увлечений и архаических пристрастий в исследованиях Буслаева, игнорировались другие их стороны, имевшие бесспорное положительное значение, и обходились те богатейшие фактические материалы, которые добывались неустанным трудом ученого. Правда, и Буслаев не оставался в долгу. В острые моменты общественной борьбы он расставался с академической объективностью и прибегал иногда к полемическим приемам «Русского вестника».

Спор с Буслаевым — всего лишь эпизод, но эпизод значительный. Он ярко характеризует политическую атмосферу и те силы, в борьбе с которыми складывалось революционно-демократическое учение о народе.

В споре о «народных книгах» «Современник» выступал не столько против мифологической школы в фольклористике, сводившей искусство к единому мифическому первообразу, сколько против идеализации славянофилами и Ф. И. Буслаевым патриархальных устоев народной жизни.

В 1861 году «Современнику» было не до академической полемики о происхождении древней народной поэзии; революционных демократов тогда волновали более важные проблемы. Речь шла о судьбах крестьянской России, о готовности крестьян к активной борьбе. Именно этим объясняется тот политический накал и те полемические издержки, с которыми «Современник» выступал против Ф. И. Буслаева.

При всей ошибочности позиции Ф. И. Буслаева в этом споре с революционными демократами, нельзя подходить к оценке его деятельности с односторонним политическим критерием. Талантливый филолог, языковед, историк литературы и искусства, Ф. И. Буслаев за свою долгую трудовую жизнь сторицей возместил отдельные свои ошибки, внося неопределимый вклад в сокровищницу русской культуры.

В обсуждении проблем народного просвещения и «народных книг» живейшее участие принимало «Русское слово». Отмечая общность во взглядах революционных демократов и их последователей, мы не должны вместе с тем забывать ни своеобразия каждого из них, ни общих различий между отдельными их группировками, проявлявшихся на разных этапах освободительной борьбы. Некоторые расхождения между «Современником» Чернышевского и Некрасова и «Русским словом» Писарева и Зайцева объясняются тем, что революционная ситуация 1859—1861 годов не привела к ожидаемым результатам, стихийные крестьянские восстания не превратились в народную революцию. Отсюда у Писарева более сдержанное отношение к «недюжинным людям» из народа и повышенный интерес к «мыслящей личности», к распространению знаний. Его девиз: «учитесь сами» и увлекайте в просвещение народ.

При всех расхождениях между «Современником» и «Русским словом» по тактическим вопросам, оба журнала в идеологии часто придерживались одних и тех же позиций, в частности, «Современник» и «Русское слово» совместно выступали против лубочной литературы и псевдонародных книг, имитирующих фольклорные формы. Д. И. Писареву было свойственно выражать свои мысли подчеркнуто резко, в категорическом тоне. В статье «Бедная русская мысль» Писарев пишет об историческом прошлом России: «Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе как в будущем, впереди, в неизвестной, заманчивой, голубой дали»¹. Конечно, здесь Писарев в целях полемики с теми, кто слишком идеализировал старину, излишне заостряет свою мысль, впадает в парадокс. Однако из статьи «Бедная русская мысль» не следует делать вывод о равнодушном отношении Писарева к судьбам крестьянства, к его материальным и духовным запросам. Писарев считал, что прежде необходимо накормить голодающий народ, удовлетворить насущные его нужды (пища, одежда, жилище

¹ Писарев Д. И. Соч., т. 2. М., 1955, с. 66.

и т. п.), а уже затем приобщать к культуре, внушать социалистические понятия.

У Писарева был свой взгляд на искусство, на «изящные предметы», он неверно оценивал Пушкина, не придавал особого значения народным песням и сказкам, считал современное искусство излишеством, второстепенной потребностью. У критика были свои предрассудки и свои завоевания. В страстном желании Писарева видеть русского мужика и городской рабочий люд освобожденными от нищеты и бесправия, безусловно, сказывался единомышленник Чернышевского и Добролюбова. Однако он любил демонстрировать свою самостоятельность, свой реализм, свою ориентацию на «мыслящий пролетариат», то есть на «умственные силы образованных людей»¹. Одну из своих программных статей он не случайно называет «Реалисты», а вторую, столь же программную, — «Базаров». Своеобразие Писарева состояло в том, что он не разделял социалистических утопий, не переоценивал готовности русского крестьянина к сознательной борьбе, считал, что крестьянская Россия должна пройти через все испытания истории, через капиталистические отношения, несущие с собой и новые бедствия для народа и новые усовершенствования в экономической жизни страны.

В обширной рецензии «Народные книжки», опубликованной в 1861 году в «Русском слове» (№ 3), Писарев подвел итог плачевному состоянию народного просвещения в России. На словах все, не исключая самых закоренелых крепостников, были склонны «делиться с народом знаниями и идеями». «Необходимость народного образования, — пишет Писарев, — вошла в общественное сознание, но между теоретическим и практическим решением вопроса лежит целая бездна»². Составление и издание «народных книг» превратилось в «предмет спекуляции». И это не могло не волновать революционных демократов. В рецензии Писарева осуждаются псевдонародные беллетристические опусы: «Первый винокур. Древнее сказание» и «Дедушка Назарыч» А. Погосского, «Дядя Тит Антоныч учит, как надо любить ближнего» и «Княгиня Ольга, первая русская правительница-христианка» (соч. Н. С.), «Беседы в досужее время. Рассказы для чтения простому народу» (изд. А. Станюковича) и т. п. В этих книжках нет не только «большой жизненности и теплоты изложения»,

¹ Писарев Д. И. Соч., т. 3, с. 489.

² Там же, т. 1. М., 1955, с. 56.

но нет «ни мысли, ни направления, ни понимания народности»¹. Вернее сказать: в них есть *свои* мысли и *свое* понимание народности. Так, например, сочинитель «Первого винокура» (СПб., 1860) преследует дидактические цели и не отказывается от «направления». Желая отучить русского мужика от пьянства, он внушает, что «курение вина идет от дьявола и что первый винокур был чертенок, посланный на землю самим сатанюю, чтобы сотворить людям великую пакость»². В «Первом винокуре», по словам Писарева, отсутствует «разумное и здоровое миросозерцание». С народными предрассудками и пороками автор «Первого винокура» воюет доводами ветхозаветной морали. «И с такою логикою, с такими литературными приемами люди берутся учить народ, просвещать и гуманизировать его. Наш народ верит во все сверхъестественное, в чертей, в колдунов, в домовых, в леших, в водяных, в русалок, в ведьм, оборотней и знахарок; и вдруг ему представляют нравоучительный рассказ, которого главные действующие лица взяты из преисподней и созданы самою безобразною и в то же время бессильною фантазиею. Хороши народные воспитатели,— продолжает Писарев,— которые укореняют и узаконяют народные предрассудки и делают из них пугала для поддержания народной нравственности и первобытной простоты нравов»³.

Вместо того чтобы возвыситься над народными суеве-

¹ Писарев Д. И. Соч., т. 1, с. 62.

² «Первый винокур» появился без подписи, но, как свидетельствует «Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине А. Ф. Базунова» В. И. Межова (СПб., 1869), автором его был А. Ф. Погосский. Укажем, что сюжет древнего сказания о «первом винокуре» продолжает разрабатывать Л. Н. Толстой. См. рассказ «Как чертенок краюшку выкупал» и комедию «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил». Л. Н. Толстому, видимо, был известен «Первый винокур» А. Ф. Погосского, а также отзыв Д. И. Писарева об этой «народной книге».

³ Писарев Д. И. Соч., т. 1, с. 65. Даже либеральная «Библиотека для чтения» была возмущена «Первым винокуром», заставляющим крестьянина верить в черта и домовых. «Скажите, зачем набивать ему голову всяческими сказками и сказаниями, когда их у него и без того куча? Вот, например, брошюра «Первый винокур». Содержание ее так наивно и так пусто,— чтобы не сказать более,— что даже не верится, как автор ее решился так недобросовестно играть народным смыслом... Но если даже автор имел в виду своим рассказом отвратить простолюдина от пьянства, как от дела «нечистой силы», то и в этом случае он не прав. Рычагом всякого постоянного сознательного противодействия дурной привычке может быть только сознательное убеждение, а ничего подобного не в состоянии развить рассказ „Первый винокур“» (Библиотека для чтения, 1861, июнь. Новые книги, с. 13—14).

риями, авторы подобных «народных книжек» слепо следуют за ними, подделываются под вкусы патриархального мужика. Писарев прекрасно понимает, что с «неразвитым простолюдином» нужно разговаривать осторожно, не высказывая «наше мировоззрение во всей его полноте». Педагогическая пропаганда должна учитывать народные понятия, но такие, которые способствуют продвижению вперед. «Есть такие народные верования и предрассудки, — пишет Писарев, — которые невозможно затрогивать грубо и неосторожно; их надо разрушать исподволь, надо вести народное развитие, не касаясь их прямо и предоставляя их устранение времени и здравому смыслу. — Стало быть, надо действовать педагогически, т. е. приравнивать свое изложение к понятиям слушателя и не сходить с его точки зрения»¹. Этого можно достигнуть только тогда, когда между воспитателем и воспитуемым будет существовать полное доверие. Писарев совсем близко подошел к той «методе» пропаганды, которую в дальнейшем разработают и практически применят революционные народники. Пока же в «народных книгах» Писарев находит лишь старческие поучения и скучные описания отвлеченных добродетелей, внешние подделки под крестьянский или солдатский говор. Так, А. Ф. Погосский, издатель «Солдатской беседы», не избежал «идиллической мягкости» в изображении старого солдата Назарыча². Что касается сочинения Н. С. «Дядя Тит Антоныч учит, как надо любить ближнего», то «это скучная, бесцветная проповедь, облеченная неизвестно зачем в диалогическую форму, обстав-

¹ Писарев Д. И. Соч., т. 1, с. 61—62.

² В «Солдатской беседе» В. И. Водовозовым был опубликован своеобразный раек под названием «Правда в пословицах». Сославшись на пословицу «На пословицу, на дурака да на правду и суда нет», Водовозов, известный педагог, принимавший деятельное участие в работе воскресных школ, сумел нарисовать яркую картину нищей деревни: «Богатые да тороватые люди! прислушайте, какова доля бедняка, у кого ни затулья, ни притулья, ни затину. Живет-то он в хорошем селе: одна труба, четыре избы, восемь улиц — Голодайкиной волости, село Обнишухино... Живет, нечего сказать, заживно: и голодной собаки выманить нечем. На обед: хлеб с солью да водичка голью; на ужин: горе наше, ржаная каша, а поел бы и такой, да нет никакой! Эх, голь перекатная!» (Солдатская беседа, 1863, кн. 2, с. 11). И. Баренбаум находит в этом отрывке из «Правды в пословицах» предощущение некоторых строк некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо». А. Ф. Погосский в какой-то степени тоже испытал влияние передового общественного движения, но это не помешало ему писать «народные рассказы» в духе отвлеченного морализирования о пользе грамотности (см.: Баренбаум И. Правда в пословицах — агитационный раек 60-х годов XIX века. — Русская литература, 1964, № 4, с. 178—181).

ленная неправдоподобными личностями, не существующими ни в русском, ни в каком-либо другом быту»¹. Героem этой книжки является «деревенский патриарх», рассуждающий в евангельском духе о всеобщей любви. Исторические «повести» того же автора (Н. С.) отличаются «бедностью содержания, бесцветностью изложения и отсутствием всякой исторической идеи...» «Добродетельный и благонамеренный патриотизм» этих лубочных книжек вызывает у Писарева справедливое раздражение. Вывод один: «Небрежность, с которою пишут для народа даже люди, толкующие о сочувствии ко всему русскому и о народном благе, превышает всякое вероятие. Я рассмотрел десять книжек для народа, изданных в прошлом и в нынешнем году, и какие же результаты дало нам это обозрение? — Оно убедило меня и моих читателей в отсутствии хороших книг для народа, и хотя это убеждение, как всякая истина, имеет свою хорошую сторону, оно тем не менее крайне не утешительно. Мы сознаем свое бессилие — это хорошо, но существование самого бессилия — явление очень печальное»². При всем неблагоприятии с изданием «народных книг», Писарев не сомневается в целесообразности специальной литературы для народа. Так, он отмечает, что для народного образования особенно нужна дельная историческая книга. «Народу необходимы исторические идеи; из этих идей, — пишет критик, — формируются убеждения, составляется мирозерцание». Писарев набрасывает план такой книги: «фон исторической картины, колорит места и времени, подробности, рисующие громадную, хотя отвлеченную личность народа...» Обо всем этом нужно рассказать «просто и популярно»³.

6

В фольклористике установилось мнение о «Русском слове» и его основных корреспондентах (Писарев, Зайцев, Благосветлов) как о своеобразных нигилистах, скептически, порой просто иронически относившихся к народной поэзии. На первый взгляд литературные критики и публицисты из «Русского слова» действительно грешили излишним скептицизмом, недооценивали роль народной поэзии

¹ Писарев Д. И. Соч., т. 1, с. 68.

² Там же, с. 73.

³ Там же, с. 69.

в истории национальной культуры, в духовном развитии самого народа, вообще позволяли себе крайне дерзкие выходки против искусства. Так, Варфоломей Зайцев прославился как «разрушитель эстетики», отрицатель Шекспира, Шиллера и Пушкина («не приносят никакой пользы»). Если Зайцев отрицал Пушкина, то чего же можно было от него ждать в отношении к фольклору? М. К. Азадовский, крупнейший советский фольклорист, которому мы многим обязаны в изучении революционно-демократической фольклористики, утверждает: «Типичный идеолог городской разночинной интеллигенции, как характеризует его В. Я. Кирпотин, Зайцев не верил в народную культуру, отрицал революционность масс и искал опору только в революционной интеллигенции; такое отношение к народу и его культуре предопределяло и отрицательное отношение к народной поэзии.

В таком отношении к народной поэзии деятели типа Зайцева невольно смыкались со своими антиподами — либералами... За отрицательным отношением либералов к культурному достоянию крестьянства скрывалась боязнь крестьянской революции; радикалы-разночинцы исходили из разочарования в революционной энергии масс, в частности крестьянства, но по отношению к народной культуре и те и другие оказались в одном лагере. В. Зайцев, так же как и А. Милюков, совершенно отрицательно относится к народной поэзии, отрицая и эстетическое и этическое значение последней.

Совершенно противоположной в этом вопросе была позиция представителей революционной демократии¹.

М. К. Азадовский ссылается на рецензии Зайцева в «Русском слове», в которых рассматриваются сборники сказок Эрленвейна и Чудинского. И все же, хотя Варфоломей Зайцев и отрицательно отзывался об этих сборниках, резкое противопоставление его революционным демократам из «Современника» недостаточно оправдано и аргументировано. М. К. Азадовский подчеркивает, что у Чернышевского неоднократно встречается «восторженное отношение к народной поэзии и высокая оценка ее эстетической стороны»². Однако эта «восторженная оценка» не мешала Чернышевскому и Добролюбову видеть в фольклоре выражение патриархального сознания, указывать на

¹ Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М. — Л., 1960, с. 378.

² Там же, с. 379.

темные стороны народной жизни. Что касается Варфоломея Зайцева, то он вовсе не отрицал исторического и эстетического значения фольклора, в частности о народных сказках писал почти то же, что и Чернышевский и Добролюбов. «Говоря об истинно-народных сказках, как те, которые собраны в Германии братьями Гриммами, и в России сельскими учителями Тульской губернии, — пишет Зайцев в «Русском слове», — нельзя заниматься вопросом, дурны они или хороши. Сказки эти суть произведения народной жизни; они обуславливаются всеми элементами ее; они таковы, каков сам народ. Рассуждать же о том, зачем народ таков, каков он есть, а не другой — значит предаваться пустословию, достойному только наших эстетических критиков. Сказки, как всякое другое произведение народа, также не подлежат критической оценке»¹. В этих словах нет ничего общего с высказываниями либерала Милюкова, наоборот, в них осуждается пренебрежительная «эстетическая критика» народных сказок. Оказывается, что сказки «лучшие источники для изучения той или другой народности», для «распознавания степени развития народа»². В частности, сказки, собранные в Тульской губернии, «могут дать нам понятие о положении как материальном, так и умственном русского народа»³. Зайцев не смотрит на фольклор как на нечто застывшее, раз навсегда данное, он признает движение, развитие сказочного народного творчества: «Передаваясь из поколения в поколение, сказка следует всем изменениям в развитии народа»⁴. «Наконец высшего своего развития, — продолжает Зайцев, — сказка достигает в романах и повестях, в которых уже непременно преобладает мысль; и чем глубже и обширнее эта мысль, тем выше роман»⁵. Не обходит Варфоломей Зайцев и эстетику фольклора, например отмечает в нем «богатство юмора». Приводя в доказательство сказку «Три пряжи» из сборника братьев Гримм, Зайцев пишет: «Могли ли бедность и труд более язвительно, хотя и добродушно, подсмеяться над праздностью и богатством? И заметьте: ни слова лишнего, ни одной лишней черты; и не смотря на безыскусственность и незлобивость сатиры, она колет не хуже едких и желчных стихотворений Гейне»⁶.

¹ Русское слово, 1863, № 9, Библиографический листок, с. 57.

² Там же.

³ Там же, с. 58.

⁴ Там же.

⁵ Там же, с. 59.

⁶ Русское слово, 1863, № 9, с. 61.

Таких высоких оценок народной сказки мы не встречали даже у Чернышевского.

Отличительная особенность Зайцева состоит в том, что он и здесь, в вопросах фольклористики, остается рационалистом и просветителем, обращает внимание по преимуществу на идейную отсталость фольклора, на крестьянский фатализм, пассивность, грубость нравов и т. п. Естественно, Зайцев ошибается, когда видит в русских волшебных сказках и в сказках о животных исключительно архаические мотивы и мифологические образы. Он обнаруживает недостаточные знания поэтики фольклора, когда с удивлением отмечает, что в сказках «зверям приписываются человеческие помыслы и действия». Для Зайцева фольклор все же сниженная культура, и нравственные идеалы фольклора, по его представлениям, не соответствуют идеям просвещения. В народных сказках, — отмечает он, в частности, — «поощрение принимается не иначе, как в виде битья, сечения, колочения, дранья и т. п.»¹. Зайцев недооценивает или просто не понимает сказочной фантастики, односторонне трактует сказочные сюжеты и поступки героев сказок. Но эта односторонность не должна заслонять от нас часто исключительно дельных обобщений и наблюдений, хотя и в них Зайцев остается по-своему тенденциозным. Чтобы доказать художественную нормативность («однообразие содержания») и идейную ограниченность («недостаток мысли») фольклора, в рецензии на сборник тульских сказок Зайцев глупость Иванушки-дурачка возводит в основную черту, в основной нравственный принцип, выражающий социальную инертность русского крестьянина. Вот эта характеристика: «Сюжет этих сказок, при всем разнообразии их внешних оттенков, вставок и прибавок сообразно местным впечатлениям и понятиям, отличается одинаковым мирозерцанием. Для характеров существует определенное число форм, в которые они все и отливаются, причем не допускается никакого изменения. Так, поп всегда жаден, купец и солдат хитры, последний даже с наклоном к воровству, богатырь — храбр, хотя успехом своим обязан не себе, а разным посторонним помощам. Из трех братьев два старшие обыкновенно неглупы, а третий глуп, и этот-то знаменитый Иванушка-дурачок и есть любимый герой народных сказок. Таким образом, в них отражается симпатия народа к глупости и твердая вера в то, что дураку на свете жить лучше, чем

¹ Русское слово, 1863, № 9, с. 63.

умному. Разумеется, народ не выдумал этого афоризма, а подметил его в самой жизни. Итак, сказочный Иванушка-дурачок, как народ, удостоверяет нас, что на счастливых берегах могучих или игривых русских рек умному жить плохо, а дураку везет. Мы вспоминаем судьбу тех, кто пытался мыслью осветить темное царство, и — преклоняемся перед народной мудростью, выражающейся в бесчисленных сказках об Иванушке-дурачке»¹.

Не трудно заметить, что Зайцев намекает на Добролюбова, на его статью «Луч света в темном царстве». Не Катерина из «Грозы» олицетворяет народную мудрость, народный характер, а Иванушка-дурачок (ложный дурак в сказках), которому нет дела до борьбы с «темным царством»². Зайцев не отрицает фольклора, но судит о нем метафизически, проходит мимо выраженных в нем нравственных идеалов и разумных оснований самой сказочной фантастики. Зайцев не скрывает того, что в фольклоре заключена своя идиллия «темного царства». Кстати сказать, Катерине приходилось испытывать на себе не только произвол Кабанихи, гнет самодурства русского купечества, но и постоянно ощущать темные стороны народного быта. «Сколько горячих идей, сколько обширных планов, сколько восторженных порывов, — пишет Добролюбов, — рушится при одном взгляде на равнодушную, прозаическую толпу, с презрительным индифферентизмом проходящую мимо нас!»³ Катерина противостоит этой невежественной «толпе», всему «темному царству». Добролюбов приводит слова Катерины: «Конечно, не дай бог этому случиться, а уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь». «Вот истинная сила характера, на которую во всяком

¹ Русское слово, 1863, № 9, с. 64—65.

² Фактически Зайцев присоединяется к Писареву в критике статьи «Луч света в темном царстве». «Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова, — пишет Писарев, — он увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского» (Писарев Д. И. Соч., т. 2, с. 366—367). О полемике Писарева с Добролюбовым см.: Водолазов Г. Г. От Чернышевского к Плеханову, гл. II. Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев. [М.], Изд-во МГУ, 1969.

³ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. М.—Л., 1963, с. 322.

случае можно положиться! Вот высота, до которой доходит наша народная жизнь в своем развитии...» — поясняет Добролюбов слова Катерины¹. Зайцеву как раз не хватает веры в народную энергию, в пробуждающийся стихийный протест, в волевые характеры.

При всех расхождении «Современника» и «Русского слова», распространение знаний в народе, проблема народного просвещения не разъединяет, а объединяет всех демократов. Poleмика ведется внутри одного лагеря. Особенно раздражают Зайцева лубочные переделки народных сказок. «Народ начинает со сказок — давай и детям сказки. И сколько гадкой и отвратительной ерунды намалевывают разные писаки к Рождеству»². Народ должен питаться не только сказками и их переделками, лубочной литературой, иначе он остановится в своем развитии и проглядит настоящее «дело». «Ведь и народу, — замечает Зайцев, — было бы лучше, если б ему прямо, помимо жар-птицы, стали рассказывать дело; но народу дела рассказывать некому (в эпоху так называемого юношеского возраста его). Почему же нам, имея возможность теперь говорить нашим детям дело, начинать с жар-птицы?»³ О каком «деле» в данном случае говорит Зайцев, едва ли следует подробно пояснять. Речь идет о просвещении народа, о его гражданском развитии и в какой-то степени социальном воспитании. Против «предварительной деятельности» (самообразования и просвещения народных масс), конечно, не возражали и революционные демократы, хотя они и не рассматривали просвещение как основное средство в решении экономических и социальных вопросов. В следующем «Библиографическом листке», который в «Русском слове» вел Варфоломей Зайцев, о книгах для народа и для детей говорится более подробно и уже совсем в духе «Современника». Вместо того чтобы выпускать книги, в которых народ мог бы «найти разъяснение многих из своих сомнений и ответы на свои практические вопросы, словом — для того, чтобы жилось легче на белом свете», товарищество «Общественная польза» издает книжки, наполненные «пошленькой моралью», благонаравием и благонамеренностью. Зайцев ссылается на «экономические нескладицы», допущенные Золотовым в «Упражнениях в чтении и ум-

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6, с. 352.

² Русское слово, 1863, № 9, с. 68.

³ Там же, с. 66.

ственном развитии». Автор лубочной книжки в издании товарищества «Общественная польза» внушает мужикам, что они «должны трудиться». Зайцев комментирует: «Ведь они и без того чуть не 24 часа в сутки работают. Что же вы над душой-то у них встали да приговариваете, что всякий должен трудиться. Они и без вас знают, что должны трудиться, чтоб не умереть с голоду»¹. Не забыт в «Библиографическом листке» также «Цветник для детей, или. Коротенькие нравственные рассказы, приспособленные к практическому воспитанию детей» К. Модестова. Основная мораль этой книжки: «Не воруйте, милые дети! станете воровать — высекут!» Вторая нравственная заповедь: «Счастье не в богатстве, а в бедности и в труде». Вся дидактика построена на том, чтобы детей «благородных родителей» сделать «горячими приверженцами существующего экономического порядка», а «бедным детям» внушить, как счастливы «добрые поселяне, окончившие свой труд и легшие спать, положив под голову снопы, и старающиеся поскорее уснуть, чтоб пораньше приняться завтра за работу». «Нищету и голод им с детства изображают в виде аркадской идиллии, и не мудрено, что, выросши в таких понятиях, они со временем сделаются нищими не только духом, но и телом»².

В своем обзоре Зайцев пишет: «Говорят, что у нас есть народная литература; многие даже восхищаются ею, как восхищался заранее чужак барон Мюнхаузен постройкой того моста, который он предполагал повесить на воздухе, соединив Лондон с внутреннею Африкой. Вся разница между нашими чужаками и бароном Мюнхаузеном — в том, что первые восхищаются серьезно, а последний ради потехи своих читателей. Если бы наш народ на потребу своей духовной пищи употреблял в годовой пропорции больше книжек, чем он употребляет кусочек сивухи, то и тогда мы не сказали бы, что у нас есть народная литература. Таковой литературе еще не приказано быть у нас, во-первых, потому, что народ не чувствует желанья учиться; он так занят своими вещественными нуждами, перебиваясь со дня на день, что о нравственном усовершенствовании ему некогда и подумать, во-вторых, народ наш не сочиняет никаких книжек, а сочиняют для него и за него разные господа Кушнеревы, Погосские, Золотовы, которые пишут

¹ Русское слово, 1863, № 10, с. 52.

² Там же, с. 56.

народные книжки точно так, как швейные машины строчат и шивают панталоны и рубашки»¹.

Мы вынуждены были привести столь пространные цитаты из «Библиографических листков» Зайцева в «Русском слове», чтобы с их помощью опровергнуть установившиеся в нашей фольклористике несправедливые представления, согласно которым Чернышевский и Добролюбов безусловно любили народную поэзию, понимали ее и восхищались ею, а вот Зайцев и Писарев отрицательно относились к фольклору, не понимали эстетического и этического его значения, а следовательно — были плохими демократами.

В этой связи не мешает напомнить, что само по себе положительное отношение к фольклору отнюдь не было свидетельством политической прогрессивности. Так, не только либералы из «Библиотеки для чтения», но и отъявленные реакционеры из «Русского вестника» проявляли интерес к народной поэзии и относились к ней совсем не пренебрежительно. Константин Леонтьев тоже знал цену народной песне и писал о ней с воодушевлением.

7

Через четыре года после выступления в «Русском слове» Д. И. Писарева в «Современнике» появилась обширная статья о «народных книгах» А. Н. Пыпина. «Современник» фактически разделяет мнение Писарева и продолжает развивать его основные положения. В этом легко убедиться, сопоставив отдельные отзывы о книгах в обоих журналах. Касаясь книги под названием «Беседы в досужее время. Рассказы для чтения простому народу» (изд. А. Станюковича, 1860), Писарев дает понять, что писать для мужика о магнетизме, гальванизме, электрических машинах еще преждевременно: безграмотный крестьянин просто не поймет всех этих научных открытий. «Люди, читавшие или изучавшие физику Ленца, конечно, поймут, что хочет сказать автор, но поймет ли это народ и вынесет

¹ Русское слово, 1863, № 10, с. 45. В той же книжке журнала опубликована статья Н. Шелгунова «Литература и образованные люди», в которой книги для народа подразделяются на «умные» и «глупые», совершенно бесполезные». «Если сочинения способствуют уничтожению заблуждений и предрассудков — они полезны, ибо помогают прогрессу; но если ими вводятся новые предрассудки или поддерживаются старые — они вредны» (с. 16—17).

ли он из книжки что-нибудь существенное — это вопрос, да еще очень важный <...>. Скажите, какую живую мысль даст нашему мужику описание вольтова столба? Улучшится ли от этого его материальное благосостояние, прибудет ли хлеба на гумне, перестанет ли он бить свою хозяйку, внесет ли он человеческую логику в свои верования и убеждения? Придет время говорить и о вольтовом столбе, да ведь не теперь же и не таким образом. Ведь нельзя же забрасывать человека незнакомыми словами, до которых ему нет дела, ведь зарядит в глаза и зашумит в ушах от этой бесцветной пестроты»¹.

А. Н. Пыпин в своей статье о «народных книгах» касается тех же вопросов и совсем по-писаревски отвечает на них. Сошлемся на «Современник»: «Наивные люди могут думать, что и теперь достаточно вразумлять мужика об электричестве, научать его терпению и затем считать дело поконченным; они могут полагать, что в этом только и может заключаться содержание литературы для народа. На самом деле подобная литература может и при нынешних более благоприятных условиях не выдержать соперничества с Бовой Королевицей и, следовательно, остаться бесполезной.

Вопрос состоит в том, чтобы дать этой литературе такое содержание, которое бы представляло более или менее существенный интерес для народа, было более или менее приложимо к его быту и вместе с тем хоть сколько-нибудь выводило его из той традиционной рутины, какая осталась

¹ Писарев Д. И. Народные книжки.— Соч., т. 1, с. 67—68. В критике «народных книг» без каких-либо заимствований совершенно стихийно возникали «общие места». Так, например, в романе Достоевского «Село Степанчиково» и в стихотворении Некрасова «Филантроп» высмеиваются книжки, в которых неграмотному мужику предлагается читать об электричестве и небесных светилах. М. М. Гин в статье «Достоевский и Некрасов» (Север, 1971, № 12, с. 114) пишет: «Герой того же романа Достоевского Фома Опискин, не знающий народа и ничего не смыслящий в сельском хозяйстве, просвещает мужиков, учит голодных и неграмотных людей французскому языку и астрономии и, «коснувшись слегка электричества и разделения труда», «заговорил о министрах». И здесь невольно вспоминаются некрасовские стихи из «Филантропа» о таком же «просветителе», который

В популярном изложении
Восемь томов написал.
Продавал в большом количестве
Их дешевле пятака,
Вразумить об электричестве
В них стараясь мужика.

Некрасов уже в сороковые годы знал цену таким горе-просветителям».

у него в наследство от времени крепостного права. Задача эта не легкая, но нет сомнения, что действительный смысл для народа будут иметь только те книги, в которых она будет иметься в виду»¹.

В отличие от «Русского слова», «Современник» более оптимистически рассматривает проблему «народной книги». Пока еще отсутствуют книжки, представляющие «существенный интерес для народа», но они непременно должны появиться. Понимая, что создание «народной» литературы связано с трудностями, Пыпин пытается определить основное ее направление. Прежде всего «народная книга» должна сблизиться с народной жизнью, отвечать ее насущным интересам, рассказывать не только о «земле и воде», но и о земле и воле. «Популярные книжки продолжали говорить на прежние темы, говорили об отвлеченных «земле и воде», когда народу на тот раз гораздо интереснее было бы узнать о более близкой ему земле — той, которая должна была остаться мужикам или отойти к помещику. — Мы понимаем, что эти последние темы имеют свои неудобства для авторов, иногда неудобства, от авторов совершенно не зависящие, но, сколько известно, народные авторы даже и не особенно пытались побеждать эти неудобства.

Составителям народных книг необходимо присмотреться именно в настоящий период к тем взглядам и потребностям, какие обнаруживаются в народной массе, вникнуть в окружающие обстоятельства и общественные влияния, чтоб их народная книга могла достигнуть настоящего интереса для своей публики и разрешала ей занимающие ее вопросы»².

А. Н. Пыпин в данном случае безусловно выражал мнение Чернышевского, Добролюбова и Некрасова. Революционные демократы были озабочены состоянием народного просвещения. Статья Пыпина выходила за рамки обычного обозрения «народных книг». В ней содержалась радикальная концепция народности, ее демократическое понимание; «народные книги» необходимо было сблизить с «теорией трудящихся», с народными потребностями. Народ нужно было учить, воздействовать на его сознание, понятия и привычки. Только славянофилы «склонны думать, что никто не имеет права навязывать своих поучений народу». Пыпин критикует славянофильскую теорию. «На-

¹ Современник, 1865, № 5, с. 48.

² Там же, с. 49.

род по этой теории представляется богатырем, который сидит сиднем тридцать лет и ничему не учится, а потом выучивается совершенно внезапно от калик перехожих»¹.

Против этой стихийности, оправдывающей патриархальные пережитки, неподвижность народного сознания, и выступал постоянно «Современник». В связи с общими проблемами народного просвещения и высказывал «Современник» в 1865 году свое мнение о «народных книгах», предъявляя к ним определенные требования. За восемь лет до начала массового «хождения в народ», когда была создана П. А. Кропоткиным программная записка «Должны ли мы заниматься распространением идеала будущего строя?», «Современник» в статье А. Н. Пыпина определил основную задачу пропагандистской литературы, наметил свою программу создания и распространения демократических книг для народа, содержательных и общественно значительных.

«Эта программа не предоставила бы народ каликам перехожим, как славянофилы, но и не сочла бы его за массу малолетних, которым нужны азбучные наставления. Есть, конечно, и в народе немало людей тупых, даже и по своему не развитых, не привыкших к мысли, но такие же люди есть и в так называемых образованных сословиях, и никому, однако же, не приходит в голову сделать правилом, что литература должна существовать преимущественно для людей тупоумных. Народная книга точно так же не должна на это рассчитывать и добровольно делаться пустой ребячьей книжонкой для тех, кто двух по пальцам перечесть не умеет. Этот фальшивый тон овладевал и еще овладевает нашей народной книгой именно потому, что она до сих пор не умела взяться за непосредственно интересные и важные для народа предметы, что, вразумляя мужика об электричестве, она не умела сказать двух слов о том, что имеет прямую связь с тяжелым трудовым общественным бытом мужика»².

Пыпин вслед за Писаревым разбирает «народные книги», выпущенные товариществом «Общественная польза», показывает их примитивность, аляповатость, бесполезность и даже вред. Среди книг, изданных в 1865 году этим товариществом, были и такие: «Как надо жить, чтобы беду избыть» и «Как надо жить, чтобы добро нажить, или О труде и о том, какие выгоды получают от него люди». Сами

¹ Современник, 1865, № 5, с. 51.

² Там же, с. 54.

названия брошюр чем-то напоминают народнические пропагандистские книжки («Как должно жить по закону природы и правды», «Чтой-то, братцы, как тяжело живется нашему брату на русской земле», «Бог-то бог, да сам не будь плох» и т. п.). Но сходство только в названиях, указывающих на важность социально-экономических проблем. Революционным народникам придется спорить с идейными установками книжек, вышедших в издательстве «Общественная польза», по-своему отвечать на главный вопрос: «Как надо жить, чтобы беду избыть?» В статье Пыпина (в этом ее историческое значение) содержится принципиальная и развернутая критика книг, распространявших идеи «официальной народности» или написанных в духе либерального просветительства. Со славянофилами, идеализировавшими крестьянские патриархальные привычки, спорили и русские либералы. Но они впадали в другую крайность, обвиняли крестьян во всех смертных грехах. А. Н. Пыпин отмечает и эту вторую тенденцию, нашедшую отражение в «народных книгах». В рассказе «Как надо жить, чтобы беду избыть» дедушка Матвей жалуется на свою жизнь («Тяжела жизнь нашего брата, рабочего человека; крепко тяжелы и оброки, и подати, и повинности»), затем он начинает «раскидывать умом» (так обыкновенно изображается глубокомыслие мудрого поселянина) и находит, что главнейший враг, наводящий беду, все-таки сам крестьянин. «Первый враг — лень беззаботная — в два раза горше; второй недруг — праздность — в три раза (да ведь, дедушка, лень и праздность одно и то же, зачем же насчитывать мужику еще лишнего недруга?), третий злодей — глупость: все они весьма много причиняют зла всем нам»¹. Эта филиппика дедушки Матвея как будто взята из статей либеральных публицистов, обличавших русского мужика в лености и глупости. «Современнику» уже приходилось писать о пренебрежительном отношении к народу, доказывать, что при нормальных условиях жизни труд для крестьянина составляет не неприятность, а удовольствие. В статье «Устройство быта помещичьих крестьян. Материалы для решения крестьянского вопроса» (1859) Чернышевский заявлял, что «нет в Европе народа более усердного к работе, потому что нет народа, который был бы в климате более суровом, требующем больше труда для ограждения существования... Наши учреждения таковы, что вольному мужику нужно работать

¹ Современник, 1865, № 5, с. 56.

без отдыха круглый год, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. У кого на руках более многочисленная семья? У какого народа из каждых двух братьев один кормит две семьи, потому что другой взят рекрутчиной? Грех нам и стыдно говорить о недостатке охоты к работе у русского мужика. Мы, просвещенные люди, точно, руководимся пословицей «дело не волк — в лес не убежит»; мы, точно, просиживаем изо дня в день чуть не с обеда, чуть не до утра за картами. Правда, где же и понять таким людям, как мы, русского мужика? Мы напрасно сказали, что грех и стыдно нам считать его ленивым: в нелепой сказке об его лени выразилось только то, что мы понимаем качества других классов сообразно нашей собственной натуре. Другого объяснения нет нашей клевете» (5, 717).

Не забыты в статье Пыпина также «исторические книги» К. Бестужева-Рюмина: «О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и монастыре Печерском», «О Владимире Мономахе и потомках его мономаховичах, или О временах княжеских усобиц», «О злых временах татарщины и о страшном Мамаевом побоище». В оценке этих книг Пыпин также не расходится с Писаревым. В книжках Бестужева-Рюмина отсутствует «общая характеристика периода, нравов и людей». «Между тем эта характеристика должна бы в сущности играть главнейшую роль в народной исторической книге (...). Оттого в его книжках господствует целая масса мелких подробностей, взятых прямо из летописи и переданных в значительно сыром виде. Мы думаем, что эта манера не совсем состоятельна и вообще, и особенно для народной книги»¹. Важно, что книжкам Бестужева-Рюмина, в которых фактически отсутствует народная история («летописный рассказ не есть народный, а разве монашеский и официальный»), в журнале противопоставляются только что вышедшие «Рассказы о старинных людях» И. А. Худякова. «Современник» заметил и похвалил первые «народные книги» ученого-революционера.

8

Так получилось, что спор с Буслаевым о «народных книгах» и новой «толковитой географии» (выражение Буслаева) продолжил его ближайший ученик Иван Алексан-

¹ Современник, 1865, № 5, с. 63—64.

дрович Худяков (1824—1876). Совсем молодым, в возрасте девятнадцати лет, он прославился как филолог и фольклорист, ему пророчили блестящее будущее в науке. Но он соединил свою судьбу с революционным движением, поехал в Женеву на встречу с Герценом, вошел в кружок ишутинцев, оказался тесно связанным с Каракозовым, покушавшимся на жизнь Александра II. Затем следствие и суд, томительные, бедственные, мучительные годы ссылки, подневольная жизнь в далеком Верхоянске. Это был человек удивительной воли, преданности революционным идеям, высокой нравственности. Его не случайно сравнивали с Рахметовым.

И. А. Худяков отошел от Ф. И. Буслаева и И. И. Срезневского из глубоко принципиальных соображений. Буслаев производил на Худякова противоречивое впечатление. С одной стороны, Худяков видел в нем крупнейшего филолога, автора «Исторических очерков русской народной словесности и искусства», — с другой — политического консерватора, осужденного Чернышевским в «Полемиических красотах». Глубокое возмущение вызывало в Худякове равнодушие к насущным нуждам народа, которое проявляло большинство ученых-археологов, группировавшихся вокруг И. И. Срезневского. Политические симпатии и интересы Худякова сблизили его с кругами революционной демократии. Он активно включается в создание «народных книг», которые должны были, по замыслу революционных демократов и их последователей, противостоять лубочной охранительной литературе и использоваться для пропаганды в народе научных знаний и освободительных идей.

Из научно-популярных книг, содержащих элементарные сведения по истории и естествознанию, следует отметить книги Худякова: «Рассказы о старинных людях» (СПб., 1864—1865), «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте» (СПб., 1865), «Рассказы о великих людях средних и новых времен» (СПб., 1866) и «Древняя Русь» (СПб., 1867). Книги Худякова представляют заметное явление в истории русского демократического просвещения. А. И. Герцен в письме к Огареву назвал «Самоучитель» «превосходно составленным учебником»¹. Именно в этой книге простые люди находили ответы на вопросы, которые волновали Чернышевского, замышлявшего в Петропавловской крепости создать научно-популярную «эн-

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 28. М., 1963, с. 158.

циклопедию знаний и жизни». Худяков разъясняет, пользуясь словами Чернышевского, «в чем истина и как следует им (людям.— В. Б.) думать и жить». В «Самоучителе» помещены рассказы о происхождении жизни и о социальной истории человечества. Сама история учит, что «тиранство никогда не могло торжествовать спокойно, даже в самые грубые и суеверные времена. Сегодняшняя жестокость вызывает завтра сочувствие к жертве; ненависть к несправедливости всегда была у человека, лишь бы только он *понял* несправедливость. Это-то и убеждает, что насилие и несправедливость рано или поздно должны уничтожиться между людьми»¹. Ясно, что Худяков многое недосказывает, рассчитывает на догадливость читателя и устные пояснения преподавателя. Главным управлением по делам печати «Самоучитель» был признан вредным, проникнутым «односторонним направлением, клонящимся к подрыву основ христианского учения и государственного порядка». Книга Худякова, говорилось в этом официальном отзыве, «по своему направлению в высшей степени преступна и, будучи по своей цене (25 коп.) доступна для масс народа, может привести к последствиям самым губительным».

Министр внутренних дел П. А. Валуев 22 октября 1865 года в конфиденциальном отношении петербургскому генерал-губернатору писал: «Имея в виду, что в этой книге, доступной по цене каждому, помещены рассказы о сотворении мира, о происхождении мира, о происхождении растений и животных, а также об устройстве современного общественного и государственного быта, не только не согласные с учением православной церкви и с установившимися в нашем отечестве понятиями о правительстве, но явно направленные к поколебанию в народе религиозных и политических убеждений, я признал нужным запретить обращение этой книги в продаже»². «Самоучитель» был изъят из употребления. И все же он в небольшом количестве экземпляров проник в воскресные школы и кружки для самообразования, пользуясь, по свидетельству Г. А. Лопатина, огромным успехом и «необыкновенной любовью» среди взрослых и малолетних учеников³.

¹ Худяков И. А. Самоучитель для начинающих обучаться грамоте. Пб., [б. г.], с. 160.

² Более подробно о книгах Худякова см.: Б а з а н о в В. Г. Накануне «хождения в народ». — Великорусские сказки в записях И. А. Худякова. М. — Л., 1964, с. 7—49. Здесь же приведены отзывы цензуры о «Самоучителе» и «Древней Руси».

³ См.: Герман Александрович Лопатин. Пг., 1922, с. 137.

«Древняя Русь» тоже была запрещена цензурой, так как в ней с самой «неблаговидной стороны» изображались князья и цари, бояре и духовенство: «Князья и цари представляются хитрыми властолюбцами, притеснителями народа; бояре — пронырливыми корыстолюбцами; духовенство — крайне невежественным и народ — загнанною и забитою массою без малейшего понятия о достоинстве человеческом». Свыше десяти тысяч экземпляров «Древней Руси» было уничтожено «посредством обращения в массу». При попытке в 1898 году переиздать эту книгу тогдашний министр внутренних дел И. Л. Горемыкин в представлении Комитету министров отмечал, что, по Худякову, «угнетателями народа являются князья и дружины, цари и бояре (...). С заметным сочувствием автор относится к Стеньке Разину...»¹.

Изложение Худяковым его взглядов на Древнюю Русь и русское средневековье имело ясную полемическую направленность. Славянофилы и представители «официальной народности» (Шевырев и Погодин) собственно народные воззрения той поры настолько сближали, смешивали с воззрениями государственными, княжескими и боярскими, что в результате исчезало всякое различие между ними. Официальная Древняя Русь возвеличивалась, идеализировалась как некий бесклассовый рай, где процветало единое мировоззрение, общее политическое и историческое сознание.

Худяков в своем освещении русской истории придерживается той же точки зрения, что и Добролюбов. Именно Добролюбов выступал против Шевырева, который «в своем мистически-московском патриотизме старался превозносить древнюю Русь выше облака ходячего»².

Если «Самоучитель» и «Древняя Русь» получили некоторое распространение в воскресных школах и в пропаганде революционных народников, то этого нельзя сказать о «Рассказах о старинных людях» и о «Рассказах о великих людях средних и новых времен». Последние две книги были рассчитаны на сравнительно подготовленного читателя, они написаны с расчетом на будущее, в надежде, что после «Самоучителя» в политических кружках, созданных для фабричных и грамотных крестьян, революционеры используют эти книги как материал для живых бесед.

¹ См.: Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России 1825—1904 гг. Архивно-библиографические разыскания. М., 1962, с. 212.

² Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 4, с. 180.

«Рассказы о старинных людях» в «Современнике» получили весьма положительный отзыв: «В литературе, предназначенной для народа, была даже довольно удачная попытка в этом роде, именно «Рассказы о старинных людях» (о которых упоминалось недавно в нашей библиографии), где притом автору приходилось еще побеждать другую трудность, потому что речь шла о древних египтянах и индийцах, т. е. о вещи, которую народному читателю довольно трудно себе представить, и во всяком случае несравненно труднее, чем представить древних русских»¹.

«Современник» был прав, считая, что русский крестьянин мог и не понять даже научно-популярных книг. И. А. Худяков не переоценивал реальные возможности народного просвещения, но считал необходимым подготовить книги для чтения для наиболее развитых фабричных и крестьян, уже охваченных социалистической пропагандой. Не были забыты и совсем юные воспитанники, которым предстояло учиться грамоте. Так, десятилетнему мальчику Андрею Кондратьеву, сыну сторожа Главного управления учебных заведений, Худяков предлагал для диктанта следующие загадки с отгадками: «Кто всегда людей вешает? — Царь. Кто всегда над бедными смеется? — Бог. Какие всегда умные люди? — Которых вешают и ссылают. Где всегда хорошие люди? — В Сибири. Когда лучше будет жить? — Когда не будет царей»².

В «Рассказах о старинных людях» уместается вся история древнего мира, в них рассыпано множество заранее продуманных вопросов и ответов³. Знакома читателя с историей далекого прошлого, Худяков постоянно напоминает о многих суевериях и грубых обычаях, которые задерживали человеческий прогресс. Для него важно использовать древнюю историю, чтобы показать источники народного фанатизма, религиозных верований и предрассудков, а также объяснить происхождение царской и духовной власти. Еще в Египте и в Индии, пишет он, существовало «строгое разделение каст, несчастное положение

¹ Современник, 1865, № 5, с. 65.

² Клевенский М. М. И. А. Худяков. Революционер и ученый. М., 1929, с. 72.

³ Просветительские книжки Худякова издавались в Женеве, Париже, Нью-Йорке; они имели широкое распространение среди русской эмиграции. «Рассказы о старинных людях» в виде пяти небольших книжек без указания фамилии автора перевел и издал в 1873—1874 годах виднейший деятель болгарского Возрождения Любен Каравелов. См.: Смирнов Ю. И. Любен Каравелов и Иван Худяков. — Межславянские культурные связи. М., 1971, с. 207—224.

суеверного, забитого народа, жизнь жрецов и царей за счет народа»¹. Далее Худяков переходит к характеристике республиканского строя Древней Греции и Рима, к прославлению гражданских доблестей античных героев. В качестве положительного примера «свободного политического устройства» он приводит законы Ликурга, спартанское законодательство. «Ликург хотел,— пишет Худяков,— не только равенства спартанцев в правах, но и равенства их имуществ. Он хотел, чтобы не было ни богатых, ни бедных, чтоб все были равны»². Столь высокие похвалы «равенству» спартанцев находились в противоречии с истинной историей, но Худяков, как и его предшественники, в частности декабристы, идет на сознательное приукрашивание Древней Греции и Рима, чтобы тем самым возбудить у себя в отечестве стремление простого народа к гражданской свободе, к республиканскому образу правления и к социальным преобразованиям. «Не трудно убедиться,— замечает Э. С. Виленская,— что, знакомя «простонародного» читателя с историей древнего мира, Худяков одновременно преследовал как просветительные, так и пропагандистские цели. Вскрывая источник древних верований и суеверий в невежестве и интересах господствующих классов — жрецов и рабовладельцев,— он заставлял задумываться над современными суевериями и современными общественными отношениями. Рассказывая о древних деспотиях или демократических порядках, он хотел, чтобы читатель сопоставил их с политическим строем царской России. Наконец, проводя мысль, что без уничтожения частной собственности нельзя достичь народного благополучия, он подводил читателя к идеям общинного социализма»³.

В 1866 году в петербургском издательстве П. А. Гайдебурова вышли «Рассказы о великих людях средних и новых времен». Сюда вошли краткие жизнеописания мыслителей, реформаторов и поэтов. Из государственных деятелей отмечены только Вашингтон и Линкольн. У всех великих людей (Пьер Абеляр, Данте, Ян Гус, Христофор Колумб, Джордано Бруно, Галилей, Беранже) подчеркнуты любовь к простому народу, самопожертвование, сила характера. Все они мужественные борцы, способные умереть за идею. Из отдельных биографий складывается единое повествова-

¹ Рассказы о старинных людях, вып. 3. СПб., 1865, с. 5.

² Там же, с. 23.

³ Виленская Э. М. Худяков. М., 1969, с. 66. См. также: П у ш к а р е в Л. Н. Критика религии и церкви И. А. Худяковым.— Вопросы истории религии и атеизма, вып. 3. М., 1956, с. 184—213.

ние о героической и драматической борьбе свободной мысли против мрака и невежества, за торжество разума и справедливости. «Да, преследования и пытки,— пишет Худяков,— никогда не останавливают сильных людей, они только усиливают их деятельность. Кругом них собираются толпы слушателей и искренних приверженцев; страдания их вызывают сочувствие целых веков. Даже после смерти тень их тревожит врагов, воодушевляет последователей, а мысль двигает народы вперед; такова сила великой мысли, великого дела...»¹ Так далекая история превращается в дифирамб сильным характерам, свободолюбию, великому революционному делу и в угрозу деспотам.

В годы участия в кружке Н. А. Ишутина (1864—1866) И. А. Худяков не оставляет своих занятий в области народной пропаганды. В этом кружке возникла идея создать свой «Народный календарь». Хотя программу «Календаря» составил О. А. Мотков, основные ее положения и сохранившиеся черновые фрагменты соответствовали «Самоучителю для начинающих обучаться грамоте». Только Худякову, ученому и писателю, автору известных книг для народа, было под силу в короткий срок («Народный календарь» планировалось выпустить в 1866 году) создать книгу, содержащую самые разнообразные сведения естественно-географического, агрономического, этнографического и социально-политического характера. Из «Народного календаря» каждый грамотный человек мог узнать, «в какой день какого святого празднуют и счисление церковное; о русских законах, о том, как в прошлом году разные народы жили; как жить, чтобы всем в довольстве быть; как хозяйство вести и от болезней уберечься и проч. и проч.»²

Отметим, что «Современник» (в статье Пыпина, о которой говорилось выше) указывал на полезность «народных календарей», содержащих различные сведения и практические советы. «Эти календари имеют в виду именно практическую трудовую жизнь, сообщают читателю много разнообразных сведений, приурочиваясь к разным специальностям народной промышленности и хозяйства и сдабривая сухие сведения литературным отделом из легких рассказов, занимательных стихотворений, шуточных историй

¹ [Худяков И. А.] Рассказы о великих людях средних и новых времен, с. 2.

² См.: Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы XIX века). М.—Л., 1965, с. 280.

и анекдотов и т. п. Книге, составленной сколько-нибудь разумно в этом смысле, даже теперь можно было бы обещать у нас большой успех. Народный календарь, или — пока еще календарная привилегия не уничтожена — отдельные книжки, выполняющие до известной степени программу календаря, должны бы быть одним из первых дел в предприятии, посвященном народной литературе»¹.

В статье Пыпина поставлен вопрос о необходимости создать такой «народный календарь», в котором календарная обрядность не заслоняла бы «практическую трудовую жизнь», народный экономический быт и социальные условия русской деревни. Попытка создать такой «календарь» уже была сделана, причем при прямом содействии Чернышевского («Опыт книги для грамотного простонародья» А. С. Зеленого). Среди ишутинцев Худяков всего ближе подходил к замыслам «Современника», в какой-то степени в «Самоучителе» он приблизился к «народному календарю».

Незадолго до покушения на Александра II Худяков беседовал с Д. В. Каракозовым, иронически отзываясь о деятельности либеральных филантропов, но и не преувеличивая революционной сознательности крестьян. Худяков настойчиво повторял свою мысль о необходимости создавать «народные книги», просвещать крестьян. Каракозов так передавал содержание бесед с Худяковым: «Разговоры шли у нас большею частью об ассоциациях и также касались вопроса о книгах, которые издаются для народа. Относительно мыслей, которые он (Худяков. — В. Б.) высказывал по этому поводу, я должен сказать, что он относился не совсем благосклонно как к московским филантропам, так и к петербургским, говоря, что филантропы не могут накормить миллионы голодающего народа, на это нужны миллионные средства. Пусть дело благосостояния и развития народного совершается историческим путем при помощи народной литературы. Ассоциации же и школы при настоящем положении страны есть вещь временная и скоропреходящая и к желанным результатам не могут привести скоро»². Это свидетельство Каракозова очень важно. Худяков настойчиво советует вести революционную пропаганду с помощью «народной литературы». Начинать

¹ Современник, 1865, № 5, с. 55.

² Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (в дальнейшем: ИРЛИ), ф. 163, оп. 5, л. 312.

нужно хотя бы с «календаря», с самых общих сведений о природе и обществе¹. От Худякова намечается прямой путь к революционным народникам.

9

Проблемы народной России волновали не только профессиональных революционеров, все передовые русские писатели мучительно размышляли о путях развития народности, об единении интеллигенции с народом, о судьбах крестьянства. Опубликованные в 1861 году две статьи Ф. М. Достоевского «Книжность и грамотность» имели прямое отношение к журнальной полемике о «народных книгах» и народном характере.

Во многом Достоевский сходится с «Современником» и «Русским словом». Касаясь различных проектов издания книг для народного чтения, он пишет: «Явилась идея о все-народном образовании: вследствие этой идеи явилась потребность в книге для народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Задача в том: как составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что все написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народного чтения. Верно это или нет, — другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились, без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в том, мы все безмолвно признали факт разъединения нашего с народом»². Виноваты в этом непонимании не безграмотные крестьяне и не отдельные сочинители просветительных книг, а все «мы», все сословие, раздружившееся с народом, разъединенное с ним. Для Достоевского в конечном итоге важны не сами «народные книги», обсуждение их писатель

¹ Идея «народного календаря» не была забыта первыми русскими марксистами. В 1908 году, в условиях наступившей реакции, был выпущен тиражом 60 тысяч экземпляров «Календарь для всех», случайно проскочивший цензурные рогатки. Один из его составителей и авторов Н. И. Подвойский писал жене: «Календарь этот я страшно полюбил и с удовольствием буду рассылать по России. Пусть десятками тысяч расходятся помещенные там статьи Ленина» (цит. по статье: Молчанов В. Загадка монограммы. — Правда, 1971, 25 октября). В «Календаре для всех» была опубликована статья В. И. Ленина «Международный социалистический конгресс в Штутгарте». Здесь же печаталась речь рабочего Петра Алексеева в суде, о котором мы еще будем говорить.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 13 (Статьи за 1845—1878 годы). М.—Л., 1930, с. 97.

использует именно для того, чтобы еще раз подчеркнуть исторически сложившийся разрыв между интеллигенцией и народом. Этот разрыв возрастает, захватывает всю русскую жизнь, приобретает глубокий драматический смысл. Даже самые лучшие «знатоки» народной жизни «не понимают, как широка и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью»¹. Если даже интеллигент переоденется во все «посконное», будет рядом с крестьянином жить, ночевать в избах, пить и есть вместе с мужиками, то и тогда «долголетняя отвычка» не будет преодолена. «Доверенность народа» следует завоевать. «...Надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это сделать, доросли ли до этого?» На эти мучительные вопросы Достоевский отвечает обнадеживающе: «...Дорастаем и дорастем. Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно соединиться с народною почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования; а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, сделается.

Да, но как это делается?»²

На первый взгляд, Достоевский совсем близко подходит к программным требованиям революционных народников. Но «как это делается» и что такое «народная почва», «идеал будущего»?

В «Отечественных записках», подчеркивает Достоевский, Краевский и Дудышкин «народный элемент» понимают крайне наивно, как старомодные фольклористы. «— Ну да, русская народность! — говорит г. Краевский, стараясь помочь г. Дудышкину: — ну там сказки, песни, легенды, предания... ну и все прочее...» Для «Отечественных записок» и Пушкин не народный поэт. «Ну что ж это за народный поэт, если ничего из его поэзии не проникло в народ, в *настоящий* народ?»³

В противовес этим утверждениям Достоевский выражает твердую веру в просвещение народных масс, перед которыми поэзия Пушкина откроется во всем своем богатстве и народно-историческом значении. «Вы говорите, что в простонародье не отразился Пушкин? Да, потому что

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 13, с. 97.

² Там же, с. 98.

³ Там же, с. 103—104.

простонародье не двигалось в своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет для нее одним из главных провозвестников *общечеловеческих* начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине...» Короче говоря, просвещенный народ поймет Пушкина и «из его поэзии научится познавать себя»¹.

Мы снова видим, как Достоевский перекликается с Белинским и отчасти с Чернышевским, вместе с ними утверждает истинно демократическое понимание народности. Общее состоит в стремлении сдружить «простонародье» с просвещением, в вере в его духовные силы, в его историческое развитие. Достоевский говорит совсем в духе революционных демократов из «Современника»: «...С развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче выступает наружу»².

Не следует представлять себе развитие народа как дело простое и легкое. Природа заложила в народные массы богатейшие возможности, нравственные и духовные, но дороги народной истории полны превратностей и неожиданностей. «Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто противоречит тому, к чему народ стремится...»³ Понять народные идеалы («желания и стремления») помогает фольклор. Отмечая склонность крестьян пофилософствовать, Достоевский пишет: «Вот почему и простолюдин, и даже пахарь любят в книгах наиболее то, что противоречит их действительно-

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 13, с. 106. Можно утверждать, что Достоевский в оценке Пушкина, народности его творчества, его роли в истории русской литературы пошел дальше революционных демократов, часто недооценивавших содержательность пушкинской поэзии и значение ее для последующих поколений. «У нас, например, — писал Чернышевский в одной из своих статей 1860 года, — огромное большинство поэтов и публики продолжает считать Пушкина лучшим представителем русской поэзии, между тем как время Пушкина уже давно прошло» (7,431). Д. И. Писарев, как хорошо известно, считал, что поэзия Пушкина отжила свой век и не участвует в современной общественной жизни.

² Там же, с. 104.

³ Там же, с. 106—107.

сти, всегда почти суровой и однообразной, и показывает им возможность мира другого, совершенно непохожего на окружающий. Даже сказки, т. е. прямые небылицы, нравятся простому народу, может, отчасти по этой же самой причине»¹. Наблюдение исключительно верное, свидетельствующее об отличном знании и понимании Достоевским эстетики и мировосприятия народа. Нечто подобное, схожая мысль относительно сказочной фантастики, уводящей сознание крестьянина от «суровой и однообразной» действительности, содержится в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». И здесь у Достоевского нет расхождений с революционными демократами: как тот, так и другие говорят о несоответствии существующей действительности народным представлениям о «хорошей жизни», крестьянским идеалам. Революционные демократы и Достоевский согласны и в том, что рутинерские привычки мешают народному развитию, улучшению самой «формы идеалов»².

Принципиальные расхождения начинаются в понимании «народного духа», существа народных идеалов, «народной правды», путей развития народного самосознания. В той же (второй) статье «Книжность и грамотность» Достоевский уточняет свои высказывания о народных предрассудках, свое понимание проблемы народного просвещения. В этой статье содержится совершенно очевидная попытка отгородиться от социальных суждений и требований Чернышевского и Добролюбова, от их понимания современного состояния крестьянской России. Не случайно в статье появляются какие-то «деятели», «свистуны», взгляды которых о народе Достоевскому кажутся слишком отвлеченными и догматическими. Достоевский не прочь смягчить характеристику народных предрассудков, в какой-то степени оправдать существующие пережиточные явления в крестьянской психологии, в нравах и обычаях. Вот что пишет Достоевский в этой статье: «Все эти

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 13, с. 139.

² Сошлемся хотя бы на Глеба Успенского, на его статью «Народная книга»: «Великое множество осталось в народе от недавнего времени привычек, взглядов, обычаев, выросших исключительно на почве крепостного права и совершенно негодных теперь; а между тем только этою моралью, унаследованною от крепостничества, и приходится довольствоваться в явлениях новой жизни (...) «Старики», правящие миром и домом, все неграмотные, все помнят барина, все «поротые» и «драные». Непоротое поколение еще не выступало на сцену, да и у него большая часть взглядов еще крепостнические, барщинские» (Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 5. М.—Л., 1940, с. 276—277).

господа чрезвычайно и как-то особенно любят искоренять предрассудки, например, суесвятство, дурное обращение с женщинами, поклонение идолам и проч., и проч. Многие из них уже написали об этом целые трактаты, другие изучали эти вопросы в университетах, иногда заграничных, у ученых профессоров, по прекрасным книжкам. И вдруг этот «деятель» сталкивается, наконец, с действительностью, замечает какой-нибудь предрассудок. Он до того воспаляется, что тотчас же обрушивается на него всем своим хохотом и свистом, преследует его насмешками и, в благородном негодовании своем, харкает и плюет на этот предрассудок, тут же при всем честном народе, забывая и даже не думая о том, что ведь этот предрассудок покамест все-таки дорог для народа; мало того, — что низок был бы народ и недостойн ни малейшего уважения, если б он слишком легко, слишком *по-научному*, слишком *вдруг* способен бы был отказаться от дорогого и чтимого им предмета. „Ты, барин, не смейся и не плюй, — скажут ему мужики, — ведь это нам от отцов и дедов досталось; это мы любим и это чтим“»¹.

В этой статье Достоевского нельзя не почувствовать явного раздражения против «искоренителей» народных предрассудков, в частности против Чернышевского, опубликовавшего в 1861 году в «Современнике» статью «Суеверие и правила логики», направленную против идеализации народных верований, обычаев и нравов². У Достоевского своя программа действий. Он приветствует и те патриархальные свойства народной природы, которые резко осуждались Добролюбовым и Чернышевским, всеми революционными демократами. В результате неизбежно возникали и требовали решения более важные политические проблемы. Как преодолеть исторически сложившийся разрыв между народом и интеллигенцией? Каково будущее русского крестьянства? Отрицательное отношение к буржуазному обществу разделяли с Достоевским и русские социалисты-утописты. Но Достоевский не верил в их рево-

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 13, с. 118.

² «Современник» еще в 1857 году приводил из статьи Зеленого «О жестоком обращении крестьян с женами» народные поговорки и пословицы, характеризующие рутинерские обычаи и привычки, семейный деспотизм: «Коли муж жены не бьет, так и мил не живет» и т. п. Чернышевский тогда же пояснял: «Грубость нравов поселянина основана не на одном его невежестве, а также и на характере того обращения, какое испытывает он и его семья от других. Пока сам поселянин подвергается грубому обращению со стороны других, нравы его не могут смягчиться» (4, 842).

люционные проекты, в социалистическую пропаганду, он вообще считал, что в России «нет ни одного русского социалиста; нет и не было, потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов»¹.

Пройдя через школу утопического социализма, через каторгу и ссылку, совершив «хождение в народ» не по своей воле, Достоевский вынес из встреч с народом понятия совершенно противоположные тем, которые распространяли революционные демократы и революционные народники. В письме к М. Н. Каткову от 25 апреля 1866 года Достоевский вспоминает о разговоре с Чернышевским: «Чернышевский говаривал, что стоит ему четверть часа с народом поговорить и он тотчас же убедит его обратиться в социализм»². Едва ли Чернышевский «тотчас» собирался распропагандировать патриархального мужика. Он был слишком вдумчивым и дальнозорким стратегом, чтобы придерживаться столь наивных иллюзий. Но среди революционных разночинцев были «горячие головы» (из «Молодой России», из нечаевской «Народной расправы»), считавшие русского крестьянина вполне подготовленным к восприятию социалистических идей и к организованному восстанию. Достоевский, переживший трагедию социалистов-утопистов, как бы предупреждает новое молодое поколение, тех, кто пошел в народ или собирается идти, о несбыточности их надежд и бессмысленности революционной пропаганды. Об этом он и пишет во второй статье «Книжность и грамотность»: «Всякий, имевший когда-нибудь дело с народом, может проверить на себе это впечатление. Ведь чтоб народ действительно слушал нас разиня рот, надо прежде всего это заслужить от него, то есть войти к нему в доверие, в уважение; а ведь легкомысленное убеждение наше, что стоит нам только разинуть рот, так мы и всё победим — вовсе не заслужит его доверия, тем более уважения. Ведь он это понимает. Ничего так скоро не понимает человек, как тона вашего обращения с ним, вашего чувства к нему. Наивное наше сознание в нашей неизмеримой перед народом мудрости и учености покажется ему только смешным, а во многих случаях даже оскорбительным»³. Ближайшее десятилетие покажет, что Достоевский в какой-то степени был прав, указывая на

¹ Достоевский Ф. М. Идиот. М., 1971, с. 338.

² Достоевский Ф. М. Письма. В 4-х т., т. 4 (1878—1881). М., 1959, с. 280.

³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 13, с. 117.

«легкомысленное убеждение» тех социалистов-пропагандистов, которые серьезно думали, что крестьянин «разиня рот» будет слушать революционные речи. Постоянно напоминая о необходимости преодолеть образовавшийся разрыв между народом и интеллигенцией, Достоевский тоже выступает за контакты с народом, за народное просвещение и «народные книги». Горячо ратуя за сближение с народом, Достоевский и сам превращается в народника, правда очень своеобразного. Среди народников-семидесятников, не говоря уже о народничестве вырождающемся, либеральном, были и революционеры-пропагандисты, и анархисты, и «почвенники», и просто случайно примкнувшие к передовому общественному движению. *«Идти в народ, — писал один из современников, — но как идти, зачем идти? На эти вопросы каждый отвечал по-своему... Цель хождения одни видели в обучении народа, другие — в обучении у народа, а третьи просто в приглядывании к народу (...).* Знамя, на котором красовалось лишь лаконическое приглашение *идти в народ*, это знамя, вследствие его неопределенности, собрало вокруг себя самые разнообразные элементы. За ним шли рядом с действительными революционерами и либералы, и прогрессисты, и люди без всяких убеждений, и трусы, и смельчаки, энергичные натуры и слабодушные тряпицы, и люди *дела* и люди *слова*»¹. Достоевский, если бы он на самом деле «пошел в народ», несомненно оказался бы среди тех, кто основную цель «хождения» видел в «обучении у народа», в нравственном совершенствовании интеллигенции, в покаянном скитальчестве.

В 1873 году, когда готовилось массовое «хождение в народ» (долгушинцы уже путешествовали по деревням и распространяли пропагандистские брошюры и прокламации), Достоевский в «Дневнике писателя» помещает свои размышления о «народной правде» и «русском социализме». Идеи христианского социализма он направляет против учения русских революционных демократов. Религиозно-нравственные искания некрасовского Власа являются истинно национально-русским явлением, главной дорогой в умственной и идеологической жизни народа («крестьянское православие»). «Превращение великого грешника в святого странника, путь от злодейства через искупительное страдание к смиренному возрождению —

¹ Ткачев П. Н. Итоги. — Набат, 1875, № 1. (Вошло в «Избранные сочинения», т. 3. М., 1932.) Подчеркнуто Ткачевым.

таков Влас в трактовке Достоевского»¹. Достоевский за такое «хождение в народ», в котором «русские Власы» будут пропагандистами и проповедниками, учителями интеллигенции, народа, всей нации. Прежде чем слиться с народом, стать с ним вровень, интеллигенция должна выдержать трудный искус, принять обет служения «делу божьему». «Покаянное скитальчество» — это и есть истинное «хождение в народ», вернее «хождение» религиозно-нравственное («единение во имя Христа»).

Достоевский сходится и расходится с революционными народниками. Он, например, советует прислушаться к голосу народа, всегда иметь в виду мнение «серых зипунов», верить в «великие силы» народа. И все же «серый зипун» у Достоевского взят не с простого крестьянского плеча, в таком «зипуне» обычно путешествовали скитальцы, занятые врачеванием собственной души, ищущие спасения в смирении и в страдании, в пассивных добродетелях. Противник «нигилистической пропаганды» и тех «пропагандистов», которые делают постоянно глупости, не умеют «даже и подойти к народу», Достоевский сам становится страстным пропагандистом теории почвенничества. В «Дневнике писателя» за 1881 год содержатся прямые обращения и призывы, совсем как в прокламациях и воззваниях: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»². Достоевский призывал «преклоняться перед правдою народной», но под «правдой» он имел в виду свои собственные почвеннические идеалы. «„Что лучше — мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом“ — вот что теперь все говорят, из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я, — писал Достоевский, — отвечу искренно: напротив, это мы должны преклоняться перед <...> правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи»³.

В вопросах и ответах Достоевского сказываются переживания старого социалиста-утописта, бывшего петрашевца, тяжело поплатившегося за свои социалистические убеждения. Вместе с тем в них содержится и пересмотр

¹ Туниманов В. А. Достоевский и Некрасов. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 65.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 12. (Дневник писателя за 1877, 1880 и 1881 годы.) М.—Л., 1929, с. 438.

³ Там же, т. 11 (Дневник писателя за 1873 и 1876 годы), с. 186.

старых позиций и полемика с революционными народниками, причем с помощью их же оружия.

Как это ни парадоксально, Достоевский в чем-то очень существенном совпадает с Бакуниным. «Учить народ?» — спрашивает Бакунин. И отвечает: «Это было бы глупо. Народ сам и лучше нас знает, что ему надо». Расхождение с Бакуниным начинается со второй части тезиса: народ надо «не учить, а бунтовать»¹. Достоевский считает, что и «бунтовать» не нужно учить; народ сам, своим умом дошел до истины: следует не бунтовать, а углубляться в собственную душу, заниматься самосовершенствованием, участвовать в поисках религиозно-нравственного идеала. Социально-этическую утопию Достоевского теперь одухотворяют идеи христианского социализма. «В ней, — справедливо замечает Н. И. Пруцков, — слились в одно целое антибуржуазный пафос и пафос противореволюционный, антипросветительский»².

В отличие от Достоевского, революционные народники не призывали слепо «преклоняться перед народом», перед его патриархальными привычками и понятиями («кротостью» и «незлобием»), они считали, что необходимо прислушиваться к народу, опираться на его требования... и вести его за собой, освобождать от рутинерских привычек и слепой веры в царя-освободителя. В своей пропаганде народники, как и Достоевский, иногда апеллировали к христианству, ссылались на повеление бога (особенно это заметно у долгушинцев, в частности у Берви-Флеровского, находившегося под сильным влиянием Сен-Симона). Они тоже как бы возвращаются к первоначальному христианству «с его демократически-революционным духом»³. Но у революционных народников ссылки на священное писание оправдывают народное право на полное общественное равенство и право на социальный переворот, на крестьянскую революцию. Достоевский и революционные народники находятся на разных полюсах русского утопического социализма. Достоевский отрицательно относился к начавшемуся революционному «хождению в народ», считая саму попытку распространения среди крестьян пропагандистских книжек очередной «аристократической, барской затеей». Свое отношение к народникам-пропагандистам он

¹ Бакунин М. Речи и воззвания. [Б. м.], 1906, с. 238.

² Пруцков Н. И. Русская литература XIX века и революционная Россия. Л., 1971, с. 70.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 43.

выразил в письме «К московским студентам» от 18 апреля 1878 года: «Вместо того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например веру, идут в народ — не учиться у народа, а учить его, свысока учить, с презрением к нему»¹. Великий писатель в данном случае глубоко ошибался в истинных намерениях революционных народников. В народническом социализме его отпугивала ориентация на волевые, протестующие действия, на героику народных движений, исторических и современных. Достоевский предпочитал вернуться к «первоначальному христианству», он был против социальных переворотов, революционных переходов, «больших волнений».

10

В 1878 году в журнале «Слово» за подписью «П. Тропинин» появилась статья «Задачи народной литературы»². Автором ее был Дм. Клеменц, один из зачинателей героического «хождения в народ». О просветительской педагогической деятельности в народе он пишет в духе прежних демократических традиций. Вслед за Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым он повторяет, что и нынешние либералы «выдают народное образование за панацею от всех современных бед». Нельзя, конечно, не сочувствовать поднятию уровня образования в народе, глупо защищать «безграмотность народа в принципе». Это могут делать только «эксцентричные» крепостники. Но все же рассчитывать на «гуманные чувства», на щедрость «богача» не приходится. Филантропы и на «народную литературу» смотрят как на копейку, подаваемую из жалости нищему. «Итак,— пишет Клеменц,— можно сказать вообще, что было бы довольно несерьезным самообольщением надеяться одними народными книжками засыпать ту пропасть, которая разделяет людей образованных от необразованных, привилегированных от непривилегированных, и ввести народ целиком в научную и политическую жизнь общества. Народная литература, несомненно, нужна в современном обществе, но задача ее должна быть строго определенная, условия ее деятельности должны быть выяснены. Иллюзии насчет ее всемогущества не должны иметь места в уме серьезного деятеля».

¹ Достоевский Ф. М. Письма, т. 4, с. 18.

² Слово, 1878, № 5, с. 72—87.

Одна из иллюзий состоит в том, что народ якобы «будет приобретать плоды цивилизации таким же естественным путем, как и цивилизованные массы». Дм. Клеменц в самом начале статьи ссылается на Энгельса, с его помощью спорит с русскими либералами: «Один умный немец (Энгельс) по какому-то случаю сказал, что в наше время разница между отдельными классами общества гораздо больше, нежели между национальностями». В условиях классового общества нет и не может быть «трогательного единодушия» как в экономической, так и в культурной жизни. «Одним из самых крупных последствий различия экономического положения является неравномерное распределение *досуга* между различными классами общества. Под досугом мы разумеем время, которое человек может, без ущерба для своего благосостояния, употреблять на отдых, удовольствия или занятия сообразно своему вкусу и наклонностям. Нечего и доказывать, разумеется, что таким досугом обладает в настоящее время лишь незначительное привилегированное меньшинство (...). Главные приобретения культуры и сокровища науки и искусства составляют исключительное достояние меньшинства. И даже, по мере приближения к настоящему времени, доступ для простого народа к этим плодам вековой работы человечества становился все более и более трудным... Указано было, например, что, вслед за широким развитием машинного производства, шло удлинение рабочего дня и сокращение рабочей платы. Можно прямо сказать, не опасаясь преувеличений, что если теоретическое знание оставалось совершенно чуждым народу, то и от приложений науки к практике на долю рабочего не досталось ничего или очень немного».

В России, недавно освободившейся от крепостнических отношений, распространение просвещения затрудняется огромным количеством безграмотных, рутинерскими обычаями и привычками. Поэтому «для нас устная передача сведений и мнений составляет существеннейшее орудие воздействий на мысль народа. Разумеется, у нас нужна и полезная книжка: ее может прочесть грамотный целому кругу слушателей, но это уже собственно переходная ступень от устного поучения к книжному». Таким образом, в крестьянской России на первый план выдвигается устная пропаганда. Ясно, что устная пропаганда предполагает создание «народных книг», требующих, в свою очередь, истолкователей. Народная книга должна служить политическому воспитанию народных масс. «Надобно,— пишет

Клеменц,— чтобы к ней читатель обращался с вопросами, его волнующими, учился искать в ней ответа на них, а не забавного, балаганного препровождения времени. Очевидно поэтому, что народная книжка должна быть посвящена вопросам, наиболее интересующим рабочего человека, задававшим его за живое, насущным вопросам его жизни (...). Не надобно быть особенным знатоком народа, чтобы решить, какие вопросы его занимают и волнуют больше всего,— это, несомненно, вопросы экономические, вопросы о податях и недоимках, о заработной плате, о земле, об отношениях хозяина к работнику, земледельца к землевладельцу и т. д.».

Но как реализовать эту программу? Как «трактовать с народом о самых трудных и запутанных вопросах, тогда как он не имеет ни малейшего научного образования, в то время, как мирозерцание его полно допотопных предрассудков?» Если в «народных книгах» речь пойдет о насущных вопросах народной жизни, об экономическом быте, общинном землевладении, податной системе, воинской повинности и «насчет ближайшего будущего, которое, чего доброго, может со временем перейти в практику», то такие книги грамотный крестьянин и фабричный поймут, а неграмотным опытный пропагандист может их растолковать. В результате будет польза и для пропагандистов («чтецов»): они лучше узнают крестьян, познакомятся с народным мнением, с народными расчетами и требованиями. В руках «хорошего популяризатора» демократическая книжка, написанная простым и ясным языком, может стать для народа своеобразным «учебником жизни». «Позволяем себе думать,— замечает Клеменц,— что крестьянин, отдавший двух сыновей в солдаты, вероятно, отнесся бы к вопросу о воинской повинности не менее серьезно, чем пишущий обыватель столицы или департаментский чиновник... Оказывается, стало быть, что возгласы о неподготовленности народа к занятию экономическими вопросами опровергаются самой экономической литературой. Итак, вопросы хлеба, вопросы заработной платы, земля — вот настоящая область современной народной литературы; в этой области рабочий компетентнее, чем где-либо, здесь его заявления имеют полный интерес и значение. Этими вопросами он сам занят больше, чем какими-либо другими; а различные экономические воззрения, господствующие в обществе, отзываются непосредственно на народе в виде частных или общественных мероприятий». Чтобы подкрепить свое мнение о русских крестьянах и фабричных,

Клеменц ссылается на опыт передовой западноевропейской экономической науки, которая дорожит «показаниями рабочих комиссий». Так, «отчеты английских парламентских комиссий для исследования положения рабочих считаются, по справедливости, одним из капитальнейших источников для изучения экономических отношений в Англии. Без них мы не имели бы ни классического труда Энгельса, ни книги Маркса». Среди рабочих Германии и Франции еще мало «образованных в общечеловеческом смысле», но они «вполне сознательно относятся к своему положению». «Про очень многих рабочих можно сказать, что они понимают политическое положение своего отечества лучше многих газетных политиков и членов парламента».

Для понимания крестьянских настроений в России необходимо знать народные толки, слухи и рассказы, не исключая рассказов отставных солдат и богомолков. Русский крестьянин тоже дойдет до понимания своего истинного положения, но его нельзя оставлять беспризорным или отдавать на выучку либеральным доктринерам. Демократическая «народная книга», посвященная крестьянским нуждам, в революционном просвещении может сыграть выдающуюся роль.

Остается сказать о популяризации естественных наук. Конечно, книги о земле и небе, о природе и животном мире тоже могут принести пользу, способствовать борьбе с суевериями и предрассудками. К сожалению, популяризаторы-натуралисты часто рассказывают крестьянам о ядовитых змеях Индии, о «рыбе-кит», забывая о том, что «кит не заплывет в Шексну или Каму, очковая змея не переползет из-за тридевяти земель к мужику в хату». «Популярная книжка, освещающая научным образом какой-либо круг явлений природы, доступный наблюдению простого человека,— отмечает Клеменц,— может иметь для него очень серьезное значение, особенно если она в корень побивает какой-либо вредный или нелепый предрассудок. Такая литература несомненно желательна настолько, насколько следует восставать против всякого превращения естественно-научных народных книг в рассказы о заморских чудищах, в показывание занятных фокусов, от которых читатель делается только бессмысленным ротозеем. Рассказы последней категории и выдаются чаще всего за популяризацию естествознания в народной литературе». Изучать физические явления природы нужно, но изучение естественного мира нельзя отлучать от социальных вопросов. «Мы

видим, как люди голодают и вырождаются среди самой благодатной природы. Мы видим, что в различных широтах, при разнообразнейших физических условиях, на известной стадии развития обществ, люди неизменно страдают от тех же недостатков общественного устройства. Это заставляет нас считать народную литературу по вопросам общественным — делом более настоятельным, нежели популяризацию естественных наук. Впрочем, здесь нужно оговориться, что относительно серьезной популяризации заключения наши имеют весьма условное значение».

Дм. Клеменц не закончил свою программную статью. Он собирался поговорить с читателем о «народной книге» более подробно в следующий раз, но сделать это ему не удалось: в феврале 1879 года Клеменц был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Однако и в незавершенном виде статья его представляет огромный интерес. Написанная и опубликованная после неудавшегося «хождения в народ», статья «Задачи народной литературы» проникнута огромным социальным оптимизмом, верой в народ и в революционную пропаганду. Она направлена как против либеральных скептиков, не веривших в умственные силы народа, так и против славянофилов, с их культом патриархальности, и Достоевского, призывавшего интеллигенцию преклониться перед стихийной «правдой народной». От статьи Клеменца, как и от статей Чернышевского, веет духом классовой борьбы. Не случайно Клеменц ссылается на Маркса и Энгельса. Выражающая программные требования революционных народников, статья Клеменца помогает нам правильно понять и должным образом оценить демократические «народные книги», к характеристике которых мы и переходим в следующей главе.



Ряженая литература



1

В понятие «народная книга» входят как элементарные подражания фольклорным образцам, механические заимствования и лубочные переложения, так и литературные произведения, созданные на основе художественного и идейного переосмысления фольклора различных жанров. Выдающиеся художественные произведения, созданные писателями различных стран («Симплициссимус», «Легенда об Уленшпигеле», «Кому на Руси жить хорошо»), условно можно назвать «народными книгами»: принадлежа великой литературе, они доброй своей частью обязаны фольклору и в какой-то степени для народа написаны.

С творческой историей «народных книг» связано такое явление в литературе, как стилизация. Термин «стилизация» употребляется обычно в отрицательном смысле, как обозначение литературной второсортности, неудачного подражания, внешнего фольклоризма. Однако подобное однозначное толкование этого термина неправомерно. Стилизация далеко не всегда приводит к отрицательным результатам. Сказки Пушкина и «Песня про купца Калашникова» тоже из области литературной стилизации. Стилизация есть частный случай идейной и художественной интерпретации фольклора. Литературная стилизация заведомо предполагает отступление от подлинника, использование фольклорной поэтики в определенных эстетических целях. В фольклоре уже были выработаны определенные принципы исторического, художественного, соци-

ального отражения действительности, которыми литература не могла не дорожить. Великие художники, не пренебрегая приемами стилизации, используют фольклор для решения важнейших проблем литературной теории, художественной практики, в целом национальной культуры.

Литература всегда взаимодействовала с фольклором, прислушивалась к голосу народа, но прислушивалась по-разному, к тому же народ и его поэзия не составляли чего-то единого, раз навсегда данного. В разные исторические периоды, на разных этапах жизни народа и всей нации взаимодействие это обретало качественное своеобразие, менялось — переходило от полного слияния с фольклором к поглощению фольклорных форм, к растворению фольклорных традиций в литературе. К тому же и сам фольклор не всегда охотно шел на сближение с литературой. Особенно народный эпос, в силу свойственной ему специфики (устойчивость содержания, стиля и поэтики), крепко держится за свою художественную самостоятельность, неприкосновенность формы. Если эпос и проникает в «богатырские поэмы» и в повести XVIII и начала XIX века, то эпические богатыри чувствуют себя в окружении условных средневековых рыцарей и сентиментально-романтических героев довольно стесненно, не как в родном доме. Иными словами, былевой эпос оказывает наибольшее сопротивление литературной стилизации, он с трудом поддается подражаниям. Отсюда некоторое недоумение и поэтов и теоретиков литературы и даже недовольство их по поводу былинного гиперболизма, былинной поэтики.

Так, Державин, крупнейший поэт XVIII столетия, усматривал в былинах явную «нелепицу», «варварство» и даже «грубое неуважение к женскому полу». В них нет, по словам поэта, «ни разнообразия в картинах, ни в стопосложении», они «одноцветны и однотонны». В них «господствует гигантск»¹. Подобного же мнения о былинном стиле придерживались в начале XIX века русские фольклористы и филологи (Цертелев, Грамматин, Калайдович). Даже появление классического сборника Кириши Данилова не поколебало сомнений в художественных достоинствах и в исторической достоверности народного эпоса. Грамматин писал о сборнике: «Большая часть сих песен или

¹ Державин Г. Р. Рассуждения о лирической поэзии или оде. — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, изд. 2-е, т. 7. СПб., 1878, с. 614.

повестей, писанных стихами, особливо те, в которых прославляется Владимир, суть не что иное, как простонародные русские сказки, и наполнены самыми нелепыми вымыслами (...). Кто б ни был сочинитель сих сказок, но он должен быть без всяких познаний, особливо в древней истории своего отечества; следы испорченного вкуса и самого уродливого воображения повсюду видны в его сочинениях. Хотя он писал и не в средних веках, но все они дышат духом сих варварских времен, которых грубость и жестокость вселяют к ним отвращение»¹.

При таком взгляде на народный эпос естественно возникало стремление эстетически «улучшить» былины, привить им изящный вкус, устранить одноцветность и однотипность картин, сделать более легким сам слог.

Одной из самых распространенных форм литературной стилизации эпоса в конце XVIII и начале XIX веков являлись так называемые переработки и подражания. Литературное подражание всегда включало личный элемент, произвольное отношение к подлиннику. Русские поэты XVIII и начала XIX века постоянно обращались к былинам, к их сюжетам и поэтике, не забывая «оставаться самими собой». Такое вольное подражание вполне отвечало эстетической теории и художественной практике сентиментализма и романтизма. Подражать — «значит руководствоваться в действиях своих оригинальными образцами и переносить красоты подлинников в свои произведения свойственным себе образом». В той же статье «О подражании», откуда взяты приведенные строки, составленной по Батте и опубликованной в 1806 году в одном из сборников Петербургского педагогического института, содержится следующее требование, обязательное для подражателя: «Главнейшая должность подражателя состоит в том, чтоб произведение свое сделать занимательным, изящным и доставить зрителям удовольствие; чтоб не быть копиистом, но возвышать красоту подлинника, сколько позволят его силы»².

Стремление улучшать фольклор, перерабатывать его, создавать свои «богатырские» былины и сказки показательно и для классицистов (Державин), и для сентименталистов (Карамзин), и для романтиков (Жуковский).

¹ Цит. по кн.: Трубицын Н. Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. СПб., 1912, с. 353—354.

² Сочинения студентов Санктпетербургского педагогического института по части эстетики. СПб., 1806, с. 48.

В данном случае всех их объединяет влияние просветительской философии и рационалистической эстетики.

Наиболее значительной проблемой в связи с эпосом в поэзии начала XIX века оказалась проблема народного стихосложения или «русского размера». Поэты экспериментировали именно в этой области, создавали в подражание эпическим песням свои «народные» поэмы и баллады, написанные русским народным вольным стихом. Сама идея тонического стиха не была новой. К нему обращались Тредиаковский и Радищев, Капнист и Державин, затем Пушкин и Лермонтов. «Поэтому для нас всегда будет интересно сравнивать данный тип стиха с тем замечательным идеалом, который был создан для этого стиха Пушкиным»¹.

Но была еще романтическая теория Гердера, обращавшая внимание на национальное своеобразие каждого народа в отдельности и на богатое этнографическое содержание народной поэзии. Для русских романтиков был важен сам факт древности эпических песен². Отсюда их стремление опереться на эпос в решении эстетических и социальных проблем. В поисках самобытности, исторических основ русской народности романтики обращаются прежде всего к эпосу и к преданиям, как самым верным источникам, свидетельствующим об отечественных нравах и национальном самосознании. Стилизация служит поискам славяно-русского колорита, восстановлению героической старины, реставрации прошлого. «Илья Муромец» Н. М. Карамзина, «Добрыня» Н. А. Львова, «Бова» А. Н. Радищева, «Льоша Попович» и «Чурила Пленкович» Н. А. Радищева — все эти поэмы написаны в подражание эпосу. Фактической основой для большинства «богатырских поэм» служил не народный эпос, сохранившийся в устном бытовании и вошедший в сборник Кирши Данилова, а его литературные репродукции, в частности «Сказка о славном и храбром богаты-

¹ Бобров С. П. Русский тонический стих с ритмом неопределенной четности и варьирующей силлабикой (Опыт сравнительного описания русского вольного стиха). — Русская литература, 1968, № 2, с. 61.

² Очевидно, в «чистом виде» былинный эпос трудно себе представить. Каждый национальный эпос имеет свою затемненную веками историю возникновения и развития. В данном случае речь идет не об архаическом эпосе, не о древнейшем фольклоре первобытно-общинного строя, а о государственном эпосе, об эпических песнях, сложившихся в эпоху Киевской Руси.

ре Илье Муромце и Соловье-разбойнике» из «Повествователя русских сказок» (1787)¹. Таким образом, многие «богатырские поэмы» суть стилизация стилизации. Эта вторичная стилизация даже у видных поэтов, не говоря уже об их третьеразрядных подражателях, не сближает литературу с фольклором, а еще более отдаляет от него. Поэты-сентименталисты и поэты-романтики по-прежнему остаются в плену собственных концепций, меряют фольклор на аршин своей эстетики, тривиальной народности. В былинных богатырях Карамзина и Жуковского очень много от лирического «я» их создателей. Это прежде всего сентиментальные герои, склонные к утонченным эмоциям, к нежной любви и рефлексии. В. Г. Белинский очень метко сказал о субъективной природе стилизаторства: писатели никогда не сложат народной сказки, «подделка всегда останется подделкою, из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак»².

Для большинства писателей XVIII века важен не сам фольклор как большое и содержательное искусство, отражающее народное мировоззрение, а его отдельные стилистические приемы, соответствующие заранее спланированной литературной конструкции. Даже песни Сумарокова, испытавшие фольклорные влияния, сближаются с народной лирикой лишь по самым общим признакам. Народная песня помогает Сумарокову стать самобытным. Но бациллы рационализма тут же убивают в его песнях и романсах естественные эмоции, фольклорный реализм.

Наряду с эстетикой рационализма, классицистической и просветительской, в XVIII веке была выдвинута философская концепция, ставившая превыше всего естественные чувства, эмансипацию человеческой личности (Гердер,

¹ См.: Соколов А. Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. [М.], изд-во МГУ, 1955; Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959. О «богатырских поэмах» А. М. Астахова и В. В. Митрофанова пишут: «Одни из этих произведений (Карамзина, Львова) связаны с былинами лишь именами героев, в других (Державина, Левшина) в несколько большей мере использованы в композиции отдельные былинные ситуации и в стиле — традиционные былинные выражения и приемы. Однако связь с народным эпосом остается чисто внешней. Былинный материал разукрашивается в духе популярных волшебных-рыцарских романов и повестей, заимствованные из эпоса эпизоды перемежаются с вымышленными во вкусе этой литературы положениями, русские богатыри превращаются в галантных рыцарей» (статья к сб.: Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков. М.—Л., 1960, с. 73—74).

² Белинский В. Г. Полное собр. соч., т. I. М., 1953, с. 151.

Руссо, Радищев) ¹. С этой предреалистической теорией связано понимание фольклора как источника познаний внутреннего мира народа. У Радищева фольклор становится средством углубленной характеристики крестьянского мировоззрения, народной нравственности, социальных эмоций. Екатерина II тоже обращалась к фольклору, писала сказки и песни в фольклорном стиле и делала это вполне серьезно, пытаясь разобраться в тайнах национального характера. В результате она пришла к выводу, сводившему основные свойства русского национального характера к «образцовому послушанию». Некоторые основания для подобных суждений давал сам фольклор — пестрый, неоднородный, противоречивый. Наивно думать, что в фольклоре заложены только прогрессивные тенденции. Просветители многое берут из фольклора, но и многое отрицают в нем. Воевал с фольклором не один Буало. С разных позиций отрицались и признавались народная поэзия и народные обряды. Радищев услышал в фольклоре совсем другие ноты, отнюдь не свидетельствующие о «послушании». Фольклор для Радищева — это и вольные бурлацкие песни, и злободневные крестьянские толки, и исторические предания, и скорбные причитания. Иначе говоря, Радищев обращает внимание на социальную сущность фольклора и его потенциальные возможности. К тому же им учитывалась реальная практика исторической жизни народа. Народная история знала не только «тишайших» крестьян, но и выдвигала бунтарей, предводителей крестьянских восстаний (Разин и Пугачев). В народе издавна были сокрыты энергия протеста и социальный оптимизм. По полноте и яркости раскрытия этих внутренних сил народной жизни «Путешествие из Петербурга в Москву» можно назвать самой «народной книгой» XVIII столетия. Не случайно в ней есть целые главы, написанные в стиле самого фольклора.

2

С «Путешествия из Петербурга в Москву» начинается демократическое художественное народознание. В литературу приходит писатель-гражданин, путешествующий по

¹ Макогоненко Г. П. Русское Просвещение и проблемы фольклора. — В кн.: Русская литература и фольклор (XI—XVIII вв.). Л., 1970, с. 180—225.

родной земле не в качестве постороннего наблюдателя, а как революционный просветитель и социолог, изучающий народную жизнь и пропагандирующий необходимость освободительной борьбы. Сама идея сближения с народом, служения ему, столь чтимая Радищевым, передается от поколения к поколению, захватывает философию, литературу, публицистику, проходит через нравственные искания русской интеллигенции, постоянно думавшей о судьбах своей страны, своего народа. Крылов, Грибоедов, декабристы и Пушкин продолжают начавшееся в XVIII веке движение в защиту простого человека. Однако в XIX век переходит и другая традиция, отмеченная стилизаторством, лубочной народностью, внешним фольклорным экспериментаторством в области «народного стихосложения». Внешний фольклоризм всегда являлся врагом реализма и истинной народности. Так, у Карамзина и в особенности у его эпигонов вместо неприглядной правды, «страданий человечества» появляются красивые картинки, приторная чувствительность, добрые помещики и веселые крестьяне, «горячие любовники в крестьянском состоянии» (так называется одна из глав «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлова). И это в мрачные годы царствования Павла I, когда из пятидесяти двух губерний тридцать две были охвачены крестьянскими восстаниями!

Но вскоре после окончания войны с Наполеоном в России появляются «истинные сыны отечества» (так называли себя члены Союза спасения). Они ищут встречи с народом. Даже Евгений Онегин, психологически раздвоенный и нравственно надломленный, для врачевания своей души совершает путешествие по тем самым местам, где когда-то творилась национальная история и происходили важнейшие события народной жизни (у стен древнего Новгорода, на Волге, где хранились воспоминания о Разине). Хотя разрыв со средой, попирающей элементарные человеческие права, у Чацких и Онегиных часто кончается ужасом бездорожья или возвращением «лишнего человека» обратно в дворянскую усадьбу, освободительный поход и в жизни и в литературе, начатый Радищевым, продолжается и приводит дворянских революционеров на Сенатскую площадь, где состоится первое вооруженное восстание против царя и помещиков. Декабристы слишком осторожно относились к крестьянским движениям, не желали, чтобы события захлестнули деревню, превратились во всероссийское крестьянское восстание. И все же встреча с народом на Сенатской площади произошла, и она была

поучительна. Среди солдат оказалось много единомышленников дворянских революционеров.

Декабризм — это и Северное общество, и Сенатская площадь 14 декабря 1825 года, и еще многое другое, более скрытое, перешедшее в поэзию, в быт, в отношения между людьми. «Домашние» формы декабризма появлялись в избранном кругу идейных союзников, в «священном союзе друзей», на заседаниях «Зеленой лампы» и на русских завтраках Рылеева. Ими были охвачены подчас совсем частные уголки жизни, личные, семейные переживания, второстепенные события. С какой любовью говорит виднейший поэт-декабрист Кюхельбекер, явившийся на Сенатскую площадь с пистолетом в руке, о своих народных «наставниках»: «Первыми моими наставниками в русской словесности были моя кормилица Марина да няньки мои Корниловна и Татьяна»¹. Судьба свела Кюхельбекера с крепостным крестьянином Семеном Балашовым. Этот «дядька» был настоящим, искренним другом Кюхельбекера, его верным товарищем и заступником. После неудавшегося восстания 14 декабря Семен Балашов помогает Кюхельбекеру переодеться в свое простонародное платье и вместе с ним бежит в Варшаву; обоих их арестовывают, заковывают в кандалы и сажают в Петропавловскую крепость.

Утром 14 декабря, беседуя с Н. Бестужевым, Рылеев говорил: «...Если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках». Николай Бестужев заметил, что во фраке этого нельзя делать. Рылеев продолжал: «...А может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы». Однако Бестужев и это отсоветовал: «Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад?» Выслушав Бестужева, Рылеев задумался и сказал: «В самом деле, это слишком романтически...»²

Дворянский революционер, руководитель Северного общества и вдохновитель декабрьского восстания, в каф-

¹ Из письма В. К. Кюхельбекера своему племяннику Николаю Глинке от 9 июля 1835 года. — Цит. по вступительной статье Ю. Н. Тынянова в кн.: К ю х е л ь б е к е р В. К. Лирика и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия, т. 1. Л., 1939, с. VII.

² Воспоминания Бестужевых. Ред., статья и комментарии М. К. Азадовского. М.—Л., 1951, с. 36—37.

тане и с сумой за плечами действительно выглядел бы слишком романтично. Но революционные народники не откажутся от идеи переодевания. Ровно через пятьдесят лет, но уже не у Зимнего дворца, а на деревенской площади, подобный «маскарад» произойдет. Революционные разночинцы, решив сблизиться с крестьянами, без долгих прений меняют фраки и сюртуки на крестьянское платье. И делают это, чтобы сродниться с русским мужиком, войти в его доверие, через «кафтан» проникнуть в крестьянскую душу.

Стилизация продолжается и в жизни и в литературе. У декабристов, как и у революционных народников, «переодевание» сопряжено с политическими замыслами, с революционной пропагандой. Декабристская поэзия, участвуя в романтическом «маскараде», идет на прямое сближение с фольклором, чтобы затем «сроднить» народную поэзию с тираноборчеством, с высокой гражданственностью. В бесчисленных подражаниях фольклору первой четверти XIX века уже делались попытки создать «народную поэзию» литературными средствами, не только перенести фольклор, пропущенный через фильтр дворянской эстетики, в богатый особняк, но и вернуть народу его же песни и сказки в новой редакции (художественной и идейной), создать демократические книги для крестьян и солдат. Так возникают и лубочные книги, сковывающие народное сознание, так возникают и демократические книги для народа, в которых и сам фольклор участвует в распространении свободолюбия, декабристских идеалов¹. В фольклоре были заложены ценнейшие качества и материалы для гражданской поэзии. «В Москве, — пишет И. Г. Прыжов, — была задавлена вся народная жизнь, а тем паче и возможность драмы. Но это самое гонение на народ послужило источником возникновения нового комического элемента, погибшего под деспотизмом XVIII века, а в сущности и до сих пор живущего в народе». Прыжов ссылается

¹ В самом начале XIX века официальные круги были обеспокоены просвещением народа, проникновением в его среду образованности и «свободных художеств». «Сохрани нас бог, — говорил первый директор канцелярии министерства просвещения, образованного в 1802 году, издатель «Северного вестника» И. И. Мартынов, — если весь народ будет состоять из ученых, диалектиков, замысловатых голов (...) Науки, так называемые свободные художества, которые составляют воспитание человека государственного, совсем не приличны для черни и даже вредны в отношении к общественному благоденствию...» (Пятковский А. П. Очерки по истории русской журналистики, изд. 2-е. СПб., 1888, с. 179).

на сатирические произведения и «лубочные картины» («Хождение Саввы, большой славы» и «Погребение kota мышами»). «К ним присоединяются песни и сказки про поповичей и т. д. и бесчисленное количество пословиц,— и все это наполнено такой едкой и глубокой сатирой, о которой нашим буржуазным писателям никогда и не грелось»¹.

Слова Прыжова относятся к тем писателям, которые в угоду своим классовым убеждениям отрицали народное творчество или понимали его односторонне, вкладывая в подражания фольклору безобидное содержание.

С другой стороны, были писатели, бравшие из фольклора социальные мотивы, видевшие в нем отражение заветных народных чаяний. Декабристы-романтики, Пушкин и Лермонтов находили в древних эпических песнях, наряду с русской летописью, народными песнями и сказками, яркое проявление национальной самобытности, народного свободомыслия, образцы гражданской патетики. Пытаясь определить отношение фольклора к современной действительности, они обнаруживают в фольклоре убедительные свидетельства о неблагополучии в жизни страны, об отрицательном отношении народа к помещикам и попам. Но декабристы-романтики, в отличие от Пушкина, еще довольно узко понимают народность, они используют фольклор для выражения собственных настроений и политических идей, слишком рационально к нему относятся. Декабристские эпические герои — не средневековые рыцари или меланхолические мечтатели, а непременно смелые воины, которые действуют и мыслят в духе нравственного кодекса дворянских революционеров.

Стилизация непременно тянет за собой «фрак» или тот же самый «зипун», но перешитый по новой моде. П. А. Плетнев как-то заметил по поводу «Сказки о Иване Царевиче и сером волке» Жуковского: «Видно, что эта сказка идет не из избы мужицкой, а из барского дома...»² Декабристские фольклорные стихи выходили тоже не из крестьянской избы, а из дворянского особняка, из квартиры Рылеева на Мойке. Но это был тот «барский дом», где собирались члены тайного Северного общества. На рус-

¹ Прыжов И. Г. Быт Малороссии по памятникам ее литературы с XI по XVIII век. Цит. по кн.: Мазуркевич А. Р. И. Г. Прыжов. Из истории русско-украинских литературных связей. Киев, 1958, с. 192.

² Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 3. СПб., 1885, с. 562 (письмо к В. А. Жуковскому от 1 (13) ноября 1845 года).

ских завтраках Рылеева (с непременно кочаном квашеной капусты) распевались народные песни и складывались новые, которые должны были стать достоянием народа, перекочевать в солдатские казармы и крестьянские избы, стать в один ряд с другими жанрами гражданской поэзии.

Декабристские романтики первыми в России пытались создать для народа революционные песни. Осенью 1823 года на одном из заседаний Северного общества Рылеев предложил воздействовать на общественное мнение распространением свободолюбивых и антиправительственных песен. С декабристских песен начинается революционная потаенная поэзия. Рылеев и Бестужев в песне «Ах, тошно мне...» сумели выразить народное мнение об аракчеевской России, сроднить свою песню с лучшими образцами крестьянско-солдатской поэзии, с такими произведениями антикрепостнического фольклора, как «Плач холопов», «Глас вопиющего в военных поселениях», поэма «Солдатская жизнь» и песня «Как по реке, по реке...». Подсказанные народом, песни Рылеева и Бестужева не могли не вернуться в народ, не получить в его среде широкого распространения.

Для дворянских революционеров было недостаточно создавать песни в народном духе, они стремились идейно приподнять фольклор, наполнить его новым политическим содержанием. «Подблюдные песни» — особый цикл в народной поэзии — гадания о личной судьбе, песни достаточно нейтральные по отношению к вопросам жизни общенародной. Александр Бестужев, беря за образец эти песни, превращает их в тираноборческие стихотворения. В область мирной, созерцательно-лирической поэзии он вносит политическую ноту, крайне революционную по своему смыслу. Сохраняются мотивы фольклора, его мелодика, связь строк, стилистические фигуры, а суть дела совершенно меняется. Там, где в фольклоре патриархальное прославление государя, — у Бестужева прославление антимонархической свободы, вооруженной тираноборческим кинжалом; где в фольклоре безобидный разукрашенный сказочный обряд, — у Бестужева почти на том же словесном материале образ мужика с топором, с топором народной расправы; где в фольклоре говорится о девичьей судьбе, — там декабристы убежденно пророчат свободу России¹.

¹ См.: Б а з а н о в В. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. М., 1953, с. 180—197.

Необходимо при этом отметить двойственность позиции дворянских революционеров, создателей революционных песен. Сила агитационного воздействия, заложенная в таких мятежных песнях, как «Ах, тошно мне...» или «Уж как шел кузнец...» вызывала опасение в них самих. Страшась народной революции, они опасались, что подобные песни могли приблизить час кровавой расправы крестьян над помещиками.

Декабристский опыт в создании агитационных песен и стихотворений стал достоянием последующих революционных поколений. Эти поколения, вышедшие из разночинной среды и перешедшие на позиции народа, не сомневались в необходимости самого широкого распространения вольного слова в народе. Почти каждое революционное тайное общество обращалось к революционной поэзии. Если не появлялся поэт, способный создать оригинальные произведения, то находились «соавторы» («вторые Рылеевы»), перерабатывавшие старые стихи на новый лад.

3

Русская потаенная литература с ее богатыми и давними традициями нуждается в историческом рассмотрении на всем протяжении ее развития, вместе с ходом освободительного движения страны и в связи с общими литературными проблемами, в соотношении с явлениями национальной культуры. Не должны быть забыты и самые древние эпохи, когда функции вольной литературы выполняла народная словесность, прежде всего народные говоруны, «юродивые» с их дипломатическим красноречием.

По словам Александра Бестужева, народное вольномыслие в эпоху русского средневековья «прикинулось баснею и шуткою». «Шут был кривой проводник мнений народа ко власти, и нередко проводник правосудия от власти к народу. Обличитель пороков, пересмешник недостатков, он не щадил ни гостей, ни хозяина и бичевал их намеками, не боясь бичевания ремнями... Одним словом, шут-простолюдин, приближенный к князю, был чем-то похож на народного трибуна в карикатуре»¹.

П. Н. Берков справедливо говорил о необходимости изучения памятников рукописной литературы, включая

¹ Бестужев А. О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем». — Московский телеграф, 1833, ч. 53, с. 227.

XVIII столетие, когда появляются крестьянские произведения революционного содержания («Плач холопов» и знаменитые пугачевские манифесты). «Есть произведения, — указывал П. Н. Берков, — которые в разные эпохи по разным причинам, но чаще всего из опасения цензуры и иных преследований, распространяются в списках. Они безусловно должны рассматриваться историками литературы как равноправная область литературы, имевшая свои специфические формы бытования»¹.

«Специфические формы бытования» в какой-то степени сближают потаенную литературу с фольклором. Достаточно сказать, что вольная, нелегальная, потаенная поэзия существовала еще до возникновения в России книгопечатания. Следует только сразу же отметить, что такая поэзия далеко не всегда отвечала художественным требованиям той или иной эпохи. Определенность, прямота, резкость в стиле, в лексике и фразеологии не всегда вели к эстетическим достижениям. В создании потаенной поэзии очень часто участвовали рядовые революционные деятели, писавшие стихи на злобу дня, расценивавшие поэтическое слово прежде всего с точки зрения массовой агитации. Только великие гражданские поэты (Пушкин, Рылеев, Некрасов) сумели необычайно высоко поднять потаенную поэзию, сделать ее общенародной. Но именно здесь, в изучении рукописной гражданской поэзии, необходимо учитывать весь состав произведений, если они даже не отмечены особым талантом². История рукописной поэзии должна рассматриваться в возможно более полном объеме, включая стихотворения безвестных пропагандистов, своеобразный «литературный фольклор», варианты и переделки ранее созданных стихотворений и песен.

Потребовалось много времени и коллективных усилий, чтобы потаенная литература XIX века была выявлена,

¹ Цит. по стенограмме Ученого совета ИРЛИ АН СССР, хранящейся в архиве Пушкинского Дома.

² Лучшие образцы русской вольной поэзии XIX века опубликованы в двух специальных сборниках Большой серии «Библиотеки поэта». Подготовил к печати и прокомментировал эти сборники С. А. Рейсер (Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Л., 1959; Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970). В 1963 году в Ленинграде Е. Г. Бушканцем была защищена докторская диссертация на тему «Русская нелегальная поэзия второй половины 1850-х — начала 1860-х годов», богатая фактическими данными и наблюдениями. Кроме автореферата диссертации «Русская нелегальная поэзия второй половины 1850-х — начала 1860-х годов» (Л., 1963), Е. Г. Бушканец опубликовал ряд статей и сообщений на эту тему.

собрана и изучена. Правда, это касается далеко не всех исторических периодов. Наиболее полно обследованы нелегальные пушкинские и декабристские стихи, составившие целую эпоху в истории русской гражданской поэзии. Почти все наследие «первого декабриста» Владимира Раевского долгое время оставалось рукописным. Ранние его стихи и стихи, написанные в Тираспольской крепости, случайно сохранились среди бумаг, отобранных при аресте поэта, или в списках, сделанных его друзьями и единомышленниками. Такова же судьба поэтического наследия Александра Одоевского, певца декабристской каторги и ссылки. В наше время, когда вышли полные собрания сочинений Раевского и Одоевского и творчество их давно стало достоянием широкого читателя, трудно себе представить, что стихотворения двух крупнейших поэтов-декабристов не печатались при их жизни и распространялись лишь в списках (исключение составляют единичные стихотворения, самые нейтральные по содержанию, без подписи авторов попавшие в печать).

По сравнению с началом XIX века в эпоху кризиса феодально-крепостнической системы и падения крепостного права значение вольной поэзии в освободительном движении еще более возрастает. Теперь она все чаще обращается непосредственно к народу. Вторая половина XIX века в истории вольной поэзии отмечена появлением выдающихся произведений, распространявшихся на правах манифестов и прокламаций.

На наш взгляд, основную специфику потаенной литературы эпохи падения крепостного права в России не следует видеть в рукописности, анонимности и вариативности. Два последних признака более относятся к фольклорным произведениям, нежели к собственно литературному творчеству, хотя и потаенному, подпольному. Вариативность рукописной литературы нельзя преувеличивать, в большинстве случаев мы имеем дело с устойчивым текстом. Анонимность потаенной литературы тоже условна. Авторы многих произведений теперь хорошо известны или могут быть установлены. Что касается признака рукописности, то он чрезвычайно существен, хотя и его не следует абсолютизировать. Наиболее значительные произведения потаенной литературы 60—70-х годов появлялись в нелегальной печати, из рукописных становились печатными и в таком виде распространялись в народе. Поэтому и самую проблему необходимо изучать в комплексе, то есть в понятие «народная книга» на равных правах включать как руко-

писные, так и печатные произведения, выпущенные подпольными типографиями, изданные за рубежом. Пропандистская литература революционных народников 70-х годов, например, в значительной своей части была опубликована в специальных изданиях.

Самостоятельный интерес представляют рукописные произведения, возникшие непосредственно в народной среде. Г. А. Гуковский в 1933 году отмечал, что мы все еще «мало знаем о том, что составляло литературную жизнь крестьянина, солдата, посадского человека» XVIII столетия¹. Это же можно сказать и о литературной жизни крестьянина и солдата XIX века. Только отдельные произведения, правда самые выдающиеся («Плач холопов», манифесты и указы Пугачева, солдатские прокламации 1820 года), оказались более или менее изученными. На этом пути предстоит еще многое сделать. Прежде всего нужно выявить талантливых выходцев из народа, изучить их творчество, включить принадлежащие им немногие печатные и рукописные произведения в общую историю потаенной литературы.

Литература эта пестра и неоднородна, она выражала заветные мечты о воле, и она же призывала к терпению, к вере в бога. Для нас важно обратить внимание на тех писателей и поэтов из народа, которые служили передовому движению, выражали вековую ненависть народных масс к крепостничеству и социальному угнетению.

В книге Л. А. Когана «Крепостные вольнодумцы» собраны материалы о крестьянах-публицистах и их произведениях, ставших библиографической редкостью. Среди «вольнодумцев» — заводской служитель А. В. Лоцманов, автор «Сочинений и переводов в прозе», изданных в 1823 году московским «типографщиком» С. Селивановским². Самым известным оказался крестьянин П. А. Мартьянов, посетивший в Лондоне Герцена и Огарева. Он стал постоянным сотрудником «Колокола». «Человек, испытанный всеми горячами и бедствиями русской жизни, — писал Герцен о Мартьянове, — одаренный необыкновенным умом, энергический, глубоко страстный, Мартьянов сосредоточился весь на вопросе о судьбах

¹ Гуковский Г. Солдатские стихи XVIII века. — Литературное наследство, т. 9—10, 1933, с. 112.

² Из последних работ, где подробно рассматривается содержание произведений, опубликованных в книге «Сочинения и переводы в прозе», назовем статью А. В. Астафьева «„Ревнитель свободы“ А. В. Лоцманов» (Проблемы русской литературы. Ярославль, 1966, с. 55—95).

русского народа; тут была его поэзия, его религия, любовь и ненависть»¹. После поездки к Герцену и Огареву Мартьянов в 1863 году вернулся в Россию, где был арестован и осужден на каторжные работы в Сибирь. В официальных донесениях говорится, что Мартьянов в 1865 году умер в иркутской тюремной больнице. По свидетельству Герцена, Мартьянов пытался бежать, и тюремщики засекали его до смерти².

Крепостные вольнодумцы, как бы они ни были оппозиционно настроены к самодержавию и помещикам, в философской и социально-экономической литературе не могли оставить значительного следа. Их статьи и трактаты «обычно уничтожались или замуровывались в тайниках полиции. То, что до нас дошло, — лишь небольшая часть созданного талантливыми людьми из народа в жанре философской и политической публицистики и только малая частица того, что могло быть ими создано»³. Кстати сказать, и написаны эти сочинения неопытной рукой, то слишком вяло, то слишком витиевато. Только Мартьянова можно считать сложившимся публицистом, прошедшим прекрасную школу в «Колоколе». Бывает так, и нередко, что начинающий писатель и публицист, не получивший достаточного образования, пишет особенно замысловато, прибегая к излишне сложным стилистическим конструкциям, чтобы тем самым возвыситься над житейской прозой, уйти от просторечия и овладеть ученой фразеологией (вплоть до масонской у Лоцманова). В рукописных сочинениях крепостных вольнодумцев, постигших теорию естественного права, но еще не искушенных в самостоятельном творчестве, эпигонство часто поглощает индивидуальность. Создается даже впечатление, что пишут они не для народа, а для образованного читателя, чтобы сравняться с ним, показать свою эрудицию, свою осведомленность в общечеловеческих проблемах⁴. Многие произведения

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18. М., 1959, с. 11.

² Помимо книги Л. А. Когана «Крепостные вольнодумцы» (М., 1966), о П. А. Мартьянове имеются работы: Лемке М. И. Дело П. А. Мартьянова. — Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908; Козьмин Б. П. К биографии крестьянина П. А. Мартьянова. — Красный архив, 1923, т. 3.

³ Коган Л. А. Крепостные вольнодумцы, с. 19.

⁴ Наши замечания касаются исключительно философских и социально-политических трактатов, в частности рукописных сочинений Лоцманова и Подшивалова. Из крепостной интеллигенции вышло немало больших поэтов, художников, музыкантов и зодчих. Они на себе испытали все ужасы помещичьей тирании, все превратности крепостной неволи. С по-

антикрепостнического содержания так и не увидели света, остались в рукописях. Тот факт, что авторство большинства этих произведений не установлено, еще не может служить основанием для отнесения их исключительно к фольклору. Наоборот, появление рукописных произведений свидетельствует об отходе от устных традиций в народном творчестве, о первых опытах народной литературы. Рукописная литература, возникающая в народной среде, от фольклора берет многое: повествовательные приемы, отдельные образы и мотивы, разговорный язык. В то же время эта литература представляет собой явление вполне самостоятельное. Она дополняет и развивает крестьянский фольклор, народные толки и слухи.

Из всех известных нам крестьянских рукописных произведений самым значительным является поэма «Вести о России», опубликованная в 1961 году в Ярославле. Ярославская поэма выходит далеко за пределы локального сюжета, местной темы, в ней описания крестьянской деревни до некоторой степени предвосхищают Некрасова, тоже ярославца, использовавшего в своем творчестве местный фольклор, местные толки и слухи.

Автор «Введения» к «Вестям о России» Т. Г. Снытко имел основание писать, что «полный драматизма рассказ Соломонида заставляет забывать его литературные несовершенства. «Вести» были написаны на 20—25 лет раньше поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но рассказ Соломонида, женщины стойкой в бедах, отзывчивой к чужому горю, заставляет нас вспомнить Матрону Тимофеевну, да и вообще некоторые строфы повести звучат совсем по-некрасовски:

...Из села Беспорядкина,
От помещика Даромвзяткина,
В деревню Гору,
Крестьянину Егору
Приказ»¹.

Крепостной поэт написал поэму с голоса народа, назвав ее: «Книга, именуемая Вести о России, взятые из мирской

мощью передовой России, с помощью лучших людей из дворян иногда удавалось спасти крепостного интеллигента, вырвать его у помещика, добиться относительной свободы, права на занятия творческим трудом. Так были вызволены из крепостной зависимости В. А. Тропинин, Т. Г. Шевченко, М. С. Щепкин, О. А. Кипренский, А. Л. Гурилев, П. И. Аргунов, А. Н. Воронихин и др.

¹ Вести о России. Повесть в стихах крепостного крестьянина 1830—1840. [Ярославль], Ярославское книжное изд-во, 1961, с. 18.

жизни, с дел и слов народа, с предложением в стихи Петром О...». И далее на обертке тетради, посланной в 1849 году в Петербург на имя принца П. Г. Ольденбургского, пояснение: «Писатель рукописи — полуграмотный крепостной, господский по телу крестьянин, но по душе христианин Петр».

«Вести о России» — книга о жизни крепостного крестьянина, книга страшная по своей правде. Поэт передает слово самому народу, прежде всего бабушке Соломониде:

Крестьяна, бедные крестьяна!..
Всегда в когтях у малодушных,
Вертят нас гордые дворяна,
Как лошадей послушных.
Горька, горька вам эта чаша,
Во власти их судьбина ваша,
Безвинно могут наказать,
От вас именье отобрать.
От их окладов и оброков
Крестьянские умы повяли,
От выполнения грозных сроков
Деревни всюду обветшали.
Из ваших бедность из домов
Видна и в щели и в окошки.
Искать там трудно пирогов,
Где часто хлеба нет ни крошки.
Здесь страшна язва нищета
Свиристует в рабах жестоко...
Ох, этот голод, нагота
Болят от сердца недалеко...¹

Здесь и «Песня лакея»:

Услышал барина свисток,
Широкий дал к нему прыжок.
Он, как собаку, меня звал,
В секунду я пред ним предстал
И вот скажу о том сейчас,
Какой я выслушал приказ:
«Позвать оброчного детину,
Кой в Петербурге проживал.
И ту — толстую Акулину,
Что Ветров в карты проиграл»².

В этой песне и в рассказах лакея Ванюши и кучера Андриана поведана обычная история крепостной деревни: дворовую девушку Акулину проигрывают в карты, отбирают у любимого жениха и вынуждают выйти замуж за оброчного крестьянина, приехавшего из города. Трагиче-

¹ Вести о России..., с. 66.

² Там же, с. 72.

ская история кончается на конюшне, безжалостно всех секут. На просьбу Андриана «Позвольте с ней вступить в закон!» слышится грубый окрик помещика:

Это что такое?! Вон!
Как?! В землю по уши зарюю!
Гей, палок!.. Голову всю размножу!
Скорей, мерзавцы! Ах, какой буйн!..
На барабан всю шкуру вздую!..¹

Мы так подробно остановились на ярославской поэме «Вести о России» потому, что считаем ее одним из самых ярких рукописных произведений первой половины XIX века, вышедших из крестьянской среды. Поэма эта до сих пор не привлекала должного внимания фольклористов и литературоведов, хотя она дает богатый материал для изучения взаимодействия народного творчества и литературы. Художественные достоинства «Вестей о России» не нужно преувеличивать: поэма получилась тяжеловесная, композиционно рыхлая. С другой стороны, эта поэма, написанная даровитым крестьянином-самоучкой, поражает жизненной правдой, искренностью чувств и смелостью социальной критики, тем суровым реализмом, которым отмечены лучшие антикрепостнические произведения великой русской литературы.

Трудно сказать, кто этот «полуграмотный крепостной» Петр, составивший столь замечательную народную книгу. Т. Г. Снытко осторожно предполагает, что им мог быть приказчик товарищества сахарных заводов, бывший беглый крепостной крестьянин Великого Села Ярославской губернии Савва Дмитриевич Пурлевский, автор «Воспоминаний крепостного», опубликованных в 1877 году в «Русском вестнике». Образ автора содержится в «Вестях». Молодой крепостной крестьянин, проживавший несколько лет в Петербурге на оброке, возвращается в родную деревню. В Петербурге Петр служил в приказчиках. В деревню вернулся он со сложившимся мировоззрением крестьянина-вольнодумца, воспитавшегося на просветительской литературе. Петр беседует о вольной жизни, о правах человека, о бедственном положении крестьян с отцом и односельчанами. Отец его мудрый, хотя и неграмотный старик, мудрый по-своему, по-патриархальному. Выслушав сына, он, много повидавший на своем веку, советует выбросить из головы все вольные мечты, забыть

¹ Вести о России..., с. 80.

о «мудрых законах», о ходоках к царю, приглашает «завтра в чистое поле... вместе пахать». Отец знает, чем кончатся в России мечты о воле, и предсказывает ссылку или казнь:

Забудь! Про вольные мечты
Тебе ль воспеть на этой лире?..
Ты мужиком на свет родился
И должен бремя то нести.
Воспитан худо, не учился...
Тебе ль, мой сын, к царю идти?
Тебе ль великому советы
О всех свободе подавать
И на вопрос его ответы
Словами серым продолжать?
Услышит он — велит молчать,
Вновь ни о чем тебя не спросит,
Иль вздумает тебя сослать
Туда, где ворон и костей не носит.
Или отдаст тебя под суд
Неправильной нашей власти.
Тогда, увы, что будет тут,
В какой ты вновь будешь напасти?..
Тебе за добрые затеи
Судьи законы подведут,
Потом, как книжники, как фарисеи,
Быть может, и на площади убьют¹.

Нам неизвестна дальнейшая судьба крепостного поэта. Можно не сомневаться, что если бы жандармы напали на его след, открыли автора «Вестей о России», то предсказания старика отца сбылись бы полностью. За такие рукописные сочинения царь не жаловал не только крепостных крестьян, но и писателей из дворянского сословия.

Не спасло бы от тюрьмы и каторги обращение Петра к принцу Ольденбургскому. За такие «челобитные», где в форме прошения или жалобы осуждался существующий строй и обвинялись помещики, обычно «лишали живота»².

¹ Вести о России..., с. 60.

² Слепой крестьянин, старец Семен Семин, в 1719 году за подметное письмо был заключен в тюрьму, а через двенадцать лет, при повторении «вольнодумства», казнен (см.: А ле ф и р е н к о П. К. Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30—50-х годах XVIII века. М., 1958, с. 307). За рукописные сочинения «богохульного» содержания в 1752 году был «бит кнутом нещадно» крестьянин Василий Щербаков, затем сослан в Соловецкий монастырь. «Дабы он,— говорилось в официальном указе,— впредь таковых тетрадок сочинять не дерзал и имел бы от того крепкую предосторожность, и во удержание учинить наказание: бить плетью и по учинении того наказания содержать его в Соловецком монастыре, как посланным ранее указом велено. Смотреть над ним весьма прилежно почаству, дабы он впредь таковых же тетрадишек сочинять не...

Крестьянская поэма неизвестного автора имеет удивительно точное название — «Вести о России». Народные толки и слухи выражали отношение крестьян к существующей действительности, к крепостному праву и к царскому манифесту, к помещикам и чиновникам, они являлись одним из самых авторитетных свидетельств эпохи, по которым можно было судить о массовом недовольстве. Однако слухам, вестям и толкам, как и в целом крестьянскому фольклору, не хватало проникновения в существо социальных противоречий, прежде всего — понимания антинародного характера царской власти, непримиримого отношения к ней. Стихийные крестьянские восстания немедленно подавлялись вооруженной силой самодержавия. На сознательную организованную борьбу крестьяне не были способны. Слишком по-семейному, по-патриархальному они понимали волю, ограничивались наивными представлениями об «обетованной земле», где все живут в материальном достатке и без принуждения, весело и вольготно. Крестьянские идеалы счастливой жизни в какой-то степени совпадали с утопическими проектами социалистического будущего. Но эти последние тоже нуждались в уточнении, в обосновании, в наполнении более демократическим содержанием.

4

Во второй половине XIX века судьбу пропагандистских книжек во многом определяет демократическая идея сближения с народом: учиться у народа и, главное, — вести его за собой. В этом отношении особенно показательна пропагандистская и литературная деятельность революционных народников.

В годы массового «хождения в народ» создание литературы для народа, доступной крестьянину, становится одним из центральных программных требований народников.

мог; чего ради пера, чернил, бумаги, угля, береста и прочего к письму способного отнюдь бы при нем не было, и оного ему не давать» (К о л ч и н М. Ссылные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—XIX вв. М., 1908, с. 80). За сочинение и распространение рукописных произведений антикрепостнического и «богохульного» содержания в Соловецкий монастырь и на каторгу в Сибирь ссылали и позже, не только в XVIII, но и в XIX веке. В 1830 году был привезен и заточен в каземат Соловецкого монастыря Ф. И. Подшивалов, дворовый человек князя А. Я. Лобанова-Ростовского, автор рукописного социально-политического трактата «Новый свет и законы его».

В. И. Ленин отмечал, что сущность политической программы народников 70-х годов заключалась в том, «чтобы *поднять крестьянство* на социалистическую революцию *против основ современного общества*»¹. В решение именно этой проблемы включается революционная молодежь, покинувшая стены университетов, гимназий и училищ, отправившаяся в массовое пропагандистское путешествие по России. Участники «хождения в народ» 1873—1875 годов были прежде всего пропагандистами, социологами и социалистами и только отчасти — фольклористами и этнографами. Демократическое народоведение 70-х годов включает в себя массовое и организованное «хождение в народ», пропагандистскую деятельность путешествующих революционеров среди крестьян и рабочих. Народники-пропагандисты используют встречи со слушателями, чтобы пробуждать революционные настроения в народных массах, разъяснять причины народных бедствий, отвоевывать наиболее сознательных на свою сторону.

«Хождение в народ» 1873—1875 годов явилось хорошей школой для русских революционных разночинцев. Стремясь преодолеть разделяющие перегородки между интеллигенцией и народом, революционные народники встретились с непреодолимыми трудностями. В жизни все оказалось значительно сложнее, чем в теории. Две силы, два течения в русской крестьянской революции — стихийно-крестьянское и революционно-народническое — так и не соединились, не слились в один мощный поток. Заново повторилась трагедия одиноких борцов. Однако она повторилась в новых размерах и в новой форме. Революционные разночинцы были и близки к народу и далеки от него. Близки потому, что отражали интересы мелкого производителя, русского крестьянства, расшатывали ненавистный народу социальный строй; далеки потому, что выступали с утопическими проектами будущего, романтизировали крестьянство, преувеличивали его готовность к сознательной и самостоятельной политической борьбе. «Ясно, что марксисты,— писал В. И. Ленин в статье «Две утопии»,— должны заботливо выделять из шелухи народнических утопий здоровое и ценное ядро искреннего, решительного, боевого демократизма крестьянских масс». Это «здоровое и ценное ядро» состояло в стремлении «трудящихся миллионов мелкой буржуазии *совсем* покончить с старыми, феодальными эксплуататорами...». Одновременно револю-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 272.

ционные народники вынашивали «ложную надежду» «„заодно“ устранить эксплуататоров новых, капиталистических»¹. В статье «О народничестве» Ленин указывает на историческую заслугу «хождения в народ» и на прямую связь этого героического «хождения» с предшествующим революционным движением в России. «Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского. Расцветом действительного народничества было «хождение в народ» (в крестьянство) революционеров 70-х годов... Крестьянская демократия — вот единственно реальное содержание и общественное значение народничества»².

На мировоззрение революционных народников не могла не оказать воздействия передовая русская литература и публицистика. А. П. Прибылева-Корба, задумываясь над истоками своего мировоззрения, писала: «Мое идейное народничество сложилось под влиянием книг Лаврова, Флеровского, Глеба Ив. Успенского, отчасти также Достоевского, и еще прежде, в дни моей ранней юности, под влиянием великих писателей 60-х годов»³. На первое место среди «великих писателей 60-х годов», оказавших огромное влияние на мировоззрение революционных народников, участники «хождения в народ» ставили Герцена и Чернышевского. Переход России к социализму Герцен не мыслил без полного уничтожения крепостничества и освобождения крестьян с землей. Считая основой социалистического будущего сельскую общину, очищенную от чужеродных примесей, привитых феодализмом и крепостничеством, Герцен возлагал огромные надежды на русскую молодежь, которая только и может повести за собой крестьянство. «В народ!» — таков лозунг Герцена, брошенный им в статье «Исполин просыпается» (1861). Чернышевский с рядом существенных оговорок тоже видел в общине противоядие от капитализма, допускал в порядке исключения для России победу крестьянского социализма. Но «перемену декораций» можно было произвести, по Герцену и Чернышевскому, только революционным способом, опираясь на народные массы. Иначе говоря, для осуществления социалистической программы необходима народная революция. Социалист-утопист и революционер-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 121.

² Там же, с. 304—305.

³ Прибылева-Корба А. П. «Народная воля». Воспоминания о 1870—1880-х гг. М., 1926, с. 32.

демократ в Чернышевском неразлучны, они всегда действуют заодно, идут рука об руку. Именно боевой демократизм Чернышевского воодушевлял революционных народников, освещал героическое «хождение в народ».

Особенно большую роль в возникновении «хождения в народ» и его превращении в мощное движение революционных разночинцев сыграл «Современник» Чернышевского и Некрасова.

На пути к цели, к революционной пропаганде в народе встречалось немало трудностей и заблуждений. Сама идея «хождения в народ» воспринималась по-разному, в 70-е годы она осложнялась влиянием анархизма (Бакунин), вульгаризировалась (Нечаев), часто понималась и применялась на практике односторонне. Сложность проблемы состояла и в том, что «хождение в народ» совершали не только революционные разночинцы. Славянофилы тоже ратовали за сближение с народом и успели сделать серьезные шаги в этом направлении. Достаточно сказать, что они возглавили собрание и изучение фольклора, пошли в народ, сменив барский сюртук на домотканую рубаху, пошли с полной уверенностью, что крестьянин поймет их, подтвердит славянофильскую теорию, гласящую о неизбежности патриархальных нравственных и экономических деревенских устоев. В конечном итоге славянофилы не желали, чтобы крестьянин расставался с традиционной верой в царя-освободителя и земский собор, они и в народной поэзии видели лишь застывшее патриархальное мирозерцание, умиротворенность, отсутствие социальной энергии, пассивные добродетели, религиозную экзальтацию. Кто в XIX веке не говорил о необходимости практического сближения с мужиком? Даже Константин Леонтьев призывал «любить его национально, эстетически... любить его стиль»¹. В отвлеченной любви, в барской филантропии, в подражаниях народному стилю не было недостатка. Третьеразрядные и верноподданнические поэты наперегонки имитировали фольклорные формы, создавали лубочные книжки для народа. Но это была ложная народность: любование стариной, заигрывание с мужиком, пропаганда охранительных идей.

Влияние славянофильской идеологии сказывалось и в областях фольклористики, в изучении народной жизни и народной поэзии. «На славянофилах,— писал Герцен,— лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского,

¹ Леонтьев К. Восток, Россия и славянство, т. 5. М., 1886, с. 164.

ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни»¹. Любители народной словесности, филологи и этнографы ставили перед собой благородную задачу: собрать и прокомментировать памятники народного творчества, изучить личность сказителя, описать народные нравы и обычаи. Передовая фольклористика XIX века сыграла свою роль в становлении демократического народознания. Якушкин, Худяков и Прыжов от фольклористики пришли к участию в революционном движении. Они не ограничивались собиранием и изданием произведений народного творчества; вопрос шел о комплексном изучении народной жизни; демократическая фольклористика особенно дорожила изучением народного экономического быта². Но это были все же отдельные попытки выйти за пределы традиционного фольклористического путешествия. Сменялись школы и направления в русской фольклористике, на смену мифологам пришли представители «исторической школы», последних постепенно вытеснили компаративисты. Накапливался огромный материал, создавались ценные филологические труды. И все же буржуазно-дворянской фолькло-

¹ Герцен А. И. Собр. соч., т. 9, с. 134.

² Революционные народники 70-х годов имеют прямое отношение к демократическому народознанию, к науке о народе, придававшей первоестественное значение вопросам в этнографии. Постепенно в русской этнографии складывается целое направление. «На жизни крестьянства, — пишет А. П. Прибылева-Корба, — народничество, может быть, непосредственно не отразилось, но, как следствие движения, создалась в науке целая отрасль, посвященная всестороннему изучению экономических условий крестьянской жизни, бывшие народники основали и развили земскую статистику, земскую медицину и отчасти школьное обучение» (Прибылева-Корба А. П. «Народная воля». Воспоминания о 1870—1880-х гг., с. 203). П. А. Кропоткин заявляет еще более решительно: «В двадцатилетие с 1858-го по 1878-й год началось в России этнографическое исследование страны по такой широкой программе и в таких размерах, каких мы не встречаем нигде ни в Западной Европе, ни в Америке (...) В России выработался даже особый тип интеллигентов — собиратели песен и прочего этнографического материала, вроде Якушкина, а в более позднее время к нему прибавился еще новый тип «земских статистиков», которые в течение последних двадцати пяти лет за самую незначительную плату выполняли для земств сложную статистическую работу путем подворных опросов. (А. Эртель прекрасно обрисовал этих статистиков в одной из своих повестей «Смена»)» (Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 249—250). Соединение пропагандистской деятельности с широким изучением народного экономического быта произошло после массового «хождения в народ», когда землевольцы перешли от «летучей» пропаганды к «оседлой», разъехались по деревням и селам, чтобы более пристально изучить народную жизнь.

ристикe не хватало настоящей народности, она создавалась в тиши кабинетов, иногда заглядывала в избы сказителей, но редко посещала деревенскую площадь, где происходили важнейшие события народной жизни. Среди революционной молодежи начала 70-х годов, отправившейся в народ, были технологи, медики, лесоводы, артиллеристы (воспитанники Михайловского артиллерийского училища), филологи, студенты и семинаристы, дети мелких чиновников и сельских священников, разночинцы и выходцы из обедневших дворян. Историческая минута требовала от них участия в революционной пропаганде. Возникло действительно героическое «хождение в народ», русские революционеры вышли на встречу с крестьянами, чтобы лучше узнать друг друга и в подходящий момент объединиться с народом в борьбе за настоящую волю и землю. Несколько десятков губерний было охвачено путешествующими пропагандистами.

Прежде чем отправиться в народ, в петербургском Большом обществе пропаганды (кружок «чайковцев») всесторонне обсуждали задачи предполагаемого «хождения» и цели предстоящей революционной пропаганды¹. П. А. Кропоткин работал над запиской, которая должна была ответить на многие спорные вопросы и сформулировать основные положения народнической теории.

Пропаганда требовала продуманной методики, специальных приемов, живого и доходчивого слова. С народом следовало разговаривать запросто, в естественной обстановке, используя для бесед специально подготовленные книги. Проблема «книги для народа» становится теперь особенно актуальной. «В самом деле,— пишет Кропоткин в записке,— если наиболее интеллигентные личности (честные и искренние — эти условия мы считаем признанными прежде всего, как аксиомы) будут постоянно иметь в виду — сегодня прочесть там-то такую-то книжку и по поводу ее поведи такую-то беседу, завтра завести на посиделке речь об том-то и т. д., то они достигают разом трех целей: лучше узнают настроение отдельных лиц и их способность отстаивать свои убеждения на людях, поддерживают известное настроение в большинстве да, вместе с этим, и себя самих охраняют от безделья и пустой болтов-

¹ Троицкий Н. А. Большое общество пропаганды 1871—1874 гг. (так называемые «чайковцы»). [Саратов], изд-во Саратовского ун-та, 1963.

ни»¹. Подчеркивалось и то, что пропаганду нельзя вести, не считаясь с местными условиями и даже с отдельными лицами. Пропагандисты должны учитывать индивидуальное развитие и постепенно овладевать вниманием слушателей. «С каждым отдельным лицом придется, конечно, розно вести речь: одному придется развить социальные воззрения и выводы из них полнее, другому — в самой первобытной форме, но лишь бы все эти беседы клонились к тому, чтобы развить склонность к этим воззрениям, способность прочувствовать гнет и сознание необходимости противопоставить ему крестьянское единство» (46).

Особое значение придавалось работе среди фабричных-крестьян, прибывших в Петербург со всех концов России. На родине у них оставался земельный надел, во время «безработия» фабричные из крестьян, чаще всего ткачи или каменщики, возвращались в насиженные места, в село или в деревню, где снова становились хлебопашцами. Таков «подвижный элемент из крестьянской среды». Жили обычно фабричные из крестьян артелями, что значительно облегчало пропагандистам знакомство с большим коллективом. «Так как эти рабочие нисколько не разрывают своих связей с селом и нисколько не изменяют своего прежнего образа жизни, то из них всего удобнее вырабатывать людей, которые потом в селе могут послужить ядрами сельских крестьянских кружков» (47). Народники, возлагавшие все свои надежды на крестьянскую революцию, рассчитывали, что из фабричных получатся настоящие пропагандисты, которые смогут овладеть умами крестьян. Фабричные сами обращались с просьбами заняться обучением их чтению, письму, арифметике. В результате в артелях стали возникать кружки по самообразованию. С теми из фабричных, которые проявляли интерес к чтению книжек и к дружеским беседам на политические темы, пропагандисты старались войти в тесные отношения. «Если мы, — говорится в записке Кропоткина, — столкнемся с человеком восприимчивым, энергичным, обещающим сделаться полезным агитатором, который не умеет даже читать, мы, конечно, сочтем непременно обязанностью выучить его грамоте, понимая очень хорошо, что человеку грамотному легче вести агитацию, чем неграмотному, что

¹ Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг.—М., 1922, с. 45 (В дальнейшем ссылки на страницы этого сборника даются в тексте). Записка перепечатана также в кн.: Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник документов и материалов в 2-х томах, т. 1. 1870—1875. М., 1964, с. 55—118.

то, о чем не успеешь с ним перетолковать, он узнает и из порядочной книги, и собственным размышлением над прочитанным» (48). Учитывая сложность политического образования малограмотной аудитории, программа предусматривала четырехмесячные занятия по истории и политической экономии. В живой устной беседе слушателям сообщали необходимые исторические факты и разъясняли экономические отношения, то есть проводили занятия «по критике существующих отношений между трудом и капиталом» (48). Хотя главное место в пропаганде занимала устная беседа, большое значение придавалось также пропагандистской литературе. Под последней подразумевались специальные книги, прежде всего бесцензурные, предназначенные для распространения среди рабочих и крестьян. Тематика этих книг определяется довольно точно:

«Необходимы такие книги, которые давали бы возможность людям, не умеющим легко поднимать и ставить известные вопросы, тем не менее затрагивать эти вопросы. Книга, специально написанная с этой целью, дает возможность поднимать и подвергать общему обсуждению такие вопросы. Далее, необходимы такие книги, которые давали бы народному агитатору нужный материал и факты, чтобы убеждать своих собеседников. Такие факты дают книги по истории народа, книги, объясняющие способы накопления капиталов в частных руках, захвата земель, захвата правительством народных прав и т. д. Наконец, необходимы книги, пробуждающие дух независимости, сознание в народе его силы и бессилия барства, поддерживающие чувства мирского единства, сознание общности интересов и общности врагов всех разрозненных частей русской земли, всех отдельных классов народа и выясняющие круговую поруку царя, барства, купечества, мироедства и поповщины. Словом, нужны беллетристические рассказы как повод для бесед, нужны рассказы о сильных, выдающихся личностях из крестьянской среды, нужны, наконец, исторические и бытовые рассказы, разъясняющие всю безвыходность современного быта, будящие сознание и дух силы, разъясняющие необходимость, возможность и способы предварительной организации. Поэтому мы ставим необходимою своею задачею заготовление и распространение таких книг. Мы уверены, что всякий из занимающихся пропагандой в крестьянской и рабочей среде, обладающий творчеством и талантом, всегда найдет время писать такие книги, не отрываясь от личной пропаганды, и мы всегда

готовы будем уделить часть своих сил и на печатание и распространение таких книг» (49).

Крестьянская революция готовится с помощью пропаганды («пропаганда снимает маску с врагов»), но пропагандисты не должны прибегать к приемам мистификации, характерным для нечаевцев. «Прежде всего мы,— говорится в записке,— глубоко убеждены в том, что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе. Никакая горсть людей, как бы энергична и талантлива она ни была, не может вызвать народного восстания, если сам народ не доходит, в лучших своих представителях, до сознания, что ему нет другого выхода из положения, которым он недоволен, кроме восстания» (36).

Это очень существенная оговорка. Собираясь идти в народ, революционные народники оставляют за собой право окончательные выводы о «кризисе самой системы» и о степени недовольства крестьянских масс, о готовности к «народному восстанию» сделать после возвращения из похода, после проверки личных наблюдений и предварительных сведений. Не было сомнений только в том, что «среди нашего крестьянства и фабричных рабочих — глухое недовольство существует» (37). Но выльется ли это «глухое недовольство» в открытый и сознательный протест? На этот вопрос и должны были ответить путешествующие революционеры-пропагандисты.

5

Осенью 1873 года в Петербурге за Невской заставой были произведены массовые обыски. В Смоленской слободе (дом № 33) проживал Сергей Синегуб, один из крупнейших представителей революционного народничества 70-х годов. К нему переселился товарищ по гимназии и Технологическому институту Василий Стаховский. За Невской заставой, по соседству с Синегубом жили Дмитрий Рогачев и Софья Перовская (Рогачев был гражданским мужем Перовской). Сюда же в сентябре 1873 года приехал из Москвы Лев Тихомиров. Все они принадлежали к кружку «чайковцев». Квартира Синегуба сделалась центром революционной пропаганды. В обвинительном заключении по делу 193-х народников говорится: «Собирая у себя рабочих, под предлогом обучения их грамоте, как Синегуб, так и Стаховский читали рабочим возмутительного содержа-

ния книги и, комментируя прочитанное, старались внушать своим слушателям революционные идеи»¹.

При обыске у рабочих, посещавших кружок Синегуба, были обнаружены прокламации и стихотворения «возмутительного содержания». Арестованному Сергею Синегубу следователи предъявили «вещественные доказательства». На столе «лежала кучка, штук с десятков, книжек и несколько рукописей». «Мне,— вспоминает Синегуб,— были предъявлены те и другие. К моему величайшему огорчению, я узнал, что в квартире моих учеников, живших вне артели (Савостьянова, Заозерского, Гришина и Моисеева), а также в той небольшой артели, где жил мой ученик Степан Зарубаев, был произведен в прошлую же ночь обыск и там найдены у Зарубаева книжки, а в квартире других моих учеников — рукописи в сундуке Заозерского и Савостьянова, в их белье. Книжки были цензурные, как, например: «Дедушка Егор», «О земле и о небе» Иванова, «О силах земных» — его же, рассказы из русской истории Петрушевского, Разина и т. п., но рукописи были нелегального содержания: сказка «Илья Муромец», песни — «Барка», «Разговор с народом», «Свобода-свободушка»; причем «Барка» и «Разговор царя с народом» были писаны моею рукой, хотя и печатными буквами»².

Степан Зарубаев, обучавшийся в кружке Синегуба, сохранил ту самую тетрадь, по которой пропагандисты читали сказку «Илья Муромец». Арестованный в 1874 году, затем освобожденный из-под стражи, Зарубаев отправляется в Тверскую губернию и там, в родном селе, снова попадает в руки жандармов. При аресте у него было отобрано 40 книг и брошюр, а также прокламация «Чтой-то, братцы...» и рукописная сказка в стихах «Илья Муромец»³. Конечно, «Илья Муромец», найденный у Зарубае-

¹ Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник из политических процессов и других материалов, относящихся к истории революционных и оппозиционных движений в России. Составлен под ред. Б. Базилевского, т. 3. Paris, 1905, с. 27.

² Синегуб С. Записки чайковца. М.—Л., 1929, с. 130.

³ Степан Петрович Зарубаев, крестьянин села Стружино Новоторжского уезда Тверской губернии, работал ткачом на тверской фабрике Морозова, потом в Петербурге на фабрике Чежера. В. А. Стаховский, вольнослушатель Петербургского университета, вместе с Синегубом вел революционную пропаганду среди рабочих. Экземпляр «Ильи Муромца», начисто переписанный рукой В. Стаховского и хранившийся у Степана Зарубаева, был нами обнаружен в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР). Титульный лист художественно оформлен: кроме названия («Илья Муромец»), сверху справа нарисована виньетка, изображающая церковь.

ва, не обычная былина. По поводу эпических песен об Илье Муромце, образующих целый цикл, Сергей Голоушев, тоже революционный народник, в сочинении «Историческая, лирическая и бытовая сторона в былинах об Илье Муромце» писал как истинный историк и фольклорист¹. Вот эта почти хрестоматийная характеристика:

«Былины представляют собою эпический рассказ о событиях, имевших большее или меньшее влияние на жизнь народа. Следовательно, они представляют картину исторического развития народа, и притом изображенную им самим, так что в ней отразились все его верования, его быт и характер. Отсюда видно, что при разборе былин является на вид смысл их в отношении к историческим событиям, остатки мифологических верований и картина народного быта.

Илью Муромца народ любит больше других своих богатырей. В нем он идеализировал свое понятие о богатырях как защитниках земли русской и приписывает ему все лучшие черты русского характера. В былинах о нем всегда народ слышал свое родное и сжился с ним; они развивались вместе с ним и потому-то и носят отпечатки стольких позднейших редакций. Изображая новую жизнь, народ смешивал новые события с прежними и допускал самые грубые анахронизмы; поэтому-то историческая сторона в былинах и представляет очень запутанный рассказ свершавшихся событий. Только при пособии других данных могут они указать на ход и характер событий, и то без всякого отношения ко времени.

В нашей былине Илья, сын крестьянина села Карачарово, является сначала калекой безногим, но потом получающим чудесным образом исцеление.

¹ Возможно, что статья С. С. Голоушева представляет собой гимназическое сочинение. Красными чернилами под ней выставлена оценка: «Пять. Несколько растянуто». В 1873 году Голоушев поступает в Медико-хирургическую академию, но в 1874 году уезжает из Петербурга к себе на родину, в Оренбургскую губернию, с целью вести пропаганду среди народа («Голоушевский кружок»). Сергей Голоушев (Сергей Глаголь) дожил до 1920 года. Незадолго до его смерти вышла книга: Г л а г о л ь С е р г е й. С. Т. Коненков. Пг., 1920. В библиотеке Академии художеств в Ленинграде сохранился экземпляр этой редкой книги с вкладышем-некрологом «От редактора» и с пометой: «1921 г., апрель» (автор некролога — Александр Бродский). О С. С. Голоушове см.: Б а з а н о в В. Г. «Капитал» Карла Маркса в годы «хождения в народ» в России (1872—1875). — Русская литература, 1968, № 3, с. 116—131.

Мне кажется, что в этом надо видеть описание того момента, когда народ восстал сам на защиту земли своей, сознав тщетность надежды на пришлецов князей, которые смотрели на землю как на свою вотчину, дающую доходы, и думали только о себе и своих дружинах...»¹

Пропагандисты не случайно из всех героев русского народного эпоса облюбовали именно Илью Муромца. Сергей Голоушев дает отличную характеристику этого богатыря, в котором, как он пишет, сосредоточены «все лучшие черты русского характера». Но очевидно и то, что, создавая свою былинку об Илье Муромце, революционные народники должны были сдружить «старого казака» с собственными политическими замыслами, превратить Илью-богатыря в крестьянина-революционера.

В обвинительном заключении и в следственных материалах по «процессу 193-х» пропагандистское произведение под названием «Илья Муромец» называется то сказкой, то стихотворением. Фактически это народническая поэма, содержащая прямые реминисценции из былинного эпоса. Все повествование выдержано в строгом былинном стиле; можно даже подумать, что это фольклорный Илья Муромец, один из былинных сюжетов эпохи крепостничества, случайно не зафиксированный собирателями былевой поэзии.

6

Проблема стилизации, столь занимавшая сентименталистов и романтиков в начале XIX века в связи с поисками самобытного и гражданского стиля, в пореформенную эпоху снова заявляет о себе, но приобретает при этом иной характер, так как обращение к фольклору преследует теперь не столько эстетические, сколько открыто политические цели. Сам фольклор, пройдя через литературные стилизации, возвращается в народ, оказывая влияние на формирование политических народных воззрений. «Народные книги» тем и показательны, что они стоят как бы между литературой и фольклором. Старые русские былины («старины», как называют былины сами сказители) подвергаются переработке и превращаются в своеобразные «новины». Старый казак Илья Муромец оказывается на перекрестке двух дорог: одна дорога ведет его в «Русский

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 1794, л. 1 об.

вестник» и лубочные книжки, другая — в «Современник», а затем в пропагандистские книжки революционных народников. Образ былинного богатыря становится жертвой охранительной спекуляции. В таком именно духе выдержана книжечка «Илья Муромец и боярская дочь, или Русские в начале XVII века во время черного года. Историческая повесть», изданная в 1874 году книгопродавцем Манухиным. В издании того же Манухина вышла и другая сказка о том же богатыре: «Илья Муромец, богатырь-крестьянин времен Владимировых, и Соловей-разбойник. Народная сказка, написанная со слов приезжего мужичка в Макарьеве на Унже М. Евстигнеевым». Приезжий мужичок здесь явно присочинен. Фактически сказка склеена из разных фольклорных источников, включая текст из сборника Кирши Данилова. Несмотря на текстуальную близость к эпическим песням, прямые заимствования и типично былинную фразеологию, эти «сказки» созданы в угоду казенному патриотизму.

Конечно, среди книг для народа, написанных в стиле фольклора, были и такие, которые имели популяризаторский характер, следовали за содержанием и поэтикой былин и сказок или представляли собой добросовестный простой пересказ источника. Так, например, П. Н. Полевой, сын известного литератора Н. А. Полевого, использовал народные сказки в собственном переложении для педагогических целей («Народные русские сказки в изложении П. Н. Полевого». СПб., 1874). Однако и П. Н. Полевой не обошелся без назойливого морализирования, без похвал самодержавию и прославления религиозных чувствований русского крестьянина.

Стилизация и нарочитая фальсификация захватывали и фольклор и «народные книги», ставшие достоянием массового читателя. Не избежал этой участи даже «Конек-Горбунок» П. Ершова, он тоже пришелся не ко двору наступавшей реакции. Разного рода «подражания» ершовской сказке изучены И. П. Лупановой в книге «Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века» (Петрозаводск, 1959). В одной из переделок «Конька-Горбунка» Иван превращается в покорного холопа царя. Получив кафтан с царского плеча,

Ваня с радости смутился,
Чуть и в пляс тут не пустился...
...Царю бухнул прямо в ноги
И пошел всхрапнуть с дороги.

С Иваном-дураком, добывшим Царь-девицу, обращение в палатах самое дружественное:

Царь встретил пышно так,
Невозможно лучше как.
Целовал Ивана лично
И сказал так политично:
Ну, Иван, благодарю
За всю службу за твою¹.

В 1876 году, одновременно с «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, была издана в двух частях поэма «Микула Селянинович, представитель земли» А. В. Тимофеева. «Эпическое время» в ней понимается весьма расширительно: от эпохи Владимира Красного Солнышка до крестьянской реформы 1861 года. Микула Селянинович завещает крестьянам любовь к земле и царю. Что касается «политической свободы», то русский крестьянин до нее не созрел². Таких книг, написанных с позиций «официальной народности», было превеликое множество.

Даже А. К. Толстой, автор «Князя Серебряного», не удержался от использования былинного эпоса в полемических целях. А. К. Толстой понимал и ценил народную поэзию, по мотивам былинного эпоса им был создан целый цикл лирико-эпических стихотворений. Но есть среди его «былин» и такие, в которых обращение к образам народной поэзии прикрывает остро злободневные темы. Так, «Поток-богатырь» Толстого — комическая стилизация, доведенная до гротеска. Былинный богатырь путешествует по Петербургу, по городу на Неве, встречается с нигилистами, исповедующими материалистическое учение, спорит с ними и обличает их. В толстовскую «былину» входят мотивы и персонажи, характерные для антинигилистических романов, вплоть до стриженных нигилистов в сюртуках и очках:

Тут все подняли крик, словно дернул их бес,
Угрожают Потоку бедою.
Слышно: почва, гуманность, коммуна, прогресс,
И что кто-то заеден средою.
Меж собой вперерыв, наподобье галчат,
Все об общем каком-то о деле кричат,
И Потока с язвительным тоном
Называют остзейским бароном³.

¹ Конек-Горбунок. Новое подражание сказке П. Ершова. М., 1873. — Цит. по кн.: Лупанова И. П. Русская народная сказка..., с. 229 и 242.

² Об этой поэме см.: Розанова Л. А. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. Л., 1970, с. 168.

³ Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1937, с. 291.

В первоначальной редакции «Алеши Поповича» также не были забыты нигилисты, которые не верят в бога и потрошат лягушек. А. К. Толстой не скрывал полемического характера своих «былин», их политической направленности¹.

Примеры реакционно-охранительной интерпретации народного эпоса можно было бы значительно умножить. Героические былины об Илье Муромце в силу их общенационального содержания и художественного богатства на протяжении всего XIX века становились предметом постоянных переделок, подражаний и стилизаций. Между тем из всех жанров фольклора именно эпос с его сложной стиховой конструкцией и неповторимой стилистикой оказывает наибольшее сопротивление стилизаторству, попытке превратить «старины» в поэзию нового времени. Особенно трудно «уламываются» былины в приключенческие повести и в вирши, проникнутые духом квасного патриотизма, прославляющие царя-батюшку. Здесь происходил идейный разлад лубочной литературы с народным эпосом. Более охотно эпические песни и сказки вступали в художественный и идейный контакт с опытами вольнолюбивой, гражданской поэзии, начатыми еще декабристскими романтиками. Революционные народники тоже обращались к былинам, перелицовывали их на свой лад, используя в пропагандистских целях близкие народу фольклорные сюжеты и фольклорную поэтику².

¹ См. письмо А. К. Толстого к А. М. Жемчужникову из Венеции от 3 апреля 1872 г. — Русская мысль, 1915, № 11, с. 123.

² Интересно отметить, что в 70-е годы и Л. Н. Толстой мечтал написать дидактический роман по былинам об Илье Муромце. Роман не был написан, но если бы он состоялся, можно не сомневаться в том, что толстовский Илья Муромец учредил бы крестьянское царство, основанное на равноправии, показал бы нравственное превосходство народа над господствующими классами. В романе Илья Муромец, видимо, должен был стать своеобразным посредником между простым народом и цивилизованным обществом, чтобы способствовать нравственному оздоровлению всего человечества. Здесь Толстой в известной мере является союзником Достоевского. «Толстой, — пишет Г. М. Фридендер, — сходится с Достоевским в выводе о нравственном превосходстве народа над господствующими классами, в необходимости восприятия ими основ народного мировоззрения и народной нравственности как единственно возможным выходе из тупика, в который завело человечество развитие классовой — дворянской и буржуазной — цивилизации» (Фридендер Г. М. Достоевский и Лев Толстой (К вопросу о некоторых общих чертах их идейно-творческого развития). — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 74.

Поэма-былина Сергея Синегуба начинается с традиционного мотива исцеления крестьянского сына Ильи Муромца. После рассказа отца Ильи о тяжелой крестьянской работе действие переносится в сферу более героическую: исцеленный Илья Муромец совершает путешествие по деревням, знакомится с жизнью народа, наконец вступает в поединок с идолищем-помещиком. Можно было бы отметить в рукописном «Илье Муромце» целый ряд «общих мест», варьирующих былинные мотивы. Ограничимся наиболее характерным примером.

В рукописном «Илье Муромце»:

Говорил тогда добрый молодец:
«А и была на свете у попа свинья,
И прожорлива была, бестия,
Она много ела и пила всякой всячины,
А потом взяла да и лопнула».

В былине «Илья Муромец и идолище»:

Говорит Илья тут таково слово:
«У нас как у попа было ростовского,
Как была что корова обжориста,
А много она ела, пила, тут и трёснула...»¹

Вместо княжеского двора — помещичьи хоромы («Стоят хоромы да помещичьи»). Помещик — под стать былинным князьям и боярам. На крыльце — «слуги барские», на дворе — «псы охотничьи», за столом — «яства всякие». Но это только частности, красочные обозначения помещичьего быта. Все описание держится на социальных контрастах: помещик объедается, пьет дорогие заморские вина, перед ним слуги стоят навывтяжку. А по соседству — полуголодные и полураздетые мужики, работающие с утра до ночи на этого обжиряющегося помещика. Поэтому в окончательной характеристике русский помещик приравнен к идолищу поганому, он не лучше былинной «коровы обжористой», он — «прожорливая свинья».

Пропагандистская «былина» многое берет из эпоса, из эпических песен, но берет не механически: все былинные ситуации и эпизоды в ней переосмыслены и перестроены в духе революционной теории народников. Былинный Илья Муромец как бы продолжает жить и действовать в новой

¹ Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. СПб., 1873, № 48.

исторической обстановке, в пореформенные годы. Его биография дополняется еще одной и очень существенной главой: богатырь становится революционером. В пропагандистском произведении отсутствует полемика с фольклором, народническая сказка в стихах ни в коей мере не является пародией на традиционные былины об Илье Муромце. Поэма следует за былиной-«старинной» и уходит от нее, строит свой, новый образ положительного героя. Даже в наиболее близкой к фольклорному источнику сцене, изображающей Илью-сидня, крестьянскую семью «больно бедную», слышится отзвук времени, отзвук основного социального конфликта эпохи. На вопрос «убогонького» Ильи:

«Объяви ты мне, родной батюшка,
Зачем день-деньской вместе с матушкой
Работаешь ты, надрываешься,
А в семье у нас бедность лютая,
Зимой холодно, а летом голодно.
Нет овса на посев весной,
А по осени нет озимого?» —

отец отвечает в духе революционно-народнической пропаганды:

«А оттого, сынок, недостача у нас,
Что работаем, что мы стараемся,
Потом-кровью обливаемся
Не на нас самих, а на барина,
На помещика на богатого».

Не помилован в новой «былине» и сам царь: это по его «приказу» крестьяне работают «с утра... до темна». Исцеление Ильи Муромца — тоже революционная аллегория: за ним скрывается великое исцеление русского крестьянина, пробуждение его от патриархального сна к сознательному и активному действию. Илья Муромец, получивший «силу великую», отправляется в «путь-дороженьку». Но по такой «дороженьке» не хаживали былинные богатыри. Только некрасовские путешествующие мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» могли бы стать верными попутчиками Ильи Муромца. Перед взором странствующего Ильи — вся крестьянская Россия, с ее полями, лугами, поселками, березами и деревенскими избами. Село Карачарово — частица этой огромной России. Илья видит «иссушенный» и «оборванный» народ, сухой хлеб с водой на крестьянском столе, нищету и голод. Так было при крепостном праве, так и теперь, хотя объявлен «царский указ»

о воле. Илья Муромец — живой свидетель пореформенной действительности, того ограбления и тех надругательств, которые выпали на долю крестьян после 1861 года. Об этом красноречиво говорит сцена у волостного правления, сцена не придуманная, списанная почти с натуры. «Царский слуга», тоже из помещиков, собирает недоимки, отбирает последнюю корову. По-прежнему «езде стоном стон стоит», и у порога топчется «разоренный народ» — прежние унылые мужики в рваных шапках и прежние плачущие бабы с ребятишками на руках.

Учитывая двойственность русского крестьянина, его веру в бога и все еще сильную веру в царя, автор революционной поэмы-былины, переодетый Ильею Муромцем, с большим тактом излагает социалистические идеи. Оказывается, что «бог не велел грабить честный народ», от природы «все люди равные», и «всяк человек работать должен». Но помещики нарушили этот священный «закон», продав свою душу черту. С ними не может быть примирения. Разгневанный Илья Муромец не желает терпеть и покоряться:

Порешил Илья крепко-накрепко
Слобонить мужиков от помещиков...

«Сиволапый мужик» становится грозным мстителем, он громит помещиков и его слуг с «холопской душой», всю антинародную, преступную «силу неверную». В заключение изображается социальный поединок Ильи с помещиком. В освобожденном Карачарове, как и в некрасовском Тарбогатае, наступает «жизнь вольная, развеселая».

А и все б мужики во крешеной Руси
Так же жили бы вольно и весело,
Кабы от бар-господ слобонилися.

Народники не только сближают историю с современностью, они романтизируют, возвышают современного крестьянина, освобождают его от противоречий, свойственных Савелию-богатырю. Илья Муромец — это Антон Петров, Григорий Крылов и многие другие стихийные крестьянские революционеры («возмутители»), поставленные на высокую политическую трибуну, рассуждающие и действующие в духе самих народников. «Илья Муромец» — памятник народнического романтизма, романтизма революционного, со всеми его особенностями.

У народников имелись свои основания именно так, а не иначе интерпретировать Илью Муромца. Они верили в не-

минуемость крестьянской революции, ждали ее с часу на час, готовились к ней и не мыслили ее без участия самого народа. При всем различии во взглядах по отдельным вопросам, революционеры 70-х годов сходились, по словам Ипполита Мышкина, в одном: «...Революция может быть совершена не иначе, как самим народом, при сознании им, во имя чего она совершается; другими словами: настоящий государственный строй должен быть ниспровергнут только тогда, когда пожелает этого сам народ»¹. Былинного богатыря, прославленного самим народом, пропагандисты превращают в вождя современного крестьянского движения. Илья Муромец совершает революционный переворот в Карачарове и становится своеобразным президентом крестьянской республики. Распространяя поэму об Илье Муромце, народники надеялись, что у былинного богатыря найдутся многочисленные последователи.

Фольклорный Илья Муромец дружит с «голью кабацкой», он и богатырь-воин и своеобразный бунтарь. Если читать былины об Илье Муромце с «допуском» на будущее, то в них можно различить крестьянина-борца, смело шагающего из Древней Руси в Россию XIX века и даже в XX столетие. Не случайно А. В. Луначарский озаглавил одну из своих статей 1919 года в журнале «Пламя» — «Илья Муромец — революционер». Приведя из сборника «Былины новой и недавней записи из разных местностей России» Вс. Миллера былинку об Илье, записанную в 1904 году в деревне Ченежи Олонецкой губернии от крестьянина Пантелеева, Луначарский замечает: «Вы видите здесь Илью Муромца — революционера». И далее Луначарский вступает в спор с иной интерпретацией образа былинного богатыря. В стихотворении Ивана Рукавишников «Муромец» богатырь предстает в виде дряхлого, немощного старца, от него веет трагической безнадежностью:

То не храм стоит порушенный
На высотах гордых гор.
То чернеется потушенный
В вековом лесу костер.
Кто там бродит тенью жалкою?
...Иль ослеп-рехнулся я...
Подпираясь хилой палкою,
Бродит дедушка Илья.
Доломан до дыр изношенный.
Нет огнива у Ильи.
Холод старости непрошеной...

¹ Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3, с. 298.

Дует в рученьки свои.
Лесовых вестей не слушает,
Ходит-бродит хил да плох.
Корешки сырые кушает...
— Ишь! Костер-то мой заглох...¹

А. В. Луначарский возражает Рукавишникову, хотя и называет его «талантливым поэтом». «Дедушка Илья», по Луначарскому, не подпирается «хилой палкою», а твердо идет по земле и смело глядит в будущее. Обращаясь к Рукавишникову, Луначарский пишет: «Нет, Иван Сергеевич, видно, не заглох костер Ильи Муромца. Он разгорелся теперь огромным пожаром, зарево которого обняло небо Европы и Америки. Илья Муромец расправляет свои могутные плечи. Илья Муромец опять становится во главе голи. Он уже ее не в кабаки ведет, не пропивать царские церковные маковки, а ведет ее по широкой стезе свободы»².

Конечно, былинный Илья Муромец не революционер, и тем более не пролетарский, но революционные народники, а вслед за ними и А. В. Луначарский, домысливали за фольклор, они ставили народного богатыря во главе «крестьянской республики», вместе с крестьянами, поднявшимися на борьбу с помещиками. Народники создали самый демократический, можно сказать, самый революционный вариант былины об Илье Муромце.

8

Невольно возникает вопрос: имела ли успех народническая сказка-былина об Илье Муромце среди крестьян? Просматривая «Дело о революционной пропаганде в империи», которое в 1877 году разбиралось в Особом присутствии Правительствующего Сената, легко убедиться, что фабричные и крестьяне к сказке об Илье Муромце проявили особые симпатии. Крестьяне обычно называли эпические песни о богатырях «старинами» или просто сказками. Они и народническую былинку воспринимают как сказку, хотя она и написана в стихах, былинным размером. В следственных делах имеются показания К. И. Пономаренко о чтении былины-сказки в артели каменщиков. Ссылаясь на крестьян, бывших с ним в артели (Илью Прокофьева, Михаила Петрова, Кирилла Иванова, Саве-

¹ Рукавишников Иван. Стихотворения, кн. 10. [М.], 1915, с. 117.

² Пламя, 1919, № 44, с. 8.

лия Петрова, Ефима Сергеева и др.), Пономаренко свидетельствует: «Они рассказывали мне, что на работах в Петербурге посещал их Ярцев и сам принимал даже участие в работах, помогая им носить кирпич. Ярцев приводил к этим каменщикам каких-то двоих или троих своих знакомых, которые по вечерам в квартире рабочих читали сим последним какие-то книжки не только печатные, но и писанные в тетрадках. Книжки эти, по словам крестьян, были очень занимательны, так что они, заслушиваясь, долго по ночам не спали. Из книжек, прочитанных рабочим, обратила особенное их внимание сказка об Илье Муромце, но не такая, какая сохранилась в народных преданиях, и не печатная, а написанная в тетради. В сказке этой рассказывается, как Илья Муромец объезжал или шел по полю и все спрашивал крестьян, на кого они работают. Встречая всюду, что крестьяне работают на господ, он отправился прямо к господину и изрубил как его, так и всех бывших у него гостей, а все имущество его роздал крестьянам, сказавши „будьте счастливы“»¹.

Михаил Петров из деревни Измайлово даже сохранил в своей памяти основную сюжетную ситуацию «сказки»: Илья Муромец громит помещиков и наделяет крестьян землей. О содержании «Ильи Муромца» он рассказывает своими словами: «Тут Александр Викторович (Ярцев.— В. Б.) стал читать нам сказки про Егора, Микиту,— ничего такого. Потом сказал, что товарищ (черненький) лучше читает, и тот читал. Приходил Александр Викторович один только раз, а после него пришли уже трое: один толстый, курчавый, заикается, голос громкий, и тот же сухощавый. Тут они прочитали нам про Илью Муромца, читал черненький. Сказка состоит в том, что мужик голодный все работал да работал, весь, говорит, век работаю, а поесть нечего, все на барина работаю; тогда Муромец пришел к барину, а барин все ест да пьет с семьей; Илья всех порушил, пришел к мужику — «Ну, теперь живи. И у нас, говорит, вот казаки хорошо живут». И третий раз приходили опять двое, да их дворник не пустил, это подрядчик велел; народ не спит, слушает их, ну и не пустили. Они пригласили меня и товарища моего Петра Осипова выпить пива, мы ходили, выпили; они сказали: жаль, книги хорошие принесли почтить, да не успели»².

¹ Революционное народничество 70-х годов XIX века, т. 1, с. 326.

² Дознание, произведенное о распространении преступной пропаганды в народе в Новоторжском уезде и С.-Петербурге.— ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, № 204, л. 227 и об.

«Черненький» пропагандист, который читал сказку об Илье Муромце,— это, бесспорно, Степняк-Кравчинский, а «толстый» — его приятель Дмитрий Рогачев. Илья Прокофьев из Тверской губернии свидетельствовал, что «в артели товарищи Ярцева читали сказку не по печатному, а по писанной книжке или тетради». При этом он уточняет, что «один из товарищей Ярцева — черненький — имел большие глаза навывкате, курчавые волосы, черную небольшую бородку и усики», что «этого самого он видел по возвращении своем из Петербурга здесь, т. е. в Измайлово»¹. Именно Степняк-Кравчинский и Рогачев жили летом у Александра Ярцева в деревне Андрюшино, выдавая себя за пильщиков, посещали окрестные деревни и встречались с крестьянами, среди которых был и Илья Прокофьев из деревни Измайлово. «Сказку» об Илье Муромце крестьянам читал и Ярцев. Об этом он говорит в своих показаниях: «Тоже я читал писанную сказку про Илью Муромца андрюшинским крестьянам, я получил ее в квартире или Шишко, или Синегуба»². Иван Гришин из Тульской губернии ссылается на того же Синегуба: «Иногда Синегуб читал нам книги «Дедушка Егор», «Митюха», «Очерки фабричной жизни», «Степан Разин», «Илью Муромца» («Илью Муромца» с писанной тетради). «Илью Муромца» я брал у Зарубая (Степана Зарубаева.— В. Б.) и переписал два листа»³.

Таким образом, можно утверждать, что пропагандистская сказка «Илья Муромец» летом и осенью 1873 года усиленно распространялась среди рабочих и крестьян и имела у них несомненный успех. Автором ее был Сергей Синегуб, главными распространителями — Сергей Кравчинский, Дмитрий Рогачев и Александр Ярцев.

Сергей Кравчинский и Дмитрий Рогачев первыми отправились в ответственное путешествие по деревням и селам. Л. Э. Шишко рассказывает об отъезде Кравчинского в Тверскую губернию:

«Идти в народ значило тогда выйти из университета, бросить книги, расстаться с городской жизнью и надеть на плечи сермягу, — а вместе с нею войти целиком в шкуру чернорабочего или фабричного. Я помню, как впервые уходил в народ Кравчинский и как я провожал его на петербургском вокзале. Он был в посконной рубахе и серой

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, № 211, л. 228 об.

² Там же, л. 251.

³ Там же, л. 105.

поддевке, с узелком под мышкой; кроме меня, его провожала незнакомая мне бледная женщина с интеллигентным лицом и заплаканными глазами. Кравчинский был по обыкновению очень оживлен, много говорил и метался по вокзалу, не обращая никакого внимания ни на свой костюм, ни на стоявших подле жандармов. Но вот зазвонил звонок, мы простились, и он уехал в Тверскую губернию, к одному знакомому мелкому помещику, к которому поступил в качестве чернорабочего. Это было в июле или августе 1873 года»¹.

Далее Шишко отмечает умение пропагандистов подойти к крестьянам, завоевать их доверие. «Как Кравчинский, так и Рогачев,— пишет Л. Шишко,— были оба выдающимися пропагандистами. Рогачев обладал веселым, открытым характером и легко сходилась с простым народом; когда он бродил потом в качестве пропагандиста более трех лет по Руси, его повсюду принимали за настоящего рабочего. В Кравчинском были другие сильные стороны, он производил на слушателей впечатление своими знаниями, обширной памятью и той внутреннею силою, которая всегда чувствовалась в нем. Оба они действовали крайне решительно, смело вступали в разговоры и мало стеснялись в речах. Немудрено поэтому, что скоро о них стали распространяться всякие слухи в той местности, где они странствовали в качестве пильщиков, и, в конце концов, их велено было задержать»².

Кравчинский и Рогачев вернулись из Тверской губернии полные веры в крестьянство, в действенность пропаганды, в возможность революционных преобразований. Народ «встречает своих друзей не только без всякой подозрительности, но с распростертыми объятиями и открытым сердцем; речи их (пропагандистов.— В. Б.) выслушивались с глубочайшим сочувствием; все, стар и млад, по окончании долгого трудового дня, собирались вокруг них в какой-нибудь темной, закопченной избушке, где, при слабом свете лучины, они им говорили о социализме или читали какую-нибудь из захваченных с собой книжек»³. С такой теплотой и признательностью отзывался Кравчинский о тверских крестьянах, с которыми ему довелось встретиться и побеседовать. Ближайшее будущее покажет, что Крав-

¹ Шишко Л. Э. Собр. соч., т. 4. Пг., 1918, с. 152—153.

² Там же, с. 156—157.

³ Степняк-Кравчинский С. М. Собр. соч., т. 1. СПб., 1908, с. 379.

чинский сильно преувеличивал увлечение крестьян социалистическими идеями, слишком идиллически рисовал деревенские вечера, проведенные за чтением книжек, в разговорах о крестьянском житье-бытье. Это был начальный, самый романтический период «хождения в народ», полный светлых надежд, радужных иллюзий.

Необходимо сказать и о третьем пропагандисте, действовавшем вместе с Кравчинским и Рогачевым в Тверской губернии. Это был тверской дворянин Александр Ярцев. Отказавшись от поместья, отрекшись от дворянского сословия, Ярцев поступает на службу сельским учителем, а затем собирается сделаться офеней. Он заводит дружбу с Синегубом, Кравчинским и Рогачевым, пытается в Андрюшине (около Торжка) открыть типографию для печатания пропагандистской литературы. В Петербурге, у Измайловского моста, в артели каменщиков Ярцев читает отрывки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». В Твери он пересказывает солдату Никифору Нефедову сказку Щедрина о двух генералах. В своих показаниях Ярцев позднее пояснял: «Я обратил внимание (солдата Нефедова. — В. Б.), как генералы, наевшись, связали мужика, так, сказал я, и вы вяжете один другого, но он едва ли это понял»¹. Наконец, у крестьянина деревни Андрюшино Моисея Аверьянова хранилось стихотворение, написанное карандашом на клочке бумаги, послужившее впоследствии прямой уликой против Ярцева:

Друзья, защитники свободы,
Для вас ударил славный час.
Вы, притеснители народа,
К ответу призываю вас.

Смотрите, села в разореньи,
Мужик, ограбленный кругом,
Томится, стонет под ярмом,
И ждет от нас он избавленья.

К оружию! Ратники!
Построимся в полки!
Вперед! На царские штыки!²

Моисей Аверьянов показывал, что это стихотворение Ярцев продиктовал библиотекарю Румянцеву, зайдя вместе

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, № 211, л. 267. См. также: П и щ у л и н Ю. П. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в пропаганде революционных народников (к постановке вопроса). — Русская литература, 1967, № 1, с. 160—162.

² ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 342.

с ним в гости к Аверьянову перед отъездом из Торжка в Петербург¹.

Ярцев распространял воззвание, призывающее крестьян к сплочению в борьбе против помещичьего и правительственного гнета. Текст воззвания Ярцев восстановил по памяти (вероятно, в несколько смягченной редакции) и представил в Следственную комиссию:

«Предъявлено лично Ярцевым 21 декабря 1873 года.

Насколько я могу припомнить, содержание обращения, писанного мною в Петербурге в октябре месяце и оставленного у Моисея Аверьянова в избе, следующее:

Братцы! вам нечего говорить, что вас на каждом шагу обманывают, что ваши труды идут только в пользу богачей да подрядчиков. Вот о чем подумаем — как избавиться от этого.

Правительство не думает, чтобы улучшить ваше положение, ему как бы побольше набрать денег, чтобы заплатить своим чиновникам, да набрать войска, чтобы похвастаться перед другими государствами.

Вот в Самарской губернии, что вы называете на низу, какой хлеб прежде родился, слава об этом и до сих пор у вас сохранилась, да и там теперь народ мрет с голоду, теперь едят всякую дрянь. Это потому, что там у крестьян земли мало да податями выжали из них все, что они могли бы запасти на голодный год. Случилась засуха, и теперь им смерть.

Я слышал, что у вас говорят об уравнивании земли, то от правительства вам ждать этого — нечего, оно сыто, а сытый голодного не понимает. Вот как можно самим это сделать и заодно и оброки уничтожить. Надо учиться грамоте, узнать все, как должно быть, конечно сперва немногие из вас до этого могут прийти, но когда эти узнают, то они научат других, и так далее. Когда большая часть народа будет настолько учена, что будет знать, как должно быть, то тогда можно будет это все сделать. А главное, — только тогда вы добьетесь толку, когда будете сами хороши, не будете завидовать один другому, а будете смотреть один на другого как на брата и выручать один другого из беды.

Тогда, когда вы до всего этого достигнете, то выберете

¹ Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3, с. 31—32. У библиотекаря Леонида Румянцева в Торжке (частная библиотека Львовой) оказалось стихотворение «Барка», переписанное рукой Ярцева.

из себя выборных людей, умных, добрых, честных, которые будут вами управлять. За выборными вы сами будете следить, чтобы они делали все по закону, так как законы и все порядки будет каждый знать. Теперь же вот и есть земское собрание, да что в нем толку, никто из вас ничего не понимает. Мужики в гласные выбирают не того, на кого можно понадеяться, а того, кто поднесет больше водки, вот вам и выборные; когда народ темен да сам нехорош, то и выборные пользы не приносят.

Стенька Разин и Пугачев тоже хлопотали об улучшении народного быта, да ничего хорошего не сделали, потому что народ был очень неразвит и не понимал своей пользы, а слушался каждого негодяя; крови пролили много, а пользы ничего не сделали. А все оттого, что каждый хлопотал только о себе, а о другом же не думал. Итак, братцы, будем стоять все за одного, один за всех, и тогда только можно будет вам избавиться от податей и рекрутчины, уравнивать землю, а до тех пор учитесь и делайтесь лучше.

Обращение это составлено мною, за подлинность выражений не ручаюсь, но сущность его, насколько могу помнить, такова.

Александр Ярцев»¹.

Эта прокламация Александра Ярцева не получила широкого распространения. Всю Россию тогда облетела другая прокламация, тоже вышедшая из кружка «чайковцев» и изданная отдельной брошюрой в Петербурге. Автором ее был Леонид Шишко. Ярцев создавал свою тверскую прокламацию, видимо, не без влияния петербургской. Прокламация Шишко написана настолько своеобразно, что от традиционного прокламационного стиля в ней почти ничего не осталось. Это спокойный, эпический рассказ, вернее даже сказ, без революционных призывов и лозунгов. Пропагандист разговаривает с крестьянами, беседует с ними, напоминает об их тяжелой доле и дает дружеские советы. Стилистически эта беседа напоминает прокламацию «Барским крестьянам» Чернышевского. Вот самое начало прокламации Шишко: «Чтой-то, братцы, как тяжело живется нашему брату на русской земле! Как он ни работает, как ни надрывается, а все не выходит из долгов да из недоимок, все перебивается кое-как, через силушку, с пуста брюха да на голодное; день-то деньской маешься,

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 2618.

маешься под зноем да под холодом, ровно каторжный, а придешь домой — иной раз и пожевать нечего». В самом конце повторяется обычное обращение к крестьянам: «Только будемте дружно, как братья родные, стоять за наше дело великое. Вместе-то мы сила могучая, а порознь нас задавят враги наши лютые!»¹

Об этой прокламации, переиздававшейся также под названием «Мужицкая правда» и «Храбрый воин», справедливо говорил С. М. Кравчинский: «Это — листовка, всего четыре страницы, но революционная литература не содержит в себе ничего более совершенного, ибо это — живая речь живого человека, которую автору удалось положить на бумагу со всей простотой, неправильностями и естественным одушевлением»². Действительно, прокламация «Чтой-то, братцы...» утрачивает элементы высокого агитационного стиля, она явно клонит в сторону живого разговора с крестьянами, дорожит простотой и доверительностью интонации.

9

Прокламации и подложные манифесты («царские грамоты») были рассчитаны на «летучую» пропаганду, на сильное и скорое эмоциональное воздействие. Это еще не были сами «народные книги», хотя прокламация «Чтой-то, братцы...», изданная в виде небольшой брошюры, могла вполне сойти за пропагандистскую книжку. Одна из заслуг русских революционных народников состояла в том, что они перешли от агитации с помощью прокламаций к более вдумчивой пропаганде и обратили внимание на книжное дело. Напомним основные требования, предъявляемые к литературной пропаганде программной запиской «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?»:

1. Использовать легальные произведения, написанные доступным языком для крестьян и фабричных, которые бы давали повод для политических бесед (о внутреннем состоянии России, крестьянской реформе 1861 года, бедственном положении народа);

2. Создавать и распространять нелегальные произведения, потаенную литературу, разоблачающую «круговую

¹ Агитационная литература русских революционных народников. Потаенные произведения 1873—1875 гг. Вступ. статья В. Г. Базанова, подготовка текстов и комментарии О. Б. Алексеевой. Л., 1970, с. 96 и 100.

² Памяти Леонида Эммануиловича Шишко. [Paris], 1910, с. 21.

поруку царя, барства, купечества, мироедства и поповщины»;

3. На примерах прошлого, используя исторические воспоминания и народные предания, учить крестьян мужеству и организованности, во избежание повторения прежних ошибок;

4. Развенчивать царистские иллюзии, всемерно содействовать политическому развитию крестьян; для этого пропагандировать идеи крестьянской революции и одновременно рисовать картины социалистического будущего, когда не будет бедных и богатых, наступит всеобщее равенство.

Именно в этих главных направлениях и создавалась пропагандистская литература во всех ее жанрах. Пропагандистская литература сохраняет революционные идеи прокламаций и излагает эти идеи, используя социально-бытовые сюжеты, исторические предания и современные факты. Отдельные мотивы и фразеологические выражения прокламаций включаются в пропагандистскую прозу и поэзию на правах своеобразных образов-сигналов, повышающих эмоциональное воздействие пропагандистских произведений.

С формально-эстетической точки зрения пропагандистские книжки не представляют большого интереса. Поставленные рядом со знаменитыми сказками Салтыкова-Щедрина, они выглядят слишком стилизованными. Но на эту нарочитую стилизацию, даже лубочность, сознательно шли авторы демократических «народных книг». Г. В. Плеханов очень удачно назвал эти книжки «ряжеными брошюрами»¹. Революционные народники обряжают социальную утопию в простонародные костюмы. Делается это для того, чтобы в одеждах, взятых прямо с крестьянского плеча, распространять в народе социалистические идеи. Такая ряженность придумана не для цензуры, а для малоискушенного читателя и слушателя. Этот народнический «маскарад» преследовал обратную цель, нежели в сатире Салтыкова-Щедрина. «Писатель не знает, — писал Щедрин в рассказе «Похороны», — в какие чернила обмакнуть перо, чтоб выразить ее (основную идею. — В. Б.), не знает, в какие ризы ее одеть, чтоб она не вышла уж чересчур доступною. Кует-кует, обматывает всевозможными околичностями и аллегориями и, только выполнив весь, так сказать, сюжетный маскарадный обряд, вздохнет свободно

¹ Плеханов Г. В. Соч., т. 3. М.—Л., 1927, с. 127.

и вымолвит: слава богу! теперь, кажется, никто не заметит!»¹ В потаенной литературе, в демократических книгах для народа все наоборот: их задача — писать доступно, без сложных иносказаний и скрытых намеков, без всяких обвиняков. Главное — распространить революционные идеи, довести социалистический идеал до сознания крестьян. Здесь все — крепостное право, реформа 1861 года, царь, помещики, попы, чиновники, крестьянская революция — названо своим именем. В основном это литература без шифров, без аллюзий и «подводных» сюжетов.

Более или менее откровенный разговор с крестьянами мог состояться на языке, свойственном самому народу. Этим объясняется особый характер произведений, представляющих собой революционную стилизацию различных фольклорных жанров, в общей массе бесцензурных «народных книг» («базарная», «рыночная» литература). Вслед за былинным Ильей Муромцем из народных преданий и песен приходят в пропагандистские книги Степан Разин и Емельян Пугачев. Позитивный интерес к пугачевско-разинскому фольклору пробуждается Пушкиным. Пушкин проявил особое внимание к манифестам Пугачева и к народным песням о Разине. Поэт стремился нарисовать Разина и Пугачева такими, какими они запечатлелись в устной народной поэзии, в духе тех преданий и песен, которые он слушал и записывал, путешествуя по России. Пушкин восстановил народное мнение и оценки, отношение народа к крестьянским бунтарям и тем самым способствовал пробуждению объективного интереса к эпохе крестьянских восстаний. Но при этом Пушкин отнюдь не ставил перед собой пропагандистских задач. Понимать закономерность и историческую неизбежность крестьянских революционных движений в условиях феодально-крепостнической России еще не значило одобрять эти движения, возлагать на них надежды. С Пушкина начинается признание крестьянских восстаний как исторической неизбежности (их неизбежность признавал еще Радищев) и критика этих восстаний за «беспощадность» и стихийность. Революционные демократы следуют за Пушкиным, когда подчеркивают значение народа в политической борьбе и одновременно указывают на неорганизованность этой борьбы. Они тоже судят о Пугачеве и Разине по народным преданиям, видя в них единственный источник историче-

¹ Шедрин Н. (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч., т. 13. М., 1936, с. 393.

ской правды. Но революционные народники, как и некоторые их предшественники в 60-е годы, а также Бакунин, пытаются историческую действительность подтянуть к современности. В этом у революционеров 1870-х годов есть что-то общее с декабристами, но основное различие между ними все же остается: декабристы проходили мимо восстаний Пугачева и Разина, они предпочитали иметь дело с более нейтральным в политическом отношении историческим материалом; разночинцы, участники революционных кружков, указывали на закономерную связь между народными движениями прошлого и тем, что происходило в годы революционной ситуации. Для нас бесспорен, например, пропагандистский характер передовой фольклористики, специально обращавшейся к народным воспоминаниям о Разине и Пугачеве. Так, не случайно П. Н. Рыбников, участник московского студенческого революционного кружка («вертепник»), записывает песни о Пугачеве и собирает лубочные картинки, изображающие Пугачева удалым молодцом в красном казацком кафтане, с медалью и крестом на груди. Песни о Пугачеве, записанные Рыбниковым, будили воспоминания и о революционном прошлом и о событиях совсем близких, всколыхнувших Россию накануне крестьянской реформы. Вот стихи, в которых скрещивались история и современность:

Крестьянам было бы весело,
Если бы рука их господ вешала.

Для возбуждения народной энергии пропагандисты пробовали использовать «драматическую хронику» А. А. Навроцкого «Стенька Разин»¹. В несколько переработанном виде эту «хронику» (без фамилии автора) «чайковцы» в 1872 году издали в Женеве. В этом издании вместо традиционного «Стенька Разин» появился «Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин». Но и в женевской переработке (в «хронике» были сделаны сокращения и незначительные вставки) Разин не выглядел революционным героем, долженствующим воспламенить воображение слушателей. Пропагандисты решили создать свой образ Разина, близкий народным историческим преданиям и песням. В 1873 году была нелегально издана былина-

¹ См.: Я р а н ц е в Р. И. Первая «книга для народа» революционеров-пропагандистов 70-х годов XIX века. (Драматическая хроника «Стенька Разин» А. Навроцкого в революционной пропаганде народников.) — Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, 1966, т. XXVII, вып. 3, с. 247—255.

поэма о Разине, написанная поэтом-народником Сергеем Синегубом с пропагандистской целью. Автограф поэмы находился среди других стихотворений Синегуба, распространявшихся среди рабочих Невской заставы. Он попал в следственные материалы с росписью поэта: «Отобрано у меня при аресте»¹.

Известно, что революционные народники особое внимание уделяли Поволжью и Дону, где жива была народная память о героическом прошлом. Прежде чем написать поэму-былину о Степане Разине, Сергею Синегубу довелось «пройтись по земле Войска Донского, потолкаться среди казачества, поразузнать, как велико недовольство казачества своим положением, живы ли в нем старые предания о казацких вольностях, о казацких «кругах»,

¹ Доверившись совершенно неавторитетному свидетельству Н. Н. Голицына в «Истории социально-революционного движения в России 1861—1881 гг.» (СПб., 1887), В. Ф. Захарина считает автором «Стеньки Разина» С. Я. Жеманова, участника Казанского заговора 1863 г. (см.: Захарин В. Ф. Голос революционной России. Литература революционного подполья 70-х годов XIX в. Издания для народа. М., 1971, с. 51). Сохранившийся в следственном деле рукописный вариант поэмы (без заглавия) представляет собой не «просто список», как полагает В. Ф. Захарина, а черновой автограф С. С. Синегуба (ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 2161. Опубликовано в журнале «Русская литература», 1963, № 4, с. 171—176).

В нашу задачу не входит рецензирование книги В. Ф. Захариной. Отметим лишь, что исследователю наиболее удалась характеристика социально-экономических проблем, содержащихся в нелегальной литературе для народа (экономическое и правовое положение народа, проблема крестьянской революции, критика капитализма и проблема социального равенства и т. п.). Что касается общей эстетической и идейной оценки В. Ф. Захариной нелегальных брошюр («народные книги»), их соотношения с русской классической литературой (легальной, подцензурной), то здесь мы никак не можем согласиться с ее основными выводами. В. Ф. Захарина пишет: «Если легальная литература ограничивалась лишь констатацией факта беспросветности экономического и политического положения народа и никакого решения вопроса не предлагала, то в нелегальной социально-экономические проблемы рассматривались лишь постольку, поскольку они, по мнению пропагандистов, могли помочь народу, и в первую очередь крестьянству, понять необходимость и неизбежность революционного восстания против царя и всего самодержавно-крепостнического строя. Отличались эти брошюры и по способу изложения: в легальных положение народа раскрывалось при помощи конкретных художественных образов, в нелегальных — в виде обобщенных положений, которые лишь иллюстрировались некоторыми конкретными данными» (Голос революционной России..., с. 56). При всем том, что пропагандистские брошюры эпохи «хождения в народ» (1873—1874) сыграли исключительно важную роль в истории русского освободительного движения и являлись вполне оригинальной и смелой попыткой создать «народную книгу» демократического и социалистического содержания, их нельзя противопоставлять легальной передовой литературе и тем более утверждать, что эта последняя литература «ограничивалась лишь констатацией факта», не

о Стеньке Разине и пр.»¹. В поэме-былине о Разине народные предания и песни о «казацких вольностях» идейно и художественно переосмыслены. Разинский фольклор здесь учитывается, но не более. Фактически Синегуб написал поэму о новом Разине, которого еще не было, но который должен прийти. «Хроника» Навроцкого была заменена революционной поэмой, где герой наделен всеми доблестями борца за народное счастье.

И тогда народ гаркнет грозный клич:
«Приходи, Степан, атаманствовать!»
А и Разин тут снова явится
Из народушка, где скрывался он,
Снова явится атаманствовать,
Молодцом, как был, с саблей острою,
И народ тогда вместе с Разиным
Издобудет себе волю-матушку,
Земли множество от помещиков,
Слобонит себя от рекрутчины,
От лихих податей да от барщины,
И заживет тогда народ счастливо
Жизнью славною, развеселою².

В поэме содержатся постоянные намеки на пореформенную действительность, на «царя-освободителя», обманувшего крестьян («Стелет мягко царь — как-то будет спать, Коли сам дает он вам волюшку», «Десять лет прошло, а народушко И до этих пор не дождался ведь Ничего того, что обещано» и т. д.).

Большое значение придавалось пропагандистами тем комментариям, которыми обычно сопровождалось чтение той или иной «народной книги». Характер занятий Синегуба с рабочими вполне выяснен рядом показаний обучавшихся у него лиц. По словам последних, Синегуб читал им «Дедушку Егора», «Митюху», «Илью Муромца» и «Стеньку Разина», причем «называл Илью и Разина героя-

предлагала «никакого решения вопроса» и т. п. Из такого противопоставления логически следует, что литература подцензурная, легальная, произведения Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Чернышевского и Глеба Успенского, Достоевского и Толстого не участвовали в решении важнейших жизненных проблем, не вмешивались в историю народной жизни, не способствовали борьбе «против царя и всего самодержавно-крепостнического строя». Ясно, что такой вывод совершенно неверен. В главе, посвященной поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», мы постараемся показать взаимоотношения между нелегальной и легальной литературой, их взаимное обогащение.

¹ Синегуб С. С. Записки чайковца, с. 21.

² Агитационная литература русских революционных народников..., с. 432—433.

ми и освободителями народа от бар, которые, по его мнению, притесняют бедных и живут на счет народа, обремененного податями и рекрутчиной; доказывал необходимость отнятия земли у бар и раздела ее между всеми поровну и пел преступного содержания песни, как-то «Барку» и др.»¹. Василий Петров показывал: «Когда книжечку кончил, то стал объяснять нам учитель, как жили в старину, как тогда не было ни богатых, ни бедных, а теперь,— говорил он,— мужики подати и рекрутчину несут, господа ничего не делают». Крестьянин Артамон Моисеев, ученик Синегуба, припоминал, как пропагандист-учитель однажды рассказывал, что «люди несправедливо живут на свете, бедные трудятся, работают и оброк платят, а богатые ничего не делают и с бедных оброки собирают. Надо, говорит он, было бы так устроить, чтоб все равно жили, и бедные и богатые. Помню, что один вечер читал он нам книжечку о Степане Разине, из которой я, кроме названия, ничего не помню»². Из показаний фабричных, обучавшихся у Стаховского, видно, что учитель-пропагандист читал им «Стеньку Разина», называя его «освободителем и защитником крестьян, которые работают много, а живут бедно, платя оброк на господ и чиновников... говорил о чрезмерных, по его мнению, расходах на императорский двор и на правительство; внушал, что все должны быть равны, что добиться всеобщего равенства одному человеку нельзя, но что достигнуть этого можно, если соберется много людей, и т. д.»³.

В самой попытке революционных народников использовать героическое национальное прошлое для возбуждения в народе свободолюбивых чувств и настроений не было ничего нового или оригинального. К историческим примерам, как известно, часто обращались еще декабристы-романтики. Важнее отметить стремление революционных народников разобраться в противоречиях крестьянских движений, научить крестьян распознавать в своей среде предателей, призвать их к бдительности. В этом отношении особенно показательна воронежская поэма «Атаман Сидорка», автором которой также был Сергей Синегуб⁴. По-

¹ Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3, с. 28.

² Преступная деятельность Сергея Синегуба, Льва Тихомирова, Стаховского и других.— ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, № 211, л. 74 и 75 об.

³ Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3, с. 28.

⁴ Эта «воронежская» поэма, видимо, была написана Синегубом накануне ареста или в Доме предварительного заключения. Рукопись поэмы была отобрана у Н. А. Чарушина в тюрьме. Более поздний вариант

эма о Сидорке имеет подзаголовок: «Предание из времен крепостничества». Известно народное предание о Сидоркином кургане, записанное В. Майковым со слов ямщика Василия Яковлева из города Усмани Тамбовской губернии и опубликованное в 1872 году в «Петровском сборнике» (изд. «Русской старины»). В народном предании Сидорка встречается с Петром I и отказывается от царских услуг. Умиравший Сидорка предупреждает крестьян о своем возможном возвращении: «...я до той поры лежать буду, покуда не пройдет на Руси беззаконие да неправда, не стает брат руку поднимать на родного брата». Поэма Синегуба учитывает народное предание, но не следует механически за фольклорным сюжетом. Храбрый Сидорка, защитник народных интересов, гибнет от руки своего родного брата, тоже из мужиков, но ставшего предателем («царским генералом»). Символическая борьба двух братьев из крестьян — это и фольклорное предание и грустная правда самой действительности. Пропагандистский характер синегубовской поэмы состоял в том, чтобы предостеречь крестьян от «каинов», вышедших из их среды, призвать их к сплочению и единству. Умиравший Сидорка обращается к общине, к своим односельчанам:

Не видать мужику счастья светлого,
Не видать ему воли-радости,
Не видать ему правды-матушки,
Пока каины на Руси живут,
Пока брат на брата подымается.

10

Пожалуй, самой серьезной «народной книгой», посвященной истории крестьянских движений, была книга о Пугачеве, написанная Л. А. Тихомировым. Революционные народники как бы продолжают жизнеописание «великих мужей России», начатое Рылеевым в знаменитых «Думах». Совсем по-рылеевски звучит предисловие: «Кто ныне помнит про Чику, про Хлопушу, про Овчинникова и других? Самого Пугачева еле помнят, да и то считают его чуть ли не разбойником. Плохо помнит народ свою славу, плохо

сохранился в семейном архиве у внука поэта С. В. Синегуба (см. нашу публикацию в журнале «Русская литература», 1963, № 4, с. 163—167; см. также: Агитационная литература русских революционных народников..., с. 490—491).

помнит он тех, кто всю жизнь за него отдал!»¹ О Пугачеве в брошюре Л. А. Тихомирова говорится в самых возвышенных тонах, как об эпическом герое:

«Сто лет прошло уже с тех пор, как над Россией, словно гроза божия, разразилась Пугачевщина. Страшное это было время для всех утеснителей народа, но зато радостное для угнетенных крестьян. Как волны морские в бурю, поднялись тогда толпы крестьян и рабочих и стали истреблять всех своих злых врагов, всех дворян, помещиков, управляющих, приказчиков, попов и всякое начальство. И прогремело тогда по всей России, из конца в конец, имя удалого бойца за волю народную, имя Емельяна Ивановича Пугачева.

Долго куражились над Русской землей дворяне и начальство, долго они на всей своей воле тешились над мужиком сиволапым. И мужик терпел, все терпел, стонал, кровью и слезами обливался, стонал втихомолку. Наконец не стало мочи.

Кликнул клич на всю Русь-матушку удалой козак Емельян Пугачев, и отозвался на этот клич русский мужик. Поднял мужик свою буйну голову, тряхнул своими плечами могучими, и посыпались во все стороны его мучители, словно карлики, словно мошка мелкая. Полетели во все стороны головы дворянские, полилась ручьями их кровь благородная.

Народ проснулся во всем гневе своем, и началась кровавая расправа, и отплатил он дворянам за все. Отлились волку овечьи слезы!»

И все же книга Л. А. Тихомирова не столько о самом Пугачеве и его «удалых бойцах», сколько о неудавшемся восстании. Вот вопросы, которые занимают автора и на которые он пытается дать ответ: «Знают ли крестьяне, почему не удалось Пугачеву довершить свое дело? Знают ли крестьяне, какие тогда ошибки сделаны? Нет, они этого не знают. И если вскоре они снова подымутся за землю и волю, то снова наделают тех же ошибок, и их снова побьют, как побили Пугачева с товарищами». Чтобы «сызнава не погореть», нужно понять причины трагического исхода пугачевского восстания. Автор критически оценивает самого Пугачева, который «привык к царской власти». «Назвавшись императором и видя, что другие

¹ В целях маскировки на брошюре указаны вымышленные выходные данные: «Емельян Иванович Пугачев, или Бунт 1773 года». Издание второе. Москва. В Типо-литографии Николая Ивановича Коссова. Б. Лаврентьевка, д. Пивцова. В дальнейшем цит. по этому изданию.

признают его царем, он и сам стал жить по-царски». Революционные народники, как принципиальные антицаристы, используют «ошибки» Пугачева для разоблачения вообще царизма. Крестьяне еще крепко держатся веры в «доброе» царя, понимающего народные нужды, и от него ждут облегчения своей участи. Чтобы развенчать крестьянскую реакционную утопию, пропагандисты не щадят и Пугачева. Пугачев не пошел на Москву, а сидел «сложив руки под Оренбургом да барствовал по-царски». В конечном итоге, доказывается в брошюре, «сила не в Пугачеве, а в народе». «Вся сила, стало быть, в том, чтобы не дремать в других губерниях, когда бунт начнется в одной». И действовать без «названного царя», общими силами, дружно и сразу, не ожидая ничего от начальства, а во всем полагаясь «лишь на свою мужицкую силу и на свой крестьянский разум»¹. У крестьян найдутся наставники, но они не будут повторением Пугачева, превзойдут его, учтут неудачный опыт прежних стихийных крестьянских восстаний.

В брошюре Л. А. Тихомирова набросан краткий очерк истории пугачевского восстания и дана характеристика екатерининской эпохи. У «жестокой» Екатерины II не было к мужику «никакой жалости», она преследовала и писателей, думавших о судьбе народа: «Одного, Радищева, в Сибирь отправила за такую книжку; другого, Новикова, в тюрьму посадила; третьего, Княжнина, казнить даже хотела, да он не дождался казни, а сам умер. Стало быть, кто стоял за крестьян, тот должен был молчать».

Книга о Пугачеве имела широкое хождение, к ней часто обращались пропагандисты, но обращались по-разному. Некоторые участники «хождения в народ» пытались с помощью напоминаний о Пугачеве возбудить крестьян к восстанию. С другой стороны, из рассказа о пугачевском восстании можно было делать выводы, предостерегавшие от бакунинско-нечаевского прожектерства и их утверждений, что «все готово». Приурочивание далекого прошлого к сегодняшнему дню, насильственное привязывание исто-

¹ В рассказе отставного солдата «За богом молитва, а за царем служба не пропадет» (отобран при аресте у Н. П. Цвилленева, список сделан рукой О. С. Любатович) содержится такое же поучение со ссылкой на восстание Пугачева: «Надо было прежде все толком между собой обдумать да обсудить, а потом уж за дело браться!.. А они стали порознь рассыпаться, небольшими шайками на дворянские усадьбы нападать: в одном месте они всех перережут да перекрошат, а в другом — глядишь — и их самих прихлопнут. Этаким манером какую уж волю добудешь!» (ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 276, л. 31 и об.).

рии к бунтарским замыслам (как, например, в концовке тихомировской брошюры, написанной П. Кропоткиным) не имело успеха. Читая брошюру о Пугачеве, некоторые пропагандисты сами запутывались в исторических противоречиях, отвечали на возникавшие у слушателей вопросы неубедительными возгласами, терялись в объяснениях. В. К. Дебагорий-Мокриевич свой рассказ о пропаганде иллюстрирует такими почти анекдотическими фактами:

«„В сентябре месяце такого-то года возле города Яицка на Урале появилась толпа казаков, состоящая из трехсот человек“, — читали мы историю пугачевского бунта; потом переворачивали несколько страниц и читали далее: «В конце октября того же года под городом таким-то у Пугачева уже было тридцать тысяч войска, столько-то лошадей, столько-то пушек и пр.» — «Вот как растет народная армия! — восклицали мы. — В один месяц с небольшим с трехсот она выросла до тридцати тысяч. Очевидно, и нам стоит только начать с самым маленьким отрядом, и мы не оглянемся, как будем иметь десятки тысяч в своих рядах...» Дальше в описании того же пугачевского бунта мы наталкивались на факты вроде того, напр., что правительственные пушки доставлялись из одной губернии в другую, скажем, на волах и ехали целых два месяца или что-нибудь в таком роде; такие факты нисколько не вызвали у нас сравнений. Мы не говорили: «Однако легко было тогда бунтовать. Тогда правительство возило пушки на волах, а не по железным дорогам; везло ровно два месяца, там, где теперь в три часа привезут». Мы, напротив, читая о подобном казусе, только радовались: «Так им и надо, мерзавцам... вот им и пушки опоздали». Или, напр., начитываем мы в истории того же пугачевского бунта нечто вроде следующего: «Пугачев окружил город с шестидесятитысячным войском. Но в это время полковник такой-то сделал удачную вылазку, и в рядах самозванца произошло смятение и паника. В лагере его всю ночь слышался крик, а когда на другой день утром Пугачев вышел из своей палатки, то к ужасу своему увидел совершенно опустевший лагерь. При самозванце осталось только пятнадцать человек». Затем следует поименное перечисление этих пятнадцати. «Чика», конечно, один из верных сподвижников Пугачева, и другие. «Но это, однако, ужасный факт. Из шестидесяти тысяч осталось верных своему делу только пятнадцать человек... Куда же девались остальные? Бежали! Как они смели бежать?.. Какое безобразие! Как мало мужества у толпы!...» — «Что?.. Мало мужества у тол-

пы?» — с азартом восклицали мы. Но найти оправдание и сказать что-нибудь в пользу мужества толпы при этом казусе мудрено было; поэтому мы предпочитали поворачивать вопрос другой стороной; „Ничего — успокаивали мы, — сегодня разбежались, завтра опять придут“». «Конечно, — продолжает В. К. Мокриевич, — я, быть может, несколько ретуширую здесь, но сущность наших исторических объяснений событий была именно в таком духе. Все то, что подтверждало наши теории, мы брали целиком. Все то, что противоречило им, мы ухитрялись поворотить все-таки в пользу наших взглядов или наконец просто уклонялись от объяснений. То был поистине самообман или даже более того — гипноз какой-то»¹.

Безусловно, «гипноз» существовал. Иногда пропагандисты проявляли крайнюю наивность, полагая, что достаточно сослаться на Пугачева — и крестьяне немедленно станут безбожниками и социальными борцами. Пропагандисты Устюжинов и Вера Панютина (один под именем крестьянина Николая Ковригина, а другая с паспортом солдатки Александры Агаповой) действовали в деревне Новинка Богородского уезда Нижегородской губернии. Когда крестьянка в их присутствии стала учить своего сына молиться за царя, они «смеялись над нею и доказывали, что царя следовало бы лишить власти, а министров и генералов повесить, имения же их разделить поровну, в доказательство чего ссылались на Пугачева и стали читать Мурашевой и ее сыну о том, как Пугачев «казнил да вешал богатых», поясняя при этом, „что если бы так все взялись, то хорошо было бы жить“»².

Брошюра о Пугачеве, как показывал первый опыт ее продвижения в народ, не вполне отвечала своему пропагандистскому назначению: она нуждалась в упрощении, ибо была слишком «ученой». По жанру это было своеобразное сочетание исторического трактата и прокламации. Пропагандисты вынуждены были читать эту книжку в отрывках или пересказывать содержание своими словами. Вспоминая о пропаганде среди крестьян Пензенской губернии, О. В. Аптекман рассказывает о своеобразном препарировании книги о Пугачеве. «Редактировать» помогал сам народ, недоверчиво относившийся к «резким выходкам против царя или религии». «Я, — пишет О. В. Аптекман, — читал им «Сказку о четырех братьях», «Хитрую

¹ Дебагорий-Мокриевич Вл. Воспоминания. СПб., 1894, с. 190—191.

² Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3, с. 171.

механику», «Сказку о копейке», «Как надо жить по законам природы и правды», «Емельяна Пугачева», «Историю одного крестьянина» и пр. Прежде чем приступить к чтению этих брошюр, я предварительно сам перечитывал их внимательно, переделывая некоторые места или совсем выключая из них все то, что могло покоробить чувство моих простых слушателей. Этому меня научил мой предыдущий опыт в Екатеринославск(ой) и Псковск(ой) губерниях (...). В Пензенской губ(ернии) еще живо было тогда предание о пугачевском бунте или, как пензяки выражались, о «Пугаче». Мне называли старуху, которая тогда была еще жива и хорошо помнила «Пугача», т. е. не самого Пугачева, а бунт, связанный с именем Пугачева. Казалось бы, что книжка о «Емельяне Пугачеве» должна была произвести впечатление. Ничуть.

Ореол, которым автор окружил Пугачева, остался непонятен малокультурным пензякам, и только при словесной беседе, когда мне удалось развернуть пред ними картину крестьянской жизни во время царствования Екатерины II, пензяки уяснили себе громадное значение этого народного бунта, совершенно независимо от личности «Пугача». Мои пензяки были страшно поражены, когда узнали, какая масса земель была расхищена казною и подарена «господам». Чтобы их вполне убедить в правде моих слов, я принес Романовича-Славатинского (История русского дворянства) и оттуда вычитал им соответственные места. Объемистая книга, а не тощая книжечка, подействовала на слушателей моих весьма убедительно¹.

Если книга о Пугачеве оказалась слишком трудной для неграмотных крестьян, то этого нельзя сказать о рассказе «За богом молитва, а за царем служба не пропадет»². О Пугачеве здесь вспоминает отставной солдат, двадцать пять лет прослуживший верой и правдой «батюшке-царю». Беседуя с крестьянами о бедственном положении народа, солдат напоминает им о тех временах, когда «мужики подчас господам хорошую острастку давали». Не забывает он упомянуть и об источнике своего рассказа: «Я еще мальчишкой от стариков об нем (о Пугачеве.— В. Б.) слышал, а после и в книжке прочесть довелось (я таки люблю почитать, сызмала охотник)». Рассказ начинается совсем

¹ Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Л., 1924, с. 170—171.

² Автор рассказа неизвестен. Рассказ напечатан в типографии «чайковцев» в Женеве в 1873 году. В дальнейшем цит. по этому изданию.

не по-книжному, хотя основное содержание взято из пропагандистской брошюры о Пугачеве. «Вы, ребяташки, слышали ли когда про казака Емельяна Пугачева, что господа все Емелькой зовут? Дело это было давно, не на нашей памяти, при Екатерине... Так вот, был этот Емельян Пугачев просто казак, даже и грамоте, говорят, не знал. Только умом да смелостью его бог не обидел. Смотрел он, смотрел, какая правда на свете, как простой народ век свой мается, за тяжелой работой света божьего не видит, а все в холоде, в голоде и нищете живет, как всякий над ним же еще ломается, и стало Емельяну невтерпеж молча все это переносить. Поднялся он против бар и всяких грабителей, стал сзывать народ, чтобы шли волю да землю добывать». Все повествование держится на сказовой манере, без всякой патетики, без углубления в историю, без призывов и длинных поучений. Создается впечатление, что на деревенской завалинке сидит солдат-сказитель, который спокойно, не торопясь рассказывает сказку о Пугачеве. В самых общих чертах, не вдаваясь в подробности, он касается истории пугачевского восстания; в речь солдата постоянно включаются типичные сказочные формулы («Долго ли, коротко ли они так между собою воевали, только стали под конец господу одолевать» и т. п.). Здесь те же суждения, та же аргументация, что и в книжке о Пугачеве, только форма изложения другая. «Так и не удалось народу счастливой доли добыть, потому что не сговорился он между собой да не сумел дружно до конца за себя постоять».

Отчетливый фон рассказа — бедственное положение современной деревни, разоблачение истинного существа крестьянской реформы: «Теперь вот и воля есть: танцуй, Матвей, не жалея лаптей, благо на пустое-то брюхо и плясать вольготней. Пустили пташку на волю, да крылья обрезали. Нарезали мужику земли, как на смех, что и поглядеть не на что; да и то больше камень, песок да болото, а оценили, словно и невесть какое добро — плати, мол, не ленись». В таком же духе, свободно используя народные пословицы и присловья, говорит «отставной солдат» о движении временнообязанных крестьян: «Пословица говорит: на чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой затевай. А то царь с господами только за ложку хвататься ловки, а до работы-то не больно охочи. Ну, а простому народу эти порядки надоели, захотелось ему посвободней вздохнуть, когда-нибудь и на себя самого поработать». Только в самом конце рассказа появляются прокламационные призывы, но и они облечены в сугубо

разговорную форму, пересыпаны народными пословицами и поговорками: «Добывайте себе волю, пока есть сила да мочь. Век свой ждать да на бога надеяться нечего. Пословица говорит: на бога надейся, а сам не плошай. Под лежащий камень, сами знаете, и вода не течет. Встаньте же, детушки, за свое правое дело и других поднимайте! Довольно барам да начальству над нами издеваться, пора и нам людьми стать. И никто нам не страшен, никому нас не осилить, коли возьмемся мы за свое дело крепко да дружно».

Так, история, начатая с Пугачева, кончается в «рассказе отставного солдата» реформой 1861 года и временно-обязанными крестьянами. Собственно, и Пугачев здесь появляется лишь для того, чтобы обсудить создавшееся положение и вселить уверенность в силы крестьян. Такие рассказы куда лучше действовали на воображение слушателей, нежели исторические повествования, оторванные от современной им действительности.

II

Если народная история и народные исторические предания определяют содержание многих пропагандистских брошюр, диктуют их тематику (Илья Муромец, Разин, Пугачев), то пореформенная народная жизнь и пореформенный крестьянский фольклор (особенно слухи и толки) подсказывают пропагандистам новые сюжеты, усиливают социальные мотивы в «народных книгах». Учитывая местные традиции, историческое прошлое и этнографическое своеобразие того или иного географического района (Поволжье, Дон, Урал, Украина), пропагандисты разыскивают и находят среди крестьян и фабричных бойких говорунов, которые сообщают богатейший материал. Их рассказы включаются в «народные книги» и таким образом срастаются с революционной пропагандой.

В потаенной литературе революционных народников можно выделить целый цикл крестьянских рассказов, написанных исключительно толково и просто, без всяких риторических фигур и недомолвок. В процессе «хождения в народ» пропагандисты продумывали и уточняли методику пропаганды, обращая особое внимание на повествовательные приемы, на выработку стиля, наиболее отвечающего теме. Появляются произведения, в которых господствует сказовая манера, рассказчик приходит из

самих крестьян. Фольклоризм таких рассказов, обладающих всеми свойствами первоисточника, настолько натурален, что трудно, а иногда просто невозможно выделить в них фольклорную стихию или привести соответствующие фольклорные параллели. Это не значит, что народные рассказы в стихах и в прозе не связаны с определенной литературной традицией. Наоборот, в них сказывается большой опыт русской литературы (от Пушкина до Некрасова), опыт весьма продуктивный, предполагающий появление своеобразного «литературного фольклора», то есть литературных песен и сказок, которые со временем и сами могут превратиться в крестьянский фольклор, вернуться в деревню.

Как это ни покажется на первый взгляд странным, но пропагандисты начинают создание «жития» русского крестьянина с переделки французского романа «История крестьянина». Важно было найти образец для подражания, утвердить в пропагандистской литературе жанр, обещающий самый широкий доступ к крестьянским биографиям, жизненным впечатлениям.

П. А. Кропоткин вспоминает в «Записках революционера»: «Мы читали им (крестьянам и фабричным.— В. Б.) историю французской революции по переделке из превосходной «Истории крестьянина» Эркмана и Шатриана. Все восторгались г. Шовелем, ходившим по деревням и распространявшим запрещенные книги. Все горели желанием последовать его примеру»¹.

Роман Эмиля Эркмана и Александра Шатриана был известен русскому читателю по переводу в журнале «Дело». Он тогда же был замечен Д. И. Писаревым, посвятившим ему в «Отечественных записках» пространную рецензию².

Д. И. Писарев, автор специальной статьи о русских «народных книгах», приветствовал появление на русском языке романа о событиях французской революции 1789—1793 годов. Поучительным находил критик рассказ о французском крестьянине Мишеле Бастиане, сыне бедного корзинщика, который «вместе с женою должен кормить шесть человек детей, не имея на это никаких средств,— ни

¹ Кропоткин П. Записки революционера. СПб., 1906, с. 296.

² Роман Эркмана-Шатриана «История крестьянина» (первый том) в переводе на русский язык получил название «На рассвете» и был напечатан в журнале «Дело» в 1868 году (№ 4—8). В 1870—1872 годах роман в переводе Марка Вовчка (М. А. Маркович) вышел отдельным изданием.

гроша денег, ни клочка земли, ни козы, ни курицы, — ничего, кроме личного труда, обставленного множеством разнообразнейших стеснений и подвергающегося множеству таких же разнообразных поборов и вымогательств»¹. Явную симпатию Писарева вызывает и образ Матюрена Шовеля, разносчика книг и газет, народного заступника и просветителя. Этот герой кое в чем напоминал русских разночинцев, будущих народников. Он не боится черной работы, бродит по деревням с сумкою книг, подвергается преследованиям полиции, он свой человек среди французских крестьян. «Шовель дал Мишелю политическое образование, — отмечает Писарев. — Мишель сначала слушал с самым жадным вниманием, а потом читал сам, и вслух и про себя, газеты, которые Шовель приносил своему приятелю, Жану Леру. Шовель объяснял часто Мишелю то, чего последний не понимал, Шовель часто говорил о текущих делах...» Писарев рассказывает и о том впечатлении, которое производил Шовель своими речами и «великодушным негодованием честного гражданина» на «молодого даровитого и впечатлительного слушателя»². Приветствуя «Историю крестьянина», Писарев дает понять, что в России есть свои Бастианы и их учителя, как бы предчувствуя появление «народных книг» о тех, кто «бродит по деревням с сумкою книг».

В годы массового «хождения в народ» французский роман стал служить делу освободительной борьбы в России. В 1873 году в Женеве, в типографии «чайковцев», этот роман в сокращенном и несколько переработанном виде, без указания автора, был издан под названием «История одного французского крестьянина». Однако главному герою было дано русское имя: вместо Мишеля Бастиана появился Михайло Вассьянов, имена других действующих лиц также были русифицированы. На титульном листе было добавлено посвящение: «Книга сия написана французским крестьянином в знак братской любви к русским крестьянам». Издатели книги стремились к тому, чтобы расстояние между Францией и Россией как бы исчезло и роман воспринимался как жизнеописание многострадального русского крестьянина; при этом Шовель (Шовелев), бродячий продавец книг и политический наставник,

¹ Рецензия Д. И. Писарева была напечатана в «Отечественных записках» (1868, кн. 6). Цит. по изд.: Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. 4. М., 1956, с. 404.

² Писарев Д. И. Соч., т. 4, с. 421.

напоминал революционного народника, отправившегося в пропагандистский поход.

Сокращая и перерабатывая текст романа, русские пропагандисты сознательно усиливают просторечие, фольклорно-сказовую струю, кое-что добавляют и уточняют, стремятся сблизить сюжет французской книги с русской действительностью. Так, фраза в романе Эркмана-Шатриана: «В те времена был обычай говорить: „каждый за себя, бог за всех“» превратилась в пропагандистском варианте в развернутое обращение к крестьянам, в призыв объединиться, действовать сообща. Вот что написано в «Истории одного французского крестьянина»: «„Один за всех, а все за одного!“ Вот как! Это, братцы, гораздо лучше. Ежели все дружно стоят один за другого, так такое общество ни на какую удочку не подденешь. Тут уж дело крепко... Так и надо! Все стой за одного горой, один стой за все общество и не выдавай ни за что...»¹

Интересно также отметить, что среди активных пропагандистов «Истории одного французского крестьянина» был русский крестьянин из Тверской губернии Григорий Крылов, работавший на петербургской текстильной фабрике. «Прельщенный ролью Шовеля, героя «Истории одного крестьянина», Крылов в качестве офени, с коробом за плечами, наполненным книжками для народа, отправился странствовать, сначала по ближайшим к Петербургу селениям, а затем перебрался в свою родную Тверскую губернию, где продолжал начатое дело. Но не долга была жизнь

¹ Захарина В. Роман Эркмана-Шатриана «История крестьянина» и его переделка в революционной народнической пропаганде. — Русская литература, 1964, № 2, с. 122. Приводя это и некоторые другие разночтения между «Историей крестьянина» Эркмана-Шатриана в переводе Марка Вовчка и «Историей одного французского крестьянина» (Женева, 1873), В. Захарина указывает на самостоятельность народнической брошюры, называя ее «оригинальным произведением». Л. Э. Шишко, участник «хождения в народ», справедливо утверждал в своих воспоминаниях: «„История одного французского крестьянина“ — переделка известного исторического романа Эркмана-Шатриана; в ней было сконцентрировано все, что можно было извлечь из этой книги наиболее революционного» (Шишко Л. Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев. (Из воспоминаний и заметок старого народника.) СПб., 1906, с. 26). Автор переделки романа Эркмана-Шатриана до сих пор не установлен. Высказывались предположения, что народническая редакция французского романа принадлежит Л. А. Тихомирову или Д. А. Клеменцу. В. Захарина склонна считать автором «Истории одного французского крестьянина» П. В. Засодимского. Но это предположение оспаривает Н. Якушин (см.: Якушин Н. Был ли П. В. Засодимский автором переделки романа Эркмана-Шатриана «История крестьянина»? — Русская литература, 1965, № 1, с. 191—193).

этого выдающегося, симпатичного и искренно преданного делу человека, верившего, что народ, веками угнетаемый, познав правду, поднимется на своих угнетателей. Арестованный в 1875 г. в одной из приволжских губерний, он в 1876 г. погиб в Тверской тюрьме»¹. Таков был русский Шовель, простой крестьянин-фабричный, соединивший свою судьбу с судьбой социалистов-утопистов.

Если столь сильное впечатление на русских крестьян произвела история французского крестьянина, то нужно думать, что демократические «народные книги», в которых содержалось описание крепостнических нравов и событий пореформенной эпохи, волновали их еще больше, не могли не вызывать у них ответной реакции. В рассказе А. И. Иванчина-Писарева «Внушителя словили» один из мужиков, не знавший про существование брошюры о французском крестьянине, на вопрос жандарма «А „История крестьянина“ у тебя была?», отвечает: «Да как же, помилуйте,— говорит,— у нас на нее и покупателя не найдешь: кому же надоть «крестьянские-то истории» эти? Они у кажинного мужика на виду...» Потом еще раз поясняет: «Помилуйте,— говорит,— ваше благородие, да что ж он, французский так будучи крестьянин, может писать: где ж ему знать наши истории?...»².

12

«Наши истории» — они «у кажинного мужика на виду». В «народных книгах» рассыпано много отечественных «историй». В частности, одна из них содержится в рассказе М. К. Цебриковой «Дедушка Егор», впервые появившемся в 1870 году в «Неделе» за подписью «Н. Р.». Затем этот рассказ был перепечатан «чайковцами» под тем же назва-

¹ Чарушин А. О далеком прошлом. Кружок чайковцев. Из воспоминаний о революционном движении 1870-х годов. М., 1926, с. 132—138. Газета «Вперед!» в 1876 году (№ 43) писала о Григории Крылове, неутомимом и страстном пропагандисте: «Из разговоров и совместных чтений новый прозелит социализма пришел к убеждению о необходимости создать плотное социалистическое ядро из рабочих. Новое поприще раскрыло дремавшие силы этого человека. Жажда деятельности и пропаганды не давала ему ни минуты сидеть на месте. После каторжной 14-ти часовой работы за ткацким станком он бежал в какую-нибудь рабочую артель и тащил с собой кого-нибудь из своих приятелей-пропагандистов: там он, не умолкая, говорил иногда до полуночи».

² Агитационная литература русских революционных народников..., с. 338.

нием в Киеве со ссылкой на цензуру («Дозволено цензурою. Киев, 15 марта 1873»). «Дедушка Егор» встречается во многих следственных показаниях по «процессу 50-ти» и «193-х». Еще Белинский писал о необходимости изображать героические народные характеры: «...Нам приятнее было бы в подобных произведениях встречать таких мужиков, которые, благодаря своей натуре или случайным обстоятельствам, несколько возвышаются над ограниченной сферой мужицкой жизни»¹. Именно такого героя мы и находим в рассказе «Дедушка Егор». Егор пострадал за правду, от имени всего «мира» он пошел к губернатору с жалобой на помещика, князя Шибальского, и управляющего именем Викентьева. В результате «буян и бунтовщик» оказался под розгами, а затем без малого восемь лет провел на каторжных работах в Сибири. Мужественный крестьянин всю вину взял на себя, никого не выдал, он и на каторге выступал защитником угнетенных. Крестьянин Г. Д. Хомяков так воспринял прочитанную пропагандистами историю дедушки Егора: «То была беда, что такие дураки были в громаде, что не стояли за дедушку Егора... Дедушка Егор так умел хранить тайну, что хотя бы из него жилы тянули, так он бы не сказал. Дедушка Егор был превыше всех людей, любил народ, за то и в Сибирь был сослан, что за народ стоял»².

Некрасовский Савелий-богатырь и дедушка Егор как будто земляки из одной волости, из одной деревни, их биографии удивительно схожи. Возможно, что Некрасов и Цебрикова воспользовались одним и тем же костромским сюжетом, создав «житие» крестьянского богатыря, побывавшего в Сибири на каторге. То, что у Некрасова намечалось, предполагалось, но не вошло в поэму по цензурным соображениям, осталось в черновых набросках, в потаенной литературе находит открытое, подчеркнутое изображение и толкование. Из черновых набросков и записей известно, что Некрасов собирался показать встречи путешествующих мужиков с чиновником, купцом, министром государевым и, может быть, с царем. Старик Влас, близкий знакомец путешествующих мужиков, все же добрался до Москвы и Питера:

Влас за крестьян ходатаем,
Живет в Москве... был в Питере...
А толку что-то нет!

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 5, с. 305.

² ЦГАОР, ф. 112, № 301, л. 11 об.

«Толку нет» обращаться к чиновникам, помещикам и царю. Разрушение веры в «хорошего царя» — таков скрытый мотив всей поэмы.

В связи с историей крестьянских «хождений», известных нам и по официальным источникам и по народным сказкам и преданиям, нужно выделить рассказ «Бог-то бог, да сам не будь плох», выпущенный в 1874 году «чайковцами» в Женеве отдельной книжкой¹. Мы уже видели в «Дедушке Егоре» начало трагического путешествия за правдой, оборвавшегося у крыльца губернского особняка. В рассказе неизвестного пропагандиста со всей откровенностью, без оглядок на цензуру говорится про «волювольную», «царский указ», про грабителей народа и про мужика Николая Семеныча, решившего тягаться с помещиками и чиновниками. Здесь не обойден и царь: он стоит во главе князей, помещиков, попов, жандармов, чиновников и купцов-кулаков. О царе сами крестьяне отзываются как о главном виновнике всех бед: «...Царь указы подписывает, кои ему господа под пьяную руку подсунут. И пошли ему, господи, за эти указы тихую да скорую кончину: столь они сладостно крестьянству достаются. Про свободу-то сами знаете, какова эта воля-вольная, как после нее легче жить стало; в клетях да амбарах у вас, чай, поприбыло, а если в амбарах не прибыло, зато податей да повинностей ныне поболее стало. И за это его глупые люди да подлые души царем-освободителем зовут»². Крестьяне настроены весьма решительно, особенно Николай Семеныч (его так и величают односельчане), молодой мужик «смелости необыкновенной, к тому же грамотей». Приехал в деревню исправник с двумя чиновниками, чтобы наказать крестьян за непослушание, за отказ платить оброк. Тут-то и разыгралась «история».

«— Здорово,— говорит,— голубчики, бунтовщики, висельники, что это вы, мерзавцы, выдумали? Коли дано обязательство вашими отцами и дедами, то должны вы по век платить.

¹ Бог-то бог, да сам не будь плох. Сочинение Ц***, изд. 2-е. СПб., тип. Горцева, Б. Подъяческая, № 25. С пометой: «Дозволено цензурою. С.-Петербург, 5 августа 1874 г.». Выходные данные, как обычно, вымышлены. Автор не установлен. Вл. Бурцев называет М. Антонова (см.: Б у р ц е в В л. За сто лет, ч. II. Лондон, 1897, с. 83); вслед за ним то же имя указывает «Русская подпольная и зарубежная печать. Библиографический указатель», т. I, вып. I. М., 1935, № 23. Однако и это, по-видимому, вымышленное имя.

² Агитационная литература русских революционных народников. . с. 384.

Вышел тут Николай Семеныч:

— Бунтовать мы, твое благородие, не думали, и виселиц для нас еще не настроено, а как с волей все обязательства кончились, то за обучение барских детей мы платить не желаем!

Покраснел исправник, рожу у него всю перекосило, как заорет:

— Так это ты,— говорит,— тут народ бунтуешь, ты, значит, главный коновод! Да знаешь ли, что я с тобою сделаю? Я тебе, мерзавцу, шкуру с затылка до пят спущу, пятки сквозь горло проташу! Да знаешь ли ты, что я с тобою все, что хочу, то и сделаю: хочу — в землю зарю, хочу — с кашей съем.

— Ничего ты этого со мной не сделаешь, да не ровен час облопаешься, коли по целому мужику зараз лопать будешь!

Озлился исправник пуще прежнего, красней кумачу сделался, зачал такие забранки загинать, что мы впервой слышали,— куда мужику далеко до их благородия. Ругался, ругался, да как развернется — и ударил Николая Семеныча по левой щеке. Застонал мир, зашатался и, как один человек, двинулся плотной стеной и обошел Николая Семеныча с исправником»¹.

До поры до времени крестьяне не теряют надежды на «царский указ в суде». История кончается тем, что жандармы запрятали Николая Семеныча в кутузку и «без суда» отправили в Сибирь. Потрясенные мужики ходили три месяца «по белу свету», чтобы «царский указ» найти, но не нашли и поняли, что царский суд никогда «не будет гнуть нашу сторону», что «не сыскать мужику правды на суде государевом». В конце концов мужики своим умом пришли к выводу: «нет на земле правды-матушки, вконец извели ее царь, князь, бояре, попы да чиновники, и не на кого мужику русскому надеяться, как на свою силу крепкую, могучую».

Рядом с рассказом «Бог-то бог, да сам не будь плох» следует поставить одну из самых популярных пропагандистских сказок — «Где лучше? Сказка о четырех братьях и об их приключениях»². В ней крестьяне отправляются

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 391.

² Под таким названием сказка Л. А. Тихомирова была напечатана в 1873 году «чайковцами» в Женеве. На книге значатся вымышленные выходные данные: «Изд. 2, испр. и доп. М., тип. Мужикова, 1868» и помета: «Дозволено цензурою. Москва, апреля 19-го дня 1868 г.». Сказка

в дальнейшее путешествие по матушке России, чтобы собственными глазами посмотреть на мир людской. Четверо братьев побывали в деревнях и городах, на севере и юге, на западе и востоке, много повстречали на своем пути людей и убедились, что повсюду бедствуют мужик и фабричный. В сказке много переключек с другими произведениями пропагандистской литературы и с поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Сам жанр путешествия давал неограниченные возможности для изображения действительности, для изобличения пороков социального строя, основанного на угнетении народа. Своеобразие данной сказки состоит в том, что в ней сами путешественники-крестьяне становятся пропагандистами, обстоятельства делаают их философами и политиками. Они вовлекают во всероссийский диспут всех, с кем сводит их судьба на путях их странствий. Итоги путешествия братьев весьма печальны: «хождение» старшего брата Ивана кончается тем, что его в одной из деревень схватили становые, высекли розгами, затем заковали в кандалы и, как опасного бунтовщика, отправили в Сибирь на каторгу. Туда же, в Сибирь, попадают и остальные братья, пробовавшие бороться за правду.

Сказка проникнута грустным чувством, в ней слышится горький упрек крестьянам, пребывающим в патриархальной закостенелости. Солдаты, те же крестьяне, убивают своих отцов, по приказанию царского офицера стреляют в беззащитную толпу. Мужики если и восстают против несправедливости, то стихийно, отдельными деревнями, без всякой предварительной подготовки. «Из-за одного кровопийца-помещика сотни крестьян и солдат убивают друг друга. Сын убивает отца, брат брата... Где же разум у народа? Не лучше ли этим солдатам вместе с крестьянами перебить своих притеснителей, помещиков, посредников, офицеров. Народ, народ, когда же опомнишься ты, когда перестанешь быть врагом самому себе, когда перестанешь быть рабом своих злодеев!»¹ Так думает один из братьев, Степан, оказавшийся свидетелем крестьянского стихийного бунта на юге России. Крестьянская Русь предстает перед путешествующими братьями совсем не такой, какой она выглядела в бакунинских прокламациях. Вот скорбный вывод, к которому они приходят:

издавалась также под названием «Четыре странника, или Правда и Кривда». На обложке указано: «Сочинение А. Д., изд 3-е, тип. Спиридонова, М., 1875». Помета: «Дозволено цензурою. Москва, 25 мая 1875 года».

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 279.

«— Что же, братцы,— говорит Иван,— видно, нигде нет места для бедного, видно, все места богатыми заняты. Исходили мы всю Русь-матушку — и одно мы повсюду видели: везде богатые грабят бедного, везде давят народ мироеды проклятые, те дворяне, фабриканты и хозяева! Они держат рабочий люд в кабале, обирают до ниточки, да пред ним еще величаются и ругают его мужиком-дураком. А начальство разное вместе с царем о своей лишь выгоде думают и о бедных людях не заботятся, и всегда они стоят за богатого, защищают лютых грабителей и законов таких понаписывали, чтобы бедных связать по рукам, по ногам, головой их выдать грабителям... А народ! Сердце ноет, как вздумаешь, что покорно он переносит гнет, всякой сволочи он покоряется и не чувствует своей силушки. Глуп народ, братья милые, трус народ православный, и спит он сном непробудным...»¹

Однако не для того сказка «Где лучше?» писалась, чтобы показать непробудно спящий народ и трагическую судьбу братьев, обреченных на каторгу. Братья верят, что ударит грозный час, пробудится народ, «почует в себе силу могучую, силу необоримую, и раздавит он тогда всех грабителей, всех мучителей безжалостных, реки крови прольет он в гнев своем и жестоко отмстит притеснителям... И крестьяне вольные и рабочие заживут в довольстве и радости, без стеснения, на всей своей волюшке»². Братья-богатеры уходят из-под стражи на волю и снова разъясняют народу причины его бедствий, в надежде, что когда «просветят они всех крестьян, загудит, зашумит Русь-матушка, словно море синее заколышется, и потопит волнами могучими она всех своих лютых недругов». Концовка эта звучит слишком оптимистически, декларативно³, однако основной сюжет сказки насыщен огромным социальным содержанием, большой народной правдой,

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 294.

² Там же, с. 294—295.

³ Соавтором «Сказки о четырех братьях и об их приключениях», написанной Л. Тихомировым, выступал П. Кропоткин, переделавший ее заключительную часть. «Сказка всем нам очень нравилась,— пишет Кропоткин,— но когда мы прочли ее заключение, мы совсем разочаровались. У автора четыре брата, натерпевшись от капитала, государства и т. д., сошлись все четверо на границе Сибири, куда их сослали, и заплакали. Сергей (Кравчинский.— В. Б.) и я настаивали, чтоб конец был переделан, и я переделал его, как он теперь в брошюре, что они идут на север, на юг, на запад, на восток проповедывать бунт» (Кропоткин П. А. Записки революционера, с. 315).

поэтому сказка о четырех братьях удержалась в крестьянском сознании, превратилась в фольклорную сказку.

Революционные народники обращаются не только к фольклору, но и к наследию своих прямых предшественников, к поэзии декабристов и революционных демократов (Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева, М. Л. Михайлова, Н. А. Добролюбова, В. С. Курочкина и других, менее известных поэтов). Начиная с песен Рылеева и Александра Бестужева происходит постепенное погружение поэзии в политику, причем пропагандистское художественное слово переносится непосредственно в народную среду, в казарму и избу. На втором этапе освободительного движения контакты между гражданской поэзией и революционным делом еще более усиливаются, прокламации («Барским крестьянам», «Что нужно народу?», «Русским солдатам») и вольная поэзия дополняют друг друга. Историки литературы имеют возможность путем сравнительного изучения установить идейную и стилистическую общность публицистики и поэзии этой эпохи, их взаимозависимость. Популярное стихотворение «Долго нас помещики душили...», написанное от имени крестьян и для крестьян, содержит почти дословные совпадения с прокламацией «Барским крестьянам». В прокламации долгушинцев «Интеллигентным людям» цитируются «вольные» стихи, в частности «Ослушная песня»¹.

Отмечая неразрывную связь потаенной литературы с общими процессами литературной и общественной жизни XIX века, необходимо постоянно учитывать то своеобразие, которое отличало «творения, презревшие печать», на разных этапах освободительного движения. В годы «хождения в народ» появляется прямая заинтересованность в создании поэзии массовой, рассчитанной на широкую аудиторию. На место апостола-проповедника, поэта-гражданина и путешествующего пропагандиста встает народ-

¹ Е. Г. Бушканец «Ослушную песню» характеризует как революционный гимн, а о стихотворении «Жил на свете русский царь...» пишет как о «воззвании в стихах», в котором пересказаны основные положения прокламаций «Барским крестьянам» Н. Г. Чернышевского и «Что нужно народу?» Н. П. Огарева (см.: Бушканец Е. Г. Революционные стихотворения-прокламации конца 1850-х — начала 1860-х годов. — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1962, с. 405—406).

ный «краснобай», сказитель или просто бывалый рассказчик. Пропагандистская литература эпохи «хождения в народ» любит обращаться к «нелегальному» фольклору, который не записывался фольклористами или записывался (например, Прыжовым), но не мог увидеть света, найти место в сборниках народной словесности.

Пропагандистские брошюры и рукописные произведения, опирающиеся на крестьянские устные разговоры, пословицы и прибаутки, доносят до нас народное вольное слово, крестьянское политическое красноречие, живую речь. Устную молву и крестьянский рассказ пропагандистская литература оформляет сюжетно, придает им законченность художественного повествования. Этот ценнейший источник использовали писатели-демократы из «Современника» и «Отечественных записок», создававшие крестьянские повести и рассказы. Но они вынуждены были от многого отказываться или прикрывать народные толки иносказаниями, создавать сложную систему аллюзий. В потаенной литературе все значительно проще, нагляднее, зримее. Идеи социальной революции прокламируются в них открыто, о царе говорится без всяких околичностей. Почти в каждой книжке содержится призыв к народу объединиться, стоять «один за всех, все за одного», готовиться к решительному поединку. Не следует забывать, что пропагандистские книжки пишутся для крестьян, поэтому и проблема стиля здесь решается фольклорными средствами. В слишком стилизованных образах, в композициях, напоминающих фольклорные (былинно-сказовые, песенные, раешные), скрывались опасности художественного эклектизма и примитивизма. Однако авторы пропагандистских книжек субъективно были правы, экспериментируя в фольклорных жанрах и широко применяя художественные приемы народного творчества. В лавровском журнале «Вперед!» В. Н. Смирнов писал в историческом 1874 году (год массового «хождения в народ») о необходимости для пропагандистов научиться беседовать, вести откровенный разговор с народом: «...Каждый революционер, работающий в народе, должен выработать простую, но вместе с тем выразительную и энергическую речь, не стесняемую никакими «штилями» и никакою цензурою. Образцом этой речи должна служить для него меткая, хлесткая, складная, образная речь народа»¹. Это важное эстетическое требование, столь отчетливо сформулированное, касалось как

¹ «Вперед!» 1874, т. III, с. 266.

устной пропаганды, так и пропагандистской литературы (прозы и поэзии).

Рядом с прозаическими пропагандистскими сказками и рассказами революционных народников следует поставить поэмы, написанные в традиционном сказочном духе (сказки в стихах) или в подражание народному райку. В отличие от поэм-былин, обращенных к прошлому, к народной истории, поэмы-сказки более скреплены с современной жизнью крестьянина, с крестьянским бытом пореформенной России. Поэмы Синегуба об Илье Муромце и Степане Разине, видимо, были рассчитаны на северное крестьянство, среди которого былевой эпос еще жил полнокровной жизнью. Но и на русском Севере эпические песни являлись достоянием в основном профессиональных певцов-сказителей. Былины нельзя считать массовой поэзией, былинное творчество предполагало владение определенными художественными традициями и достаточно высокую подготовку слушателей. Не случайно былину-поэму об Илье Муромце фабричные-крестьяне воспринимали как сказку, переводили ее содержание на язык прозы. Это вполне закономерный процесс: былина переоформляется в сказку. Но был еще раешно-сказовый стих, пользовавшийся с давних пор (наследие скоморохов) признанием у народа. В этой стилистической манере написаны две рукописные поэмы. Авторы обеих поэм пока остаются неизвестными¹.

«Как задумал наш царь-батюшка...» и «В некоем княжестве...» не столь архаичны, как былины-поэмы Синегуба, но не менее фольклорны по форме и народны по своему содержанию. В первой из поэм изображается самый канун крестьянской реформы. Царь и его помощники (министры, чиновники и помещики) заняты составлением «освободительных» проектов. Разоблачение подготавливаемой крестьянской реформы, Комиссии уложений ведется в стиле сатирической сказки и райка и с учетом опыта пропагандистской литературы:

Стали думать да гадать они,
Да умом своим раскидывать,
Как бы сделать так, исхитриться,
Чтоб и овцы были целыми,
Да и волки были сытыми.

¹ Поэмы-сказы «Как задумал наш царь-батюшка...» и «В некоем княжестве...» опубликованы по рукописям, хранящимся в ЦГАОР, в сб. Агитационная литература русских революционных народников..., с. 444—456. Здесь цит. по этому изданию.

Метафора о волках-помещиках и овцах-крестьянах постоянно встречается в прокламациях, начиная с воззвания «Барским крестьянам». В этой поэме можно обнаружить и элементы сказочной поэтики и поэтики народных причитаний. Во второй части, посвященной «собачьей волюшке», краски особенно сгущаются: разграбленная деревня предстает во всей своей неприглядной наготе. С плачем народ встречает грабительскую реформу:

Мудреней того придумали —
И собачью дали волюшку:
Что собака в конуре своей —
К своему клочку привязан ты;
Конура у ней пустехонька,
А с твоей земли взять нечего:
С такового ли обрезочка
И на подати не выпашешь!

Другой стилистический ряд в этой поэме идет от литературной традиции. Отдельные фразеологические выражения и целые строки навеяны «Коньком-Горбунком» Ершова.

Во второй поэме — «В некоем княжестве...» — влияние литературной сказки (Пушкина, Ершова) ощущается особенно сильно. Описания вороного коня, сохи даются совсем как в «Коньке-Горбунке». В этой поэме окончательно побеждают сказочные приемы повествования и раешничество, залихватское балагурство. Вполне традиционен зачин:

В некоем княжестве, отсель
Да за тридевять земель,
Проживал однажды царь,
Самый белый государь.
У царя ли у того
Было двое слуг всего.

«Двое слуг» — мужик и барин, причем победителем в состязаниях, в работе всегда выходит мужик. Барин остается в дураках, в положении самом комическом, совсем как в сатирических народных сказках и в пушкинской «Сказке о попе и о его работнике Балде»:

Дали барину соху,
Чует барин: быть греху.
А соха-то не простая,
Из ореха, дорогая.
Без отметы вороной
Кровный конь да огневой.

Зачал барин тут огрешить,
Ровно люд хотел потешить.
Не управился с конем —
И хвати его кнутом.
Конь взбесился, как рванет,
По ногам как полыхнет
Сошником-то господина!

Барин берется за топор:

Да себя по пальцу хватать...
Сунул палец это в рот
Да и сызнова орет.

Внешне образ мужика рисуется без прикрас:

Весь-то век свой непобритый
Да весь в саже, неумытый,
Черный, ровно голенище,
Закорuzлые ручищи...

Зато в делах, в поступках он настоящий герой, неподкупный, справедливый, трудолюбивый, физически сильный. И этот-то мужик-богатырь не может побороть несправедливость, расправиться с баринном. Косвенным путем в поэму-сказку пробивается главная тема:

Тот мужик за волей той,
Безземельной, проклятой,
Работает, как и прежде...

Пропагандистский, революционный характер поэмы «В некоем княжестве...» состоит в том, что в ней, в отличие от сатирических народных сказок о барине и мужике, присутствует фигура царя-обманщика. Барин-бездельник, как и поп, представитель «жеребьячьей породы», в народной сказке могут оказаться в самом смешном положении, быть до конца скомпрометированными, очерченными, уничтоженными. Но в социальном поединке в этих сказках царь не участвует. Народные сказки оставляют его в стороне или к нему апеллируют. Другое дело в пропагандистской поэме-сказке. Здесь все угнетатели получают по заслугам. Царь в одной компании с помещиками, он не заслуживает снисхождения. Если мужик по царской воле остался без земли, по-прежнему нищенствует, то он (об этом говорит мужику солнце, самый справедливый судья) вправе взяться за топор. Такая концовка не предусмотрена народными сказками:

Думал, думал тут мужик,
К этой думе приобьк,
С господином и с царем

Расквитался топором...
Обзавелся, слышь, землей
И зажил уж сам большой.

Бросятся в глаза отличия этого сказового, вернее раешного, афористического стиха от певучего, несколько велеречивого стиха былин. С. П. Бобров, опираясь на тонкий анализ метрики русского вольного стиха, на важнейшие литературные обработки стиха народного склада (Пушкин и Лермонтов), отмечает, что подлинная речь живого раешника рассчитана «на непрерывно двигающуюся ярмарочную толпу, у которой нет ни времени, ни охоты любоваться той разудалой красотой, которая героически возникает из былин. Ей безразличен и тот старательно-слаженный фон былинной словесной «вышивки», несомненно рассчитанной на очень внимательного слушателя, которому такое искусство мало того что знакомо, но известно в полном совершенстве, как знатоку, если не такому же мастеру в том же редком искусстве. Сверх того, это было любительство, т. е. нечто непосредственное и бескорыстное, тогда как раешничество было настоящей профессией, средством добыть себе кусок хлеба. И вот в этих необычных условиях возникает особенный стих, в своем роде очень ловкий, залихватский и даже полный известного захватывающего блеска»¹. Этот «ловкий, залихватский» стих привлекал внимание и Пушкина, и Некрасова, и поэтов-пропагандистов. Он хорошо служил сближению пропагандистской поэзии с злободневной крестьянской действительностью, делал эту поэзию более действенной и доступной самым широким народным массам.

14

Трудно, а то и просто невозможно представить себе революционную пропаганду без песни. С песенными традициями связаны многие достижения русской гражданской поэзии. «Через весь девятнадцатый век, — пишет В. А. Десницкий, — начиная с первого широкого революционного движения декабристов, уже ставившего задачи пропаганды своих идей среди народных масс (среди солдат), идет не

¹ Бобров С. П. Русский тонический стих с ритмом неопределенной четности и варьирующей силлабикой (Опыт сравнительного описания русского вольного стиха). — Русская литература, 1968, № 2, с. 81.

замирая жизнь подпольной «песни» и подпольной «сказки», выполняющих функции распространения в народных массах идей той или иной революционной партии»¹.

В России так повелось, что почти каждая революционная ситуация рождала свои песни. С революционной песни фактически начинается история русской вольной поэзии. В годы «хождения в народ» песня помогала объединять передовую молодежь, собирать силы, воспламеняла воображение и поднимала дух. На язык поэзии переводились основные политические лозунги, песня и прокламация сотрудничали, дополняли и разъясняли друг друга. Песня всегда имела более широкое влияние и производила наиболее сильное эмоциональное воздействие на народ и на самих пропагандистов, революционную молодежь.

Из следственных материалов по делу пензенского пропагандистского кружка вырисовывается любопытная деталь: пензенские семинаристы и гимназисты, руководимые талантливым и смелым Дмитрием Рогачевым, собираются в загородном лесу около реки на сходку. Рогачев рассказывает о своих успехах в деле пропаганды, порицает некоторых членов кружка за нерешительность, убеждает в необходимости революционной борьбы. Затем все участники сходки начинают петь революционные песни, причем запевалой выступает Рогачев. В следственных материалах частично раскрывается песенный репертуар: 1) «Я вижу рабскую Россию...», 2) «Друзья, дадим друг другу руки...», 3) «Ах ты, сукин сын, проклятый становой!..», 4) «Свобода-свободушка...», 5) «Доля», 6) «Когда я был царем российским...». Перечислив во время допроса все эти песни, петье на сходке, участник пензенского кружка М. Ф. Спесивцев тут же замечает: «Песен было много и других, которых я не помню»².

Выдающуюся роль в песенной пропаганде сыграли два сборника, подготовленные к печати «чайковцами»: «Песенник» (Женева, 1873) и «Сборник новых песен и стихов» (Женева, 1873). В «Сборник» вошли лучшие стихотворения Синегуба и Клеменца: «Дума ткача», «Свободушка»,

¹ Десницкий В. На литературные темы, кн. 2. Л., 1936, с. 494.

² ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 36, л. 61. Песня «Друзья, дадим друг другу руки...», судя по следственному протоколу, включала следующую строфу:

Друзья, дадим друг другу руки
И смело бросимся вперед,
Пора нам бросить все науки
И дружно двинуться в народ.

«Доля», «Просьба», «Дума кузнеца», «Барка», «Когда я был царем российским...»¹. Пропагандисты с успехом использовали песни и стихотворения, созданные их предшественниками. В «Песенник» и в «Сборник новых песен и стихов» включены отрывки «Воля-матушка» и «То не на небе туча черная собиралась...» из драматической хроники «Стенька Разин» А. А. Навроцкого, отрывок из главы «Пьяная ночь» (под заглавием «Ночь после праздника») из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» и «Разговор на железной дороге» Некрасова, «Из-за матушки за Волги...» Огарева, а также стихи неизвестных авторов («Ах ты, сукин сын, проклятый становой!..», «Ослушная песня», «Славься свобода и честный наш труд!..» и др.). О широком распространении «Сборника новых песен и стихов» свидетельствует хотя бы тот факт, что в обвинительных актах по делам «193-х» и «50-ти» этот сборник упоминается около семидесяти раз. Понятно, что количество обращавшихся экземпляров «Сборника» еще не говорит о степени проникновения той или иной песни в народную среду. Нас же интересует именно этот вопрос: в какой мере революционные стихотворения народников 70-х годов и их прямых предшественников перешли в народ, стали ли они достоянием крестьянской России? Всего вернее и в данном случае обратиться к воспоминаниям участников «хождения в народ» и к следственным материалам.

Арестованный за революционную пропаганду среди рабочих фабрики Чешера и солдат лейб-гвардии Московского полка В. М. Дьяков в своих показаниях от 29 апреля 1875 года особенно подчеркивает влияние «Песенника» и прокламации «Чтой-то, братцы...». «...Эти книжки, — по

¹ Авторство некоторых стихотворений, появившихся анонимно в «Сборнике новых песен и стихов», нуждается в уточнении. Бесспорно, что «Дума ткача» написана Синегубом, а «Дума кузнеца» и «Когда я был царем российским...» — Клеменцем. Обычно стихотворения «Барка», «Просьба» («Разговор царя с народом»), «Свободушка» и «Доля» условно приписываются Клеменцу. Версия об авторстве Клеменца идет от А. В. Низовкина. Однако Низовкин является очень ненадежным свидетелем. Арестованный в 1879 году, Клеменц «по поводу показаний Низовкина заявил, что объясняет их только личной неприязнью, которой они друг перед другом не скрывали, но источником которой „была вовсе не рознь убеждений, так как убеждения господина Низовкина совершенно неизвестны, а просто личный характер господина Низовкина“» (Л е в и н Ш. М. Дмитрий Александрович Клеменц. М., 1929, с. 105). Имеются более существенные доводы считать автором указанных стихотворений Синегуба. Именно эти стихотворения в автографах и списках были отобраны в ноябре 1873 года у рабочих, обучавшихся в кружке Синегуба.

словам Вячеслава Дьякова, — оказывали нравственное влияние на народ: они подымали рабочего в собственных своих глазах; рабочий должен был привыкать смотреть на себя, как на человека, к которому обращаются как к человеку, способному понимать интересы целого народа»¹.

Л. Э. Шишко вспоминает молодого фабричного Федора Большакова, недавно приехавшего в Петербург из деревни. Застенчивый и флегматичный, он не проявлял особого интереса к пропаганде. Однако «под влиянием разговоров, чтения стихотворений Некрасова и даже пения революционных песен (помню, между прочим, что пели песни 60-х годов: «Долго нас помещики душили...»), его вдруг охватило заметное нервное волнение. Он был совсем бледен и немного дрожал. Когда я подошел к нему, он тихо сказал мне, что сам не знает, что с ним происходит, и уже не помню точно, в каких именно выражениях произнес аннибалову клятву. С этой минуты он стал совсем своим человеком»².

Именно «под влиянием разговоров» начиналось формирование революционного сознания фабричных и крестьян; пение песен обычно завершало беседы на политические темы. Революционными песнями не начинались, а кончались сходки и занятия в рабочих кружках, встречи с крестьянами на деревенских праздниках и посиделках. В нераздельности всех элементов пропаганды — устной беседы, нелегальной книги и песни — состоит главная особенность методики, выработанной революционными народниками в процессе изучения той аудитории, к которой они обращались. Крестьянин из Калужской губернии А. А. Аверин в своих показаниях (2 октября 1874 года) довольно точно воспроизводит эту методику, использующую различные элементы и формы пропаганды:

«...Доктора Казачка, Николая Махаева и фельдшера Гурия Гавриловича я знаю, потому что ходил к Казачку лечиться и там всех этих лиц видел. К Казачку я ходил очень часто, во время всего лета настоящего я у него бывал неизменно на каждой неделе, а иногда случалось, что я к нему ходил через день. Когда я ходил к Казачку, то всегда заставлял у него много наших крестьянских ребят. Я у него бывал и в комнатах, и на крыльце. Казачек с нами разговаривал о земле, говорил, где есть плодородная

¹ Корольчук Э. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга в середине 70-х годов. — Каторга и ссылка, 1928, № 1 (38), с. 23.

² Шишко Л. Э. Собр соч., т. 4, с. 208.

земля, больше о земле разговора я не припомню. Он также нам говорил, что чудотворных икон нет, это все обман и разные фокусы, так, например, он рассказывал про божью мать, у которой течет слеза из глаз; он это объяснил так, что там положена губка с пружиной, и когда ее нажмут, то и потечет слеза, что все церковные книги написаны попами и в них помещены одни только глупости, что следует читать одно только Евангелие, говорил, что молиться богу не стоит. Богатых он всех называл грабителями, а попов обирателями, смеялся над ними и говорил, что они все обирают народ и грабят его. Казачек и Махаев, когда мы собирались к ним, читали нам какие-то книги попеременно между собой и объясняли их. Кроме того, Казачек, Махаев и Василий Сергеев, фельдшер, пели песни у себя дома и когда приходили к нам в ночное, и в ночном ребята им подтягивали; песни эти следующие:

1) Из-за матушки за Волги,
Со степной Великой Руси
Подымалася толпа народа,
Да как крикнет громким кличем:
— Добры молодцы, собирайтесь и идите.
Отстоим мы нашу волю, и отстоим мы нашу землю,
Чтобы земля нам да досталась,
Воля вольная сложилась...

Далее слова этой песни не помню.

- 2) «Дубинушка» и
- 3) «Свая»:

Свая наша свая,
Чего же свая стала,
Знать, на камушек попала.
Белый камень разломился,
Наша свая провалилась...

К этому был припев «Дубинушки». Слова же «Дубинушки» я не припомню¹.

В «Повестях моей жизни» Н. А. Морозов рассказывает о своем посещении в 1874 году имения А. И. Иванчина; Писарева в Даниловском уезде Ярославской губернии, где особенно успешно велась пропаганда среди крестьян. Отрывок, который мы приведем, как будто взят из дневника фольклориста, наблюдавшего за крестьянской жизнью в

¹ Революционное народничество 70-х годов XIX века, т. 1, с. 267—268.

условиях освобожденной от помещиков деревни. Вспоминая один из деревенских праздников, Морозов пишет:

«Переделки... народных песен, где осмеивались власти и самодержавные порядки, и весь остальной запрещенный вокально-музыкальный репертуар были здесь пущены в полный ход.

С особенным воодушевлением пела толпа известный революционный вариант приволжской бурлацкой «Дубинушки». Среди общего смеха и гула так и гремели ее куплеты:

Ой, ребята, плохо дело!
Наша барка на мель села.
Царь наш белый кормщик пьяный!
Он завел нас на мель прямо.
Чтобы барка шла ходчее,
Надо кормщика в три шеи.

И каждый куплет стоголосая толпа сопровождала обычным припевом:

Ой, дубинушка, ухнем,
Ой, зеленая, сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем!

Такие задирательные противоправительственные песни особенно соответствовали народному вкусу и вызвали в крестьянской публике неудержимый смех. Они тотчас заучивались и разносились присутствовавшими далее по деревням... Только неожиданностью для провинциальных властей движения в народ и объяснилось то обстоятельство, что на все это в продолжение почти двух лет не обращали никакого внимания»¹.

Может быть, Н. А. Морозов, писавший свои воспоминания много лет спустя после «хождения в народ», вносит в описание деревенского праздника мотивы, заимствованные из романа «Что делать?», из знаменитых снов Веры Павловны? Получается как будто не совсем реальная картина: революционная песня вмешивается в традиционный крестьянский быт, в деревенские обряды, превращая их в нечто совершенно новое, невиданное, пришедшее на сельскую площадь вместе с пропагандистами. Однако в жизни, как об этом свидетельствует следственный материал, действительно происходило нечто подобное. В деревню Потапово по воскресным дням сходились парни и девушки из соседних деревень. Деревенская молодежь

¹ Морозов Н. А. Повести моей жизни, т. 1. М., 1961, с. 91—92.

качалась на качелях, водила хороводы и пела песни. Иванчин-Писарев и его ближайшие помощники использовали народные гуляния для распространения революционных песен. Были среди крестьян и доносители, которые тогда же сообщали уездному приставу о тех подозрительных встречах, которые происходили в Даниловском уезде. Из доноса Т. Иванова восстанавливается еще один куплет «Барки», певшийся в Потапове:

Пора собраться с силами,
Не быть и нам рабом,
А волюшку хоть вилами
Добыть иль топором.
Подбавим барке ходу,
Покидаем господ в воду ¹.

После опроса крестьян Даниловского уезда член Московской судебной палаты Ф. Ф. Крахт сообщал 9 февраля 1876 года прокурору ярославского окружного суда о революционной пропаганде А. И. Иванчина-Писарева и других народников:

«Во время занятий в мастерской Писарев по вечерам поил их чаем и водкой, читал и толковал книги, говорил против правительства, осуждал существующий порядок управления и как на средство исправления его указывал на возмущение крестьян против правительства; при этом Иванчин-Писарев научил их песне «Пора собраться с силами» и т. д. Во всем этом принимал одинаковое участие друг Писарева, живший в с. Вятском, врач Иван Иванов Добровольский, который бывал всякий день у Писарева и на народных гуляньях, где пелись разные возмутительные песни и велись разговоры о негодности правительства. Названная выше песнь («Пора собраться с силами») была записана в мастерской на шкафе; песня «Свобода, свобода» была записана в мастерской на косяке; а песнь «Тятка» Писарев учил еще в училище. Все эти песни пел и Добровольский, который, кроме того, читал и толковал книги на собраниях, бывавших у Писарева и состоявших из крестьян — человек по 40; зачастую собирались сходки — Потаповский и Бурцевский, на которых Иванчин-Писарев учил крестьян, что делать» ².

¹ Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. М., 1965, с. 300.

² Революционное народничество 70-х годов XIX века, т. 1, с. 346—347.

Не мудрено, что крестьяне после встреч с Иванчиным-Писаревым становились «самостоятельными внушителями», сами вели пропаганду. Так, крестьянин д. Маурино М. Зубов распространял революционную литературу и «сильно ругал царя»¹.

Сам Иванчин-Писарев в рассказах «Внушителя словили» и «О смутном времени на Руси»² засвидетельствовал дружбу пропагандистов с крестьянами. Последний рассказ он закончил сценой деревенского гулянья. Совсем стемнело, когда парни вместе с пропагандистами возвращались домой. У одного парня была гармонь. «Заиграл... Ловок! На все руки человек! Грустно таково выходить стало... Запел:

Не довольно ли вечного горя?
Встанем, братья, повсюду зараз!
От Днепра и до Белого моря,
И Поволжье, и дальний Кавказ,
На воров, на собак — на богатых!
Да на злого Ерилу царя!
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись лучшей жизни заря...

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной...

Да как гаркнет: «Вперед!»...»³.

В Даниловском уезде Ярославской губернии пропагандисты имели исключительный успех. Мы не собираемся выдавать этот эпизод за распространенное, типическое явление. Но такие удачные, плодотворные, основанные на взаимопонимании встречи с народом имели место, и их следует учитывать в летописи народнического движения.

¹ Филиппов Р. В. Из истории народнического движения на первом этапе «хождения в народ» (1863—1874). Петрозаводск, 1967, с. 239.

² Рассказ «Внушителя словили» впервые напечатан в журнале «Работник» (1875, № 11—12, с. 1—4). Рассказ «О смутном времени на Руси. Чтение для народа И. П. Рогова. Произнесено в аудитории Соляного городка». СПб., 1875. С пометой: «Дозволено цензурою. С.-Петербург, 17 апреля 1875 г.» Напечатан в типографии журнала «Вперед!» в Лондоне в 1875 году. Автор рассказа скрылся под псевдонимом И. П. Рогова. Выходные данные и ссылка на цензурное разрешение, как и в других случаях, вымышлены. Оба рассказа перепечатаны в сб. «Агитационная литература русских революционных народников...» (с. 321—375). Цит. по этому изданию.

³ Иванчин-Писарев приводит отрывок из бытовавшей в народе известной «Новой песни» П. Л. Лаврова.

Только в правительственных отчетах и трудах реакционных историков «хождение в народ» могло изображаться как во всех отношениях неудачное, а сама попытка революционеров сблизиться с народом, с крестьянством подвергаться дискредитации. В дореволюционной исторической литературе и в охранительной беллетристике много и охотно рассказывалось о том, как преданный царю и помещику крестьянин непременно ведет растерянного пропагандиста к становому. Но «хождение в народ» нередко приводило к другим результатам, когда крестьяне не только слушали пропагандистов, но и пытались спасти их от преследований. Об одном из таких случаев повествуется в рассказе Иванчина-Писарева «Внушителя словили».

Многие документы эпохи, очевидно, до нас не дошли, не сохранились. Но то, что попало на страницы воспоминаний самих участников движения и в материалы следственных дел, должно быть объективно изучено и прокомментировано. Иногда в них можно найти весьма ценные и яркие свидетельства о героической и плодотворной деятельности революционных пропагандистов в деревне. Ограничимся одним примером. События происходят в Оренбургской губернии, где действует М. Д. Муравский. «Дед Митрофан», как Муравского звали в дружеской среде, имел богатую политическую биографию. В 60-е годы он был активным участником харьковского революционного кружка, его несколько раз арестовывали и ссылали, но он и в ссылке не прекращал борьбы, продолжал заниматься конспиративной деятельностью. Его переводили с места на место и наконец отправили на каторгу в Сибирь, где ему пришлось провести несколько лет. После этого старый народник появляется в Оренбургской губернии и опять как поднадзорный, человек, опасный для самодержавия. Здесь, в Оренбургской губернии, неутомимый Муравский устанавливает связи с революционной молодежью, сам идет в народ. Вот несколько выписок из показаний оренбургских крестьян о Муравском, путешествовавшем по Белебеевскому и Челябинскому уездам:

В д. Кармолки Муравский «пел песни при народе». «В с. Слонове оставался один день, который провел в доме крестьянина Никифора Шинкарева. Муравский рассказывал Шинкареву о том, что во многих будто бы местах крестьяне выгнали своих священников и совершенно отказались от них». «Оставался (в д. Соболево. — В. Б.) в доме крестьянки Ульяны Матвеевой. Вечером что-то читал, но Матвеева не помнит, что именно. Одно, что осталось у ней

в памяти, это как жилось крестьянам у помещиков». В д. Сосновка «чтение происходило при собрании крестьян». По показаниям крестьян, Муравский читал «Сказку о четырех братьях». Более развитые крестьяне — Матвей Беднеев и Гавриил Цыганов — «получили в знак памяти: первый — „Сказку о четырех братьях“, второй — „Историю одного французского крестьянина“». Крестьянин Григорий Тимофеев из с. Куроедово свидетельствовал о пении «возмутительных песен Акимовым, Орловым и Муравским в кабаке». «Муравский заходил в кабак и уверял сидельца, отставного солдата Алексея Болдина, что новая воинская повинность будет для крестьян тяжелее прежней и что начальство теперь сожмет народ». Петр Марсов, воспитанник уфимской семинарии, тогда же, осенью 1874 года, показывал: «Замечу при этом, что когда Муравский и Орлов были у Акимова (учителя сельской школы с. Куроедово.— В. Б.), то они ходили в кабак и там пели песни преступного содержания, и одна из них очень нравилась крестьянам»¹.

Приведенные выдержки из показаний красноречиво говорят сами за себя. Муравский пел революционные песни, и крестьянам они нравились. Остается выяснить: какие же это были песни? Волостной писарь Капитон Попов «видел у Муравского чемодан с книгами, как ему казалось, с пуд весом»². Пропагандист даже за провоз расплачивался этими книгами. Семинарист Петр Марсов утверждает, что только «Сказку о четырех братьях» «решено было выписать 100 экземпляров для раздачи в Оренбургской губернии»³. Муравский возил с собой также и «Песенник». Теперь послушаем самого Муравского. Нужно учитывать, что это был опытный конспиратор, прошедший каторгу и ссылку. В показаниях от 17 сентября 1874 года Муравский пытался выдать обнаруженные у него при аресте книги за случайную находку:

«В конце июня м-ца я с разрешения полиции переселился на жизнь в Челябину для удобства и дешевизны жизни. В Челябину прибыл 26 августа. Шел до Челябины пешком... Был обыскан и арестован капитаном Никулиным 11 сентября. Взятые у меня книги «Песенник», «Летопись народного движения», «История одного французского крестьянина» и «Что делается на родине» я нашел на

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 229, лл. 156 и об., 157, 175.

² Там же, л. 157.

³ Там же, л. 280 об.

дороге в лесу, верстах в 2-х от Челябины, в тот день, как был арестован, почему даже не успел их прочесть. Остальные записки мои и составляют или собственные мои сочинения, или выписки из газет и журналов»¹. Но вот среди бумаг, написанных рукой Муравского, были обнаружены революционные песни «Ах ты, сукин сын, проклятый становой!..» и «Эх, товарищи любезны...». Муравскому не оставалось ничего иного, как придумать еще более неправдоподобную историю. Он продолжал фантазировать и в показаниях от 2 октября:

«На стр. 7 и 8 помещены две нецензурные противоположительственные песни «Ах ты, сукин сын, проклятый становой» и «Эх, товарищи любезны»; в первый раз я услышал их, кажется, в 1862 г. в Оренбурге от офицера Булгарина, который говорил мне, что он их автор; он теперь умер. Потом как-то вскользь слышал их в Сибири от гражданских арестантов. Содержание этих стихотворений, их пошлый тон, их литературная безграмотность, по моему мнению, в человеке сколько-нибудь здоровом ничего не могут возбудить, кроме сострадания к их автору, и, будучи распространяемы в публике, разумеется, не достигают цели, которой, по-видимому, задался автор. По поводу их я хотел написать заметку, в которой думал выставить на вид несостоятельность наших революционных агитаторов, которые своей деятельностью, своими приемами достигают результатов прямо противоположных. Эта заметка должна была послужить одним из материалов для задуманной мной повести, в которой, основываясь на своем собственном опыте и на примере своих товарищей, хотел шаг за шагом проследить и разъяснить причины, приводящие молодых людей к ложному мирозерцанию. Чтобы эту заметку составить лучше, мне необходимо было иметь перед собою эти стихотворения, а так как я начал уже их забывать, то, чтобы не забыть окончательно, постарался возобновить в памяти и записал: я держал их только для себя одного, никому не показывая и не читая»².

То, что Муравский читал нелегальные книжки крестьянам и распевал революционные песни, следствием и судом было установлено и доказано. Что касается «задуманной повести» о революционных пропагандистах, то Муравский такой повести не написал, не успел ее написать. Но если бы повесть была им написана, нет никаких сомнений в том, что

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 229, л. 113.

² Там же, л. 143.

она была бы посвящена не разоблачениям, а защите пропагандистов. По процессу «193-х» он был приговорен к десяти годам каторги и умер в 1879 году, вскоре после окончания суда над революционными народниками. Однако в годы предварительного заключения Муравский написал стихотворения, которые появились в известном сборнике «Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенных по политическим причинам в период 1873—1877 гг., осужденных и ожидающих „суда“». (Женева, 1877). Когда Муравскому стало ясно, что оренбургский кружок пал, начались массовые аресты и от суда не уйти, он перешел к смелой самозащите, к разоблачению тех, кто снова готовит расправу над революционной молодежью. На вопрос генерала Житкова, производившего дознание, о распространении среди местных жителей идей «социализма и коммунизма» он отвечал: «...Глушь и легковерие требуются для успешного распространения чего-нибудь вроде, например, сказки о Жар-птице; для успехов же социализма требуется не легковерие и не глушь, а эксплуатация и пролетариат»¹. Генералу Житкову Муравский посвятил стихотворение «Кто? (Из классического поэта Пиндара)»:

Кто всем дознаьем заправляет?
Кто веру и царя спасает
И множество иных основ?
Жандармский генерал Жидков.

Кто наловил пропагандистов,
Искоренил социалистов,
Пресек распушенность умов?
Жандармский генерал Жидков...²

Еще более замечательным поэтическим документом эпохи «хождения в народ» является стихотворение «Из 1874 года», в котором Муравский с исключительной теплотой отзывается о крестьянах и революционной интеллигенции, верно служившей народу:

Паспорт, котомка,
Дюжина с лишним «изданий»...
Крепкие ноги...
Множество планов, мечтаний.

¹ См.: Ф и л и п п о в Р. В. Из истории народнического движения..., с. 247.

² Полный текст стихотворения приводится в кн.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века, с. 360—361.

Нивы, покосы,
Светлые виды, приволье...
Тракты глухие...
В хатах мужичьих бездолье.

Но в хате каждой
«Страннику» хлеб-соль готова...
С жадностью люди
Слушают равенства слово.

В селах жандармы,
Штрафы, оброки, поборы...
«Быть, братцы, бунту!» —
Слышно кой-где в разговоре.

Добрая почва:
Семя тут ладно упало...
Ну-ка, что дальше?
Пашни еще ведь не мало.

Это и есть канва ненаписанной повести. Муравский был настоящим пропагандистом, неутомимым защитником народа, личностью исключительно героической и талантливой. О нем, как и о многих других забытых ныне деятелях революционного прошлого, нужно писать не только исследовательские статьи, но и книги в серии «Жизнь замечательных людей»¹. В мемуарной литературе участники «хождения в народ» вспоминают о М. Д. Муравском с огромным уважением. Вот его портрет, набросанный С. С. Синегубом:

«По всему своему душевному складу это был непримиримый враг всякого насилия и всякого неравенства, серьезный и беззаветный друг всех угнетенных... Мало он видел радости в своей жизни, мало пожил он и на воле. Со студенческой скамьи он попал в каторжные работы и был в Сибири в одной каторжной тюрьме с Чернышевским. Лет тридцати пяти — шести он, хотя и был поселенцем, с разрешения начальства вернулся в Россию, к матери, в Уфимскую губернию, но не более как через год был снова арестован. Отсидев в одиночке около 4 лет, он по процессу 193-х был приговорен к каторге, и хотя суд ходатайствовал о замене десятилетней каторги ссылкой на поселение в отдаленные места Сибири, царь ходатайства не уважил. Это обстоятельство лишало деда всякой надежды на близкую возможность быть на свободе, и, как показалось мне и Вол-

¹ За время, прошедшее с момента выпуска настоящей книги, появились работы — научные и научно-популярные, посвященные революционным народникам. Так, может быть названа книга: Дальцева М. Счастливый Кит. Повесть о Сергее Степняке-Кравчинском. М., 1979 (Серия: Пламенные революционеры). — *Ред.*

ховскому, дед после объявления приговора в окончательной форме заскорбел, заскорбел про себя, не выдав этой скорби ни перед кем из людей ни одним словом,— и только похудел дед сильнее, и грустные глаза его стали еще скорбнее. Да, такой приговор оказался для него смертным приговором,— он централки не вынес и умер, не выдав больше и призрака свободы.

Мало знал он воли, но все минуты своей недолгой свободы он отдал всецело на служение народу. Но и в стенах тюрьмы он был в числе тех элементов, которые спасают души заключенных от пагубного действия долговременных мук тюрьмы, поддерживают в них способность борьбы с нравственными и физическими пытками, которым подвергают их проклятые палачи.

Дед был источником энергии в тюрьме...

Если бы таких людей, как дед, Волховский, Мышкин, не было среди плененных борцов за освобождение родины, плененные не вынесли бы гнета и, что всего важнее, под их влиянием плененные не переставали быть борцами даже в тюрьме. Эти люди были конденсаторами боевой энергии, без них энергия боевой плененной массы неизбежно иссякла бы под давлением неволи и тоски. Они охраняли душу живу в гонимых и терзаемых борцах за освобождение родины.

Да будет же светла память о них!»¹

Среди самых видных деятелей Большого общества пропаганды мы видим одаренных поэтов. Сергей Синегуб, Дмитрий Клеменц и Феликс Волховской вошли в историю русской гражданской поэзии главным образом как тюремные поэты, создавшие свои наиболее значительные произведения в Петропавловской крепости и на каторге. Но они же были певцами «хождения в народ», поэтами-пропагандистами, учившими фабричных и крестьян понимать революционную поэзию.

Сергей Синегуб, самый популярный среди поэтов-народников 70-х годов, был арестован осенью 1873 года, когда только еще начиналось «хождение в народ». Среди бумаг, захваченных жандармами у петербургских рабочих, обучавшихся в кружке, где вели занятия Синегуб и Крав-

¹ Синегуб С. Записки чайковца, с. 213—215.

чинский, были обнаружены не только поэмы-былины об Илье Муромце и Степане Разине, но и несколько революционных стихотворений, автором которых был Синегуб. Одно из таких стихотворений, названное «К рабочему народу», обращено к трудовому люду, прежде всего к угнетенным русским крестьянам. С фабричными и крестьянами поэт-пропагандист разговаривает на языке поэтического воззвания. Это несколько необычное стихотворение то звучит как народное причитание о тяжелой жизни трудящихся, то набирает энергию, становится громким, почти гимническим. Смелый призыв и зарифмованные лозунги сменяются революционным маршем:

И вот
Народ
Идет!

Этому воззванию Синегуб придавал огромное значение, он долго вынашивал его, стремясь добиться максимальной энергии стиха, соответствия между мятежным содержанием и формой агитационного монолога.

Сергей Синегуб до конца жизни оставался верен традициям революционного прошлого. Защищая в своих письмах гражданское направление в искусстве, в 1904 году он писал П. Ф. Якубовичу: «Когда бог талантом не обидел поэта, сознательное его стремление быть поэтом идейным, быть слугою истины и справедливости таланта его не убьет. Я никак не могу (вместить) — как может идейность помешать человеку быть талантливым, как только талант имеется налицо? Эту именно тенденцию, что идейное творчество убивает талант, проповедают и проповедают мракобесы! Ложь ведь это! И не следует им делать никакой уступки! Неправда! Великие поэты, истинные слуги человечества, всегда были идейными, тенденциозными, и для них их идеи и соответствующие этим идеям чувства всегда были дороже всякой художественности, а если художественность и красота их все-таки не покидала, то лишь потому, что и то и другое были стихийными силами их души. Байрон, Гейне, Гёте, Шиллер, Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Мицкевич, Некрасов, — все решительно тенденциозны, не тенденциозны только простодушные»¹.

¹ Цит. по статье: Фролов Г. Спустя полвека. — Литературная Россия, 1963, № 47, 22 ноября.

Л. Э. Шишко в своих воспоминаниях высоко оценивал роль Синегуба как «одного из талантливейших наших пропагандистов, пропагандиста по натуре, пользовавшегося огромным успехом среди фабричных рабочих (...)». Он умел заводить знакомства с рабочими, умел говорить с ними увлекательно и задушевно. Он мог живо и с интересом спорить с рабочими по целым часам о самых разнообразных предметах; он входил в личную психологию каждого из них и в то же время располагал их к себе своею прямою и искренностью. Рабочие любили его и ценили как учителя; вместе с тем он был поэт и написал для них получившие потом большое распространение „Думы ткача“¹.

Во время жандармского налета на квартиру Синегуба за Невской заставой были найдены «крайне революционные, написанные начерно стихи»:

Гей, работники, несите
Топоры, ножи с собой.
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой!
Мы под звуки вольных песен
Уничтожим подлецов...²

Учитывая, что крестьянин с детских лет приобщен к фольклору, пропагандисты-народники решили продолжить прежние опыты в области создания «народной» поэзии. Такая поэзия должна была быть непременно песенной или близкой декламационному стилю, стилю рабочих гимнов и маршей. Отсюда стихотворения, написанные «на голос» народных песен («Дубинушки», «Камаринской», «Барыни», «Здравствуй, милая...», «Ах вы сени...»), «удалые» или «протяжные» песни, продолжающие традиции высокой гражданской поэзии.

Реальное завоевание народнической поэзии на первом этапе «хождения в народ» состояло не в создании фольклоризированных поэм (поэм-былин и поэм-сказок), но той гражданской лирики, которая получила действительно широкое распространение и признание передовой России. В конечном итоге «былины» (или повести в стихах), созданные в подражание фольклорным жанрам, не превратились в устную поэзию крестьян, не оставили глубокого следа ни в народной словесности, ни в литературе, тогда

¹ Шишко Л. Э. Собр. соч., т. 4, с. 212—214. Точное название стихотворения Синегуба — «Дума ткача».

² Синегуб С. Записки чайковца, с. 128.

как стихотворения «Свободушка», «Доля», «Барка», «Дума ткача», «Дума кузнеца» и «Крестьянская песня» запомнились, стали народными песнями и вошли в большую русскую поэзию. Можно даже сказать, что в 1873—1874 годах русская вольнолюбивая поэзия обогатилась новой и вполне самобытной главой, целым циклом стихотворений революционно-народнического содержания.

Очевидно, что ранняя народническая поэзия многим обязана Некрасову, так же как поэзия Некрасова в какой-то степени испытала влияние потаенной поэзии. Воздействие Некрасова обнаруживается во всех стихах о «чаше народного горя», в самом содержании, в структуре стиха, в какой-то особой задушевной напевности, напоминающей раздолбные и грустные народные песни. Вот, например, строки из стихотворения «Свободушка», говорящие о прямом и плодотворном влиянии на его автора музыки «мести и печали»:

...И народ измученный тяжким сном почил.
Только песню длинную тянет да поет,
Со страды-невзгодушки стонет да ревет.
Стонет в зиму лютую в студеной избе,
В мороз по дороженьке в худом армяке.
Стонет в лето жаркое в поле за сохой,
Вдоль по Волге-матушке с длинной бечевой.
Под кнутом, под розгами стонет он в судах,
В горькую рекрутчину — в грязных кабаках.
По торной дороженьке, что в Сибирь ведет,
Под конвоем скованный стонет да бредет.

Но во взволнованной лирике Некрасова и в песнях революционных народников слышится и голос надежды, вера в будущее. Песни и созданы ради этого будущего, их назначение — вселить бодрость в ряды борцов и пробудить крестьянство.

Поэзия эпохи «хождения в народ» самым тесным образом соприкасается с пропагандистской прозой. Одни и те же темы и мотивы проходят через стихотворения, сказки и рассказы, они написаны с одного и того же голоса. Одна из самых популярных песен той поры, перешедшая в наследство к другим поколениям, — «Доля»:

Эх ты доля, моя доля,
Бесталанно горькая!
Ты меня ли, моя доля,
До Сибири довела?

Песня посвящена крестьянину Борунову и поется «на голос»: «Сторона ль моя сторонка...»

В основе стихотворения — устный рассказ о крестьянском ходоке (тема, хорошо известная по пропагандистской прозе), о крестьянине Псковской губернии, защитнике народа во время голода 1870 года. Борунов убеждал крестьян, «чтобы они не платили податей, не слушали начальства», собирался дойти до царя, но был схвачен и посажен в тюрьму¹.

И по царскому велению,
За прошение мужиков,
Его милости плательщик
Сподобился кандалов.

Чтобы не оставалось у крестьян никаких иллюзий относительно царя-освободителя, пропагандисты пишут стихотворение «Разговор царя с народом» («Просьба»), где сами мужики с «просьбою несмелою» обращаются к царю:

М у ж и к и
Доля наша горькая
Да житье бедовое:
Хлеба нет ни крошечки,
Жрем кору сосновую;
Скота много пало,
Земли больно мало,
А оброков много.

Ц а р ь

Потерпи, ребята,
Уповай на бога!

Разговорившиеся мужики напоминают царю и о «многом прочем»: о грабителях-чиновниках, о тяжелой воинской повинности, о земле и воле, в общем — о всех своих «нуждишках». Выслушав крестьян, царь отвечает лаконично, с явным раздражением и скрытой угрозой: «Наткось! Выкуси!» После этого «выкуси» мужикам становится ясно, что единственный выход для них — восстание против царя.

Некрасов прекрасно выразил душевное состояние передовой интеллигенции этих лет в одной строке: «Буря бы грянула, что ли!» Ожидание «бури» проходит через многие стихотворения революционных народников: «Гей, работники, несите...» и «К рабочему народу» Синегуба, «Дума

¹ См. комментарий С. А. Рейсера к этому стихотворению в кн.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века, с. 755—757.

кузнеца» Клеменца, «Барка» (вероятно, коллективно сложенное стихотворение, в создании которого непосредственное участие принимали Клеменц и Синегуб), «Крестьянская песня» Волховского. К решительному действию без всякого промедления призывает «Дума кузнеца»:

Нет! Довольно страдать!
На людей работать!
Кликну я кузнецов!
Пик, ножей накуем,
Пушек, ядер нальем,
И густою толпой
За свой труд вековой
Мы на битву пойдём —
Все вверх дном повернем!

Тех, кто тиранил трудящийся народ, «бил дубиной» и «кормил мякиной», в «Барке» уже ведут на расправу («Покидаем бар мы в воду»). И, наконец, «Крестьянская песня» Волховского зовет к мятежу:

Собирайтесь, ребята, поскорей —
Грянем песню мы крестьянскую дружей!

Та ли песня мать-землицу отберет
И ко всем чертям помещиков пошлет!

Песня мужественная, волевая, рассчитанная на хоровое исполнение («грянем песню»); с такой песней можно было идти в битву, вести за собой массы. «Крестьянская песня», написанная в Петропавловской крепости в 1875 году и тогда же переправленная на волю, стала любимой песней Петра Алексева и его друзей, работавших вместе с ним на фабрике.

Песенный репертуар пропагандистов-народников постоянно расширялся. В него входили песни, перенятые от предшественников и современников (Рылеева и Александра Бестужева, Огарева и Некрасова, Михайлова и Навроцкого), и песни, только что появившиеся в вольной печати, в частности в двухнедельном обозрении «Вперед!». Так, «Новая песня» Лаврова (в журнальной публикации под таким названием) в 1875 году звучала как торжествующий гимн «хождению в народ». П. Л. Лавров, один из выдающихся представителей революционного народничества и редактор журнала «Вперед!», приветствовал молодежь, двинувшуюся в революционный поход:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!

Не случайно эта песня называлась «новой». Новая в том смысле, что в ней прокламируются важнейшие лозунги массового «хождения в народ», называются главные враги «страждущих братий», с которыми необходима неустанная и решительная борьба («Богачи, кулаки жадной сворой... Твоим потом жиреют обжоры»; «Царь-вампир пьет народную кровь!»), прославляется «вольное царство святого труда». В «Новой песне» зафиксированы (и довольно точно) основные центры движения, топография «хождения в народ»: «От Днепра и до Белого моря, И Поволжье, и дальний Кавказ!». В дальнейшем эта народническая «Новая песня» завоевывает огромную популярность, ее, но уже под названием «Марсельеза», поют во время первомайских демонстраций и в революционные дни 1917 года.

Народнические песни и гимны нельзя рассматривать изолированно от более ранних опытов революционной поэзии, предназначавшихся для народа. Следует учитывать и тот факт, что поэзия эпохи «хождения в народ», вобравшая в себя рабоче-крестьянский фольклор, нашла свое продолжение в пролетарской поэзии, в гимнах и маршах Маяковского. Г. Д. Гачев и В. В. Кожинев пишут: «Традиция жанра обладает громадной устойчивостью. Всматриваясь, например, в «Левый марш» Маяковского, мы можем вдруг прозреть в нем очертания древнегреческого воинского марша, спартанского эмбатерия, созданного Тиртеем. Здесь мощная и плодотворная жанровая традиция, и Маяковский предстает как законный наследник всей мировой поэзии». Эта характеристика была бы неполной без учета национальных традиций жанра, идущих от древних победных песен и «Слова о полку Игореве». В работе Г. Д. Гачева и В. В. Кожинова между строк говорится и об этом «домашнем» элементе. Цитируя «Левый марш» (повелительные призывы, воззвания, кличи), авторы напоминают: «Все эти кличи — это перекатывающиеся из одного ряда в другой хоровые мужские подбадривания (как в «Дубинушке»: «Эй, ухнем, еще разик, еще раз»), и своим завораживающим ритмом они, как древние магические заговоры, захватывают душу и сердце, так что изгоняются сомнения и человек всем сердцем и радостно отдает себя в распоряжение набатной воли целого»¹. Той же зажига-

¹ Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964, с. 35.

тельной силой, бодрящим эмоциональным воздействием обладали русские революционные гимны и песни, создававшиеся специально для того, чтобы увлечь крестьян и фабричных на путь борьбы. «Древние магические заговоры», может быть, тут и ни при чем, но фольклорное хоровое начало, удалые и раздолбные народные песни безусловно имеют прямое отношение к волевой и мужественной поэзии «хождения в народ», ко всей гражданской поэзии, особенно трибунной, пропагандистской. Маяковский прекрасно чувствовал социальный оптимизм рабочего фольклора и революционной песенной поэзии, он сам в поэзии возглавил новый поход в народ.

В народнических песнях и сказках, как мы видели, отдельные фольклорные мотивы и образы срастаются с политическим содержанием пропаганды. Некрасов и народники стараются привить фольклору современные политические мотивы, создать массовую, народную политическую поэзию, песни и сказки, которые должны закрепиться в устном бытовании, превратиться в новый фольклор. В этой слитности, нераздельности собственно фольклора и гражданской поэзии, созданной для народа, в этом возросшем влиянии передового общественного сознания на идеологию народа, на его художественное творчество стоит одна из заметных примет времени. Создание революционного «литературного фольклора» явилось крупным завоеванием революционных демократов и народников, решивших начать просвещение народа с революционной пропаганды.

Конечно, пропагандистская литература 70-х годов XIX века выходит далеко за пределы фольклорно-литературных замыслов (проблема стилизации), и не исключительно к крестьянам и фабричным она обращена. Некоторые пропагандистские произведения, хотя и тяготеют к поэтике фольклора, фактически имеют глубокие внутренние связи с социально-экономическими и философскими учениями, с теорией и художественным творчеством социалистов-утопистов.

В России XIX века, только еще вступавшей на путь буржуазных революций, идеи западного утопического социализма (Сен-Симон, Фурье, Оуэн) безусловно сыграли выдающуюся роль в поисках русскими революционерами

социалистического идеала будущего¹. Наименее изученным в истории «русского социализма» оказался период массового «хождения в народ» (1873—1875), когда его участники поставили своей задачей сделать социально-этические утопии достоянием самого народа.

С. М. Степняк-Кравчинский, один из самых талантливых революционных народников, указывает, что социально-этические утопии Сен-Симона, Фурье, Оуэна и Прудона, как и других «социалистов старой школы», в России имели «блестящих популяризаторов» и последователей, учитывавших своеобразие национального развития и сложность крестьянской проблемы². Здесь нужно особенно отметить значение Герцена и Чернышевского, их теории крестьянского социализма — крестьянского по характеру экономических воззрений, взглядов на общинное землевладение, по определению задач освободительной борьбы. Об экономической сущности русского утопического социализма писал А. И. Герцен в статье «Порядок существует»: «Мы *русским социализмом* называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления,— и идет вместе с рабочей артелью навстречу той экономической *справедливости*, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука»³. Всех социалистов-утопистов объединяют поиски будущего социального строя, при котором исчезнут эксплуатация, насилие, нищета. Но далеко не все социалисты-утописты стояли на позициях революционного преобразования действительности. «В сенсимонизме,— писал Чернышевский,— элемент, собственно называющийся социализмом, был еще под владичеством стремлений, принадлежащих не экономической жизни, а так называемой жизни сердца» (9, 829). Роберт Оуэн и Фурье были не столь сентиментальны, но и они рассчитывали на мирное преобразование общественных отношений, прежде всего на исправление человеческих нравов.

¹ Существует обширная литература о влиянии западноевропейского утопического социализма на «русский социализм». Этой теме посвящен, в частности, коллективный труд, выпущенный Институтом русской литературы АН СССР под редакцией Н. И. Пруцкова: *Идеи социализма в русской классической литературе*. Л., 1969.

² Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия.— Соч., т. I. М., 1958, с. 374.

³ Герцен А. И. Собр. соч., т. 19, с. 193.

Однако социалистическая утопия содержала не только несбыточные мечты и беспочвенную романтику. Ф. Энгельс в работе «Развитие социализма от утопии к науке» указывал, что в фантазмагориях Фурье, Оуэна и Сен-Симона содержатся «зародыши» здравого смысла и даже «гениальные мысли». Защищая утопических социалистов от «литературных лавочников», считавших сенсимонизм и фурьеризм пустым сумасбродством, Энгельс писал: «Нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли, которых не видят эти филистеры»¹. В русских социалистических утопиях этот здравый смысл выступает особенно отчетливо в связи с решением крестьянского вопроса и проблемы демократической народности. В них отражены элементы «живой реальности», мечты народа о социальной справедливости. «Созидательные планы народников — утопия. Но в их созидательных планах, — говорил В. И. Ленин, — есть элемент разрушительный по отношению к средневековью. А этот элемент совсем не утопия. Это — самая живая реальность»².

Одним из важнейших аспектов в изучении «русского социализма» является проверка социально-этических утопий народным мировоззрением, фольклорным материалом. Народные сказки и легенды, толки и слухи, отражающие крестьянские представления об «обетованной земле», как бы участвуют вместе с идеями западноевропейского утопического социализма в становлении и развитии собственно русских утопических концепций. Очень важно проследить взаимоотношения литературы с фольклором именно в этом смысле, то есть сверить социалистические утопии с народными чаяниями и представлениями.

В силу своей жанровой природы особенно волшебная сказка открывала широкий доступ мечте, фантастике, фольклорному романтизму. Приключения сказочных героев, сопровождаемые нравственным осуждением зла и насилия, завершаются, после преодоления всевозможных преград и препятствий, торжеством правды и утверждением «крестьянского царства».

Г. В. Плеханов справедливо указывал, что «царь, существующий в народном понятии, и царь, сидящий на русском престоле», не похожи друг на друга: «народный царь» — не «восточный деспот», а своеобразный реформа-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 194.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 386.

тор, действующий в интересах крестьян. В народных волшебных-героических сказках, изображающих некое царство с Иваном-царевичем во главе, действует именно такой царь, «царь, существующий в народном понятии», а не царь из фамилии Романовых, не самодержец, сидящий на престоле, обогранный народной кровью. Народные сказки выражают давний протест против помещиков и попов, но еще благоговеют перед царем, перед царским авторитетом. Однако и в них содержится скрытое недовольство официальной царской властью, недоверие к ней. В сказках возводится на престол простой мужик, крестьянский сын, который в финале устраивает в царских чертогах «пир на весь мир». Фантастический сюжет прикрывает вполне реальные помыслы крестьян, их страстное желание стать полновластными хозяевами земли, вольными и зажиточными. Тот факт, что сказочный герой сам становится королевичем или царевичем, свидетельствует лишь о позитивной ограниченности фольклора, об элементарности положительных идеалов и трудностях художественной интерпретации этих идеалов. Не имея в своем распоряжении ничего более подходящего, типично крестьянского, сказка заимствует праздничные декорации у правящих классов, переносит своих крестьянских героев в царские дворцы, обручает крестьянского сына с дочерью царя, ставит яства на столы. Но крестьянин остается крестьянином, он не изменяет своим практическим идеалам, восседает на престоле как представитель общины, мнимый царь, которому всего дороже вернуться обратно в деревню, но уже с охранной грамотой, вольным и богатым. Сказочный герой ищет в первую очередь воли для себя и уже потом для других, столь же униженных, но тоже мечтающих о лучшей жизни.

В волшебных-героических сказках и в народных легендах мы видим художественное воплощение народных легенд об обетованной земле, о молочных реках и кисельных берегах¹. Фольклору свойствен романтизм, свойственна фантастика, граничащая с социальными утопиями. Можно утверждать, что волшебных-героических сказка в какой-то степени является предшественницей романа, в частности — социально-утопического. Не читая Томаса Мора, Кампанеллу и Фурье, народ по-своему решал проблему счастливого будущего. Фольклору, особенно волшебным-

¹ См.: Чистов К. В. и Аникин М. К. Национальные истоки социально-утопических идей. — В кн.: Иден социализма в русской классической литературе, гл. 1, с. 23—61.

героической сказке, в значительной мере свойствен наивный оптимизм — вера в счастливые случайные обстоятельства, в волшебных помощников, в удачу и успехи избранного героя (Ивана-дурака), вступающего в борьбу с чудовищем один на один. Мечта о счастливой жизни в фольклоре еще не есть осознанная необходимость. Это восхождение к социально-этической утопии (ее стихийное предчувствие) через толщу традиционных предрассудков (вера в царя, неподготовленность к полному отрицанию царской власти). В волшебных сказках, как и в легендах, сохраняется мужицкая патриархальность, слишком элементарное понимание народного счастья и путей его достижения. В сказочных хрустальных дворцах все делается «по шучьему велению». Сказке явно не хватает политической сознательности и социальной активности, она всегда надеется на благодетельное вмешательство волшебства или на повеление всемогущего бога. Не случайно в сказках типа «Правда и Кривда» слепая Правда приходит к выводу: «Надо жить по-божьи, как бог велит». Фольклорная утопия поражает своим эпикурейством, беспечностью, крайне односторонним восприятием радостей жизни.

Если жизнь при крепостном праве и после реформы 1861 года — тяжелый труд, вечные унижения, бедствия и нищета, то в «ином царстве» с утра до самой ночи гремит веселье. Трудовые процессы, повседневная, прозаическая жизнь вытеснены празднествами и пирами. Все подчинено стихийному разгулу, вырвавшемуся на свободу. В одной из народных утопий XVII века, в «Сказании о роскошном житии и веселии», идеальное будущее представляется как сплошной безоблачный праздник:

«И кроме там радостей и веселья, песень, танцованья и всяких игр, плясанья, никакия печали не бывает. Тамошняя музыка за сто миль слышать. Аще кому про тамошней покой и веселье сказывать начнешь, никако ничто тому веры не пойме, покамест сам увидит и услышит...

...А кто-либо охотник и пьян напьется, ино ему спать довольно ништо не помешает; там уславы постели многия, перины мяккия пуховыя, изголовья, подушки и одеяла. А похмельным людям также готово похмельных ядей соленых, капусты великия чаны, огурцов и рыжиков, и грушей, и редки, чесноку, луку и всякия похмельныя ястывы.

Да там же есть озеро недобре велико, исполненно вина двойнова. И кто хочет, испивай, не бойся, хотя вдруг по две чаши. Да тут же близко пруд меду. И тут всяк пришед хотя

ковшем или ставцом, припадкою или горьстью, бог в помощь, напивайся. Да близко ж тово целое болото пива. И ту всяк пришед пей да и на голову лей, коня своего мой да и сам купайся, и ништо не оговорит, ни слова молвит. Там бо того много, а все самородно: всяк там пей и ежь в свою волю, и спи довольно, и прохладжайся любовно»¹.

Сказочный сюжет поисков «инога царства», сулящего материальное богатство, землю и волю, становится достоянием почти всех народнических потаенных произведений, созданных для крестьян, обращенных к крестьянской аудитории. Выступая в фольклорных одеждах, в стилизованных былинно-сказочных образах, народническая социалистическая утопия («ряженная литература») одновременно и спорит с фольклором, с его царистскими иллюзиями, с ограниченностью самого идеала.

Конечно, и сами революционеры-пропагандисты остаются на позициях исторического идеализма, они стремятся перешагнуть через капитализм, избежать новых, связанных с ним социальных противоречий, пауперизации крестьянства. Отсюда в их утопиях прямой переход из современной деревни в воображаемую социалистическую общину. «В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание...»² Русские социалисты-утописты, считаясь с крестьянской психологией и традициями народного быта, сознательно «окрестьянивают» западноевропейскую теорию утопического социализма. Они вносят в фаланстер типично деревенскую обстановку, иногда даже слишком приземляют утопию, совсем по-крестьянски рисуют внешнюю и внутреннюю жизнь при новых общественных отношениях.

Всего легче было посулить крестьянам материальное благополучие, безбедное существование, беззаботное житье. Так, П. Н. Ткачев в 1874 году в статье, предназначенной для распространения в народе, рисовал идеальную жизнь крестьянина по образу и подобию фольклорно-сказочной утопии: «И зажил бы мужичок припеваючи, зажил бы жизнью развеселою <...> не медными грошами, а червонцами золотыми мошна бы его была полна. Скотины всякой да птицы домашней у него и счету не было бы. За столом у него мяса всякие, да пироги именинные, да вина сладкие от зари до зари не снимались бы. И ел бы и пил бы он сколько в брюхо влезет, а работал бы сколько сам захо-

¹ Русская демократическая сатира XVII века. М. — Л., 1954, с. 41.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

чет. И никто бы и ни в чем неволить его не смел: хошь — ешь, хошь — на печи лежи... Распречудесное житье!»¹

Однако такой слишком утилитарный подход к изображению будущего был тогда же признан односторонним и даже вредным. Статья Ткачева, по словам П. Л. Лаврова, вызвала «всеобщее возмущение» сотрудников «Вперед!». Вместо трудовой жизни и справедливого общественного строя Ткачев живописал «животные страсти к золотым червонцам, к именованным пирогам, к сладким винам и к лежанию на печи». Вместо трудовой общины — «картина обжорства, бездельничества»².

Идеальную жизнь крестьянин не мыслил без материального благополучия, но существовали еще трудовые, производственные, экономические и чисто нравственные проблемы. В несколько лубочной картине зажиточной жизни крестьянина, нарисованной Ткачевым, отсутствовал трудящийся, борющийся крестьянин. У Ткачева получалось совсем как в «Сказании о роскошном житии и веселии» или как в народной сказке «Хитрая наука», где старуха мечтает «отдать сына в такую науку, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить и чисто ходить». Революционные народники создают свою «Хитрую механику» (так называется одна из популярных «народных книг»), в которой содержится резкое разоблачение крепостнической и буржуазной системы. Только после падения самодержавия, доказывается в книге, наступит для народа счастливое время, не имеющее ничего общего с обжорством и тунеядством. «...Чтобы не было твоего али моего, а все было бы общее, братское, чтобы и трудился-то всякий не так, как теперь, только для себя одного, а со всеми сообща, каждый по своей силушке, а брал бы — сколько каждому нужно, ни больше ни меньше, чтобы ни у кого ни излишества, ни недостатка не было»³.

Как непохожи эти два проекта будущего — у Ткачева (и в сказке «Хитрая наука») и в «Хитрой механике». Понятно, что революционные пропагандисты, взявшиеся за распространение социалистических идей в крестьянской

¹ Ткачев П. Задачи революционной пропаганды в России (1874). Цит. по кн.: Лавров П. Л. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг., изд. 2-е, испр. Л., 1925, с. 147.

² Отзыв о статье Ткачева опубликован в названной книге П. Л. Лаврова.

³ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 173.

массе, не могли согласиться ни с Ткачевым¹, ни с фольклорной «хитрой наукой». Пропагандистская литература прославляла социальное равенство и трудящегося человека. По словам В. И. Ленина, «идея о равенстве» является самой революционной для крестьянского движения. Эту идею и пытались реализовать в своих социалистических утопиях народники, создавая с этой целью сказки, соприкасающиеся с народными волшебными сказками и легендами, но только соприкасающиеся, так как в лучших своих произведениях пропагандисты-народники будущую вольную жизнь не мыслили вне революционного изменения действительности и уничтожения всех остатков крепостничества.

Как уже говорилось, на формирование социалистических идеалов революционных народников оказала воздействие западноевропейская утопическая литература. Но влияние это не следует переоценивать². В отличие от Сисмонди, утопии которого, по словам В. И. Ленина, «не предвосхищали будущего, а реставрировали прошлое», революционные народники в своих утопиях в какой-то степени предвосхищали это будущее, учитывали учение Оуэна и Фурье, а также «теорию трудящихся» Чернышев-

¹ Если революционные народники 70-х годов явно преувеличивали социалистические стремления крестьянства и его подготовленность к восприятию революционных идей, то Ткачев столь же явно недооценивал роль народных масс в социальной революции, все надежды возлагал на революционное меньшинство. В 1876 году в статье «Народ и революция» (Набат, № 4) он развенчивал романтическое представление народников о крестьянстве и одновременно впадал в бланкизм, отстраняя народ от участия в революции. Приведем характерную выдержку из этой статьи: «Мы должны раз навсегда вычеркнуть из своего словаря пошлые и бессмысленные фразы о каком-то народном гении, фразы, взятые нами напрокат у реакционеров-славянофилов. Мы не должны, мы не имеем права возлагать на народ чересчур больших надежд и упований. Нечего говорить глупости, будто народ, «предоставленный самому себе», может осуществить социальную революцию, может сам наилучшим образом устроить свою судьбу (...). Ни в настоящем, ни в будущем народ, сам себе предоставленный, не в силах осуществить социальной революции. Только мы, революционное меньшинство, можем это сделать, и мы должны это сделать как можно скорее».

² Народолюбец М. Ф. Грачевский писал об эпохе 70-х годов XIX века: «До боли в сердце горько становится при воспоминании об упреках, которые бросают в лицо русским революционерам в том, что они набрались «своих» фантазий и утопий на Западе, что оттуда они вывезли идеи о необходимости борьбы труда с капиталом и поддерживающей его властью, что они «вычитали»... Мне дала эти идеи как выводы, путем навязчивых дум, бессонных ночей, путем глубоких нравственных страданий сама русская жизнь, она наталкивала меня на эти выводы...» (Автобиографические показания М. Ф. Грачевского. — Красный архив, 1926, № 5, с. 155).

ского. Лучшие народнические сказки и рассказы прокламируют социалистическое будущее с учетом развивающейся действительности, технических и научных достижений. Они отнюдь не призывают к сохранению патриархальных отношений, пережиточных явлений, консервативных крестьянских привычек. И, пожалуй, самое существенное в социально-утопических произведениях 70-х годов состоит в признании необходимости и прославлении крестьянской революции, в развенчании всяких надежд на мирное завоевание социализма. Страдающее от пережитков крепостничества русское крестьянство было в то время единственной социальной силой, способной участвовать в революционном движении, в осуществлении практических шагов социальной программы. Народнические утопии учитывают стихийную крестьянскую революционность, народные толки и слухи о воле, соотносятся с крестьянскими настроениями. В народнических сказках и былинах содержались не только беспочвенные утопические мечтания, идеализация общинного уклада крестьянской жизни, ибо сами утопии носили исторически прогрессивный характер, в них было немало реальных и позитивных элементов.

Среди писателей-пропагандистов, создававших нелегальные «народные книги», не было выдающихся художников, но все же некоторые из них оставили заметный след в истории русской гражданской литературы. Самым оперативным и емким жанром пропагандистской литературы, способным отражать социально-этические утопии, оказалась сказка. Большая заслуга в создании особого типа литературной сказки принадлежит С. М. Кравчинскому. В отличие от забытых и полузабытых пропагандистских произведений 70-х годов, сказки Кравчинского не раз привлекали внимание литературоведов и историков русской общественной мысли¹. Народнические пропагандистские сказки никак нельзя относить к примитивным и торопливым фольклорным стилизациям, «беллетризированным подделкам», не имеющим идейной и художественной

¹ См.: Шапов Д. Н. Пропагандистские сказки С. М. Степняка-Кравчинского. — В кн.: Русская литература. Серия филологическая, вып. XVIII. Горький, 1958, с. 84; Бушмин А. Сказки Салтыкова-Щедрина. М. — Л., 1960, с. 73.

ценности. Отдавая должное изумительному мастерству Салтыкова-Щедрина как автора сказок, В. А. Десницкий справедливо включает народническую пропагандистскую сказку в большую историю этого литературного жанра, имея при этом в виду, что сам жанр (в данном случае специальная его разновидность — нелегальная пропагандистская сказка) нуждается не только в генетическом изучении, но изучать его нужно и в «его функции, в той социальной роли, возможности которой заключены в самом произведении»¹. Принимая во внимание социальную функцию пропагандистской сказки, Десницкий делает совершенно верный вывод о различиях и единстве творческого процесса в пределах одного жанра. «Сказка Щедрина — революционно-пропагандистская сказка, созданная в атмосфере народнического движения. На народную сказку она ориентирована, как и нелегальная пропагандистская сказка, социальной потребностью воздействия на читателя и слушателя. Ее отличие от нелегальной — максимальная «нелегальность» в условиях легальности и своеобразное — щедринское — понимание задач и пропагандистских возможностей «сказки» в зависимости от состава читательской среды»². Сказки Щедрина предназначались для грамотной России, передовой интеллигенции, особо догадливого читателя, тогда как пропагандистские сказки революционных народников писались в основном для крестьян и фабричных, для массового распространения в народной среде, свыкшейся с эстетикой фольклора. Это немаловажное обстоятельство (к кому обращено то или иное произведение, для кого оно предназначено) нельзя игнорировать. Бесспорно, что литературное дарование Степняка-Кравчинского не идет ни в какое сравнение с огромным талантом Салтыкова-Щедрина. Однако при сопоставлении сказок того и другого нельзя исходить из одного лишь мерила таланта и мастерства. Приходится считаться и с тем обстоятельством, что пропагандистская сказка существовала до Щедрина и в какой-то мере великий реалист был обязан незаметным на первый взгляд писателям-пропагандистам. История литературы знает подобные факты: «Плач холопов» воодушевил К. Рылеева и А. Бестужева на создание знаменитой песни «Ах, тошно мне и в родной стороне...». В революционно-пропагандистской литературе проблема преемственности является

¹ Десницкий В. На литературные темы, кн. 2, с. 492.

² Там же, с. 495—496.

исключительно актуальной. Здесь традиционализм предусмотрен самой природой развития революционных идей в России, их взаимопроникновением, историей политического сознания, общей борьбой с крепостничеством и абсолютизмом.

Рассматривая пропагандистскую сказку, В. А. Десницкий отмечает ее ориентацию на народную сказку, большую или меньшую близость к фольклору; у Степняка-Кравчинского эта близость ощущается постоянно, в сюжете и в лексике, в прямых заимствованиях, у Щедрина дело обстоит сложнее. «Но в строе речи каждого жанра,— пишет В. А. Десницкий,— есть своего рода внутренняя логика, и поэтому щедринские сказки неизмеримо ближе к сказкам народным, чем сказки Степняка, поскольку сказки Щедрина выражают стремление автора к крепкому жанровому образованию, скованному стилистическим единством и строгой экономией содержания. Этой экономии в сказках Степняка мы не найдем; под покровом внешне-стилистической «сказочности» Степняк, в сущности, дает народнический курс политической экономии, государственного права, философии и морали»¹.

В. А. Десницкий не занимался специально изучением сказок Степняка-Кравчинского, однако замечания его об основном различии сказок Щедрина и Кравчинского совершенно справедливы. У Кравчинского — внешняя, стилизаторская «сказочность», но за подражанием фольклору у него всегда скрывается революционная пропаганда. Под личиной народного сказочника выступает пропагандист и оратор, социалист-утопист и крестьянский революционер.

Сам факт обращения к фольклорной поэтике мало о чем говорит. К фольклору и этнографии часто обращались писатели, чьи взгляды и творчество были весьма далеки от передовых идей эпохи и истинной народности. У Кравчинского и других авторов пропагандистских сказок было свое отношение к фольклорному материалу. Народные сказки помогают им создать сюжет, двигать фабулу, обогащают язык. Однако поиски самой правды, путей к будущему всегда ведутся с фонарем истории и революционной теории. Пропагандистская сказка многое берет от волшебной сказки, широко использует народные пословицы и поговорки, но наполняет традиционные сюжетные схемы демократическим, социалистическим содержанием.

¹ Десницкий В. А. На литературные темы, кн. 2, с. 498.

Мы уже говорили, что и сама фольклорная стилизация представляет собой довольно сложное и противоречивое идейно-эстетическое явление, которое нуждается в историко-литературном объяснении. Что касается сказок Кравчинского, как и некоторых других («Дедушка Егор, «Сказка о четырех братьях», «Бог-то бог, да сам не будь плох»), то о них нельзя судить по фольклорным зачинам и концовкам, по отдельным фрагментам, вырванным из общего повествования, а нужно рассматривать их стиль и сюжет в совокупности всех конструктивных элементов, иметь в виду всю композицию.

Одна из особенностей сказок Кравчинского состоит в их открытой стилевой и образно-логической двуплановости. Соответственно заранее поставленному пропагандистскому заданию организуется все повествование, стиль и язык сказок. Можно сказать, что в наиболее сложных по своему идейному и художественному составу сказках — «Сказка о копейке» и «Мудрица Наумовна» — объединены два стилистических ряда. Первый — сюжетно переосмысленный — идет из фольклора; второй стилистический ряд появляется из потребности поднять сказку на уровень пропагандистского программного документа. Сказочная обрядность и фольклорная фразеология приспособляются к политическому содержанию пропаганды, в результате чего сказка принимает на себя функции и прокламации и социально-экономического трактата. Сказки Кравчинского в процессе их «живого» бытования, при чтении крестьянам и фабричным, могли варьироваться, приобретать более фольклорные черты или, наоборот, освобождаться от фольклорности, от сказочной условности, выступать на правах своеобразной лекции-беседы, окончательно сближаться с устным рассказом. К тому же сказки Кравчинского не однородны, написаны разным стилем, то нарочито фольклорным, то слишком литературным, с примесью «шиллеровщины», романтической поэтики. Но всех их объединяет революционный пафос, одинаковое отношение к окружающей действительности, повторяющиеся мотивы и образы.

Не следует, однако, думать, что все сказки непременно обращены к народу, что «Мудрица Наумовна», например, предназначалась исключительно для крестьян и фабричных. Учащаяся молодежь тоже нуждалась в пропагандистской литературе, в популярном изложении социалистических идей, в эмоциональном воздействии. Произведения Кравчинского («Из огня да в полымя!», «О Правде и Крив-

де», «Сказка о копейке» и «Мудрица Наумовна») охватывают весь комплекс идей, всю сумму вопросов, выдвинутых эпохой «хождения в народ». Все, над чем пропагандисты постоянно думали, чем собирались поделиться с народом, Кравчинский отчетливо сформулировал, свел в литературную композицию, снабдил необходимым теоретическим комментарием, художественно и публицистически заострил. Сказки Кравчинского потому и приобрели широкую известность, что они сообщали слушателям в обобщенном виде сведения по народной истории, международному рабочему движению, внутреннему состоянию России, разъясняли основы социалистического учения, политической экономии.

Кравчинский был одним из самых образованных деятелей Большого общества пропаганды, историком общественной мысли и политэкономом, авторитетным учителем молодежи. К тому же он был безусловно способным беллетристом и публицистом. В своих пропагандистских произведениях Кравчинский решительно перешел от фольклорной стилизации к научно-фантастической повести, в которой вполне реалистические описания народного экономического быта, крестьянской и фабричной жизни, социальных отношений в эпоху крепостничества и при капитализме, в России и на Западе, соединяются с изображением будущего социалистического общества, с прославлением этого будущего.

У Кравчинского, как и у других революционеров-пропагандистов, был свой остро публицистический подход к фольклору. Фольклор использовался им для создания социально-этических утопий и путешествий в социалистическое будущее. Достаточно, например, напомнить, что в «Сказке о копейке» действует необыкновенная птица, которая переносит мужика через моря и горы в социалистическое общество¹. В отличие от Салтыкова-Щедрина, проявившего особый интерес к зоологическим образам и уподоблениям, к «животному» эпосу, Кравчинский дорожит сказочной фабулой, образами волшебной сказки, неограниченными возможностями сказочного путешествия. Начав «хождение» по родной стране с ознакомления с русской действительностью, с судьбами крестьянства, которого в 1861 году «объегорили» помещики во главе

¹ Сказка о копейке. Сочинение Ф., изд. 2-е. СПб., тип. Сафонова, Б. Подъяческая, № 55, 1870. С пометой: «Дозволено цензурою. С.-Петербург, 6 мая 1870 г.». Издано в типографии кружка «чайковцев» в 1874 году.

с царём, побывав во Владимирской, Тульской и Нижегородской губерниях, в крестьянских избах и на фабриках, Кравчинский в цикле рассказов «Из огня да в полымя!» подводит итоги¹. Итоги эти были совсем безрадостные: «Вот как поделил царь мужиков да помещиков! Земли-то он дал столько, что с нее не прокормишься, да еще за нее же платить велел, и вышла царская воля не подмогой мужику, а тягостью». Иначе говоря: «Старый порядок — это разбойник. Он открыто грабит встречного и поперечного. Теперешний — это жулик. Он оберет тебя до нитки, так что ты и не заметишь и будешь еще кланяться ему».

Кравчинский проявляет повышенный интерес к рабочему вопросу, он постоянно думает «о том, с какой страшной быстротой должны увеличиваться муки народа при теперешнем порядке», то есть при капитализме. Веря в возможность для России миновать «торговые погромы», как он называет конкуренцию и кризисы при капитализме, выбрасывающие рабочего человека на улицу, революционер-народник все надежды возлагает на крестьянскую революцию, на социалистический переворот, который только и может спасти русского рабочего и крестьянина от всех ужасов капиталистического строя. Рассказав о бесправном положении русских рабочих и фабричных, Кравчинский в цикл рассказов «Из огня да в полымя!» включает исторический очерк «Нанимательный порядок у других народов». Для примера он берет наиболее развитую капиталистическую страну. «Я расскажу тебе,— пишет Кравчинский,— только про Англию, потому в ней нанимательный порядок начался всего раньше (...). Только самая малая кучка английских рабочих живет порядочно. Но это скорее ученые, чем работники. Все же настоящие работники это поголовно нищие». Отдельные характеристики и факты, свидетельствующие о непосильном труде и безжалостной эксплуатации английских рабочих, Кравчинский берет из первого тома «Капитала» Маркса. В «Мудрице Наумовне» — тоже Англия, рабочий класс, заводы и фабрики, темные ночлежки и сырые подвалы.

Книга «Капитал» «перенесла меня в Англию,— пишет автор сказки,— она-то показала мне, до каких мук довели богатые английский народ. Но что еще важнее — она показала мне, что так и должно было быть и что так будет

¹ Из огня да в полымя! или Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Сочинение Вас. Маркова. Чтение для народа. Простая механика. СПб., тип. Бахмана по Большой Московской, № 443. Выходные данные вымышлены. Напечатано в типографии журнала «Вперед!» в Лондоне в 1876 году.

повсюду, где есть бедные и богатые. Из этой-то книжки я увидел, что никогда не избавиться народу от своих мук, пока есть над ним хозяева, помещики, цари; что одно только спасение рабочим — это подняться против них, чтобы стереть их с лица земли»¹. В этой же сказке волшебные силы переносят читателя на заседание Брюссельского конгресса I Интернационала, где происходит знакомство с «седовласым старцем» — с Карлом Марксом.

Кравчинский дал прочесть «Мудрицу Наумовну» Глебу Успенскому и очень хотел узнать его мнение о ней. Успенский обнаружил в сказке множество «неудачных аллегорий» и откровенно признался: «Не скажи вы, что в сказке зарыт «Капитал», я не заметил бы следов его... Мне думается, рабочий скорее усвоил бы идеи Маркса, если бы вы прямо изложили их простым языком, не одевая в пышные ризы фантазии.

— Простой народ любит сказки,— возразил Кравчинский.

— Любит-то любит, но любит, чтобы все было на месте, где полагается. Он допустит семь голов на шее, но посадите их на ноги — не одобрит... У Мудрицы Наумовны должно быть две ноги, а у нее — не то четыре, не то восемь. Мудрица бежит по болоту. Бежит она по болоту, ножками перебирает, точно сороконожка какая-то... Ежели у нее были бы две ноги, как у всякой дамы, провалилась бы в воду — и конец! А ваша Мудрица пробежала благополучно, хотя я думаю... все-таки подмочила свои ризы, простудилась, потому что после болота заговорила еще невразумительнее...

— Ну, вы придираетесь, Глеб Иванович! Ведь тут фантазия.

— Не обижайтесь, дорогой мой! Не фантазия, а особая литературная форма, именуемая: «черт знает что!»².

Г. И. Успенский не придирался, строгий реалист не мог простить утомительного резонерства и излишнего аллегоризма³. Но и Кравчинский был по-своему прав: «Ведь

¹ Сказка о Мудрице Наумовне, изд. книгопродавца И. М. Монухина. М., тип. А. Н. Бахметьева, 1875. С пометой: «Дозволено цензурою. Москва, 16 февраля 1875». Напечатана в типографии журнала «Вперед!». Нелегально издавалась также и под другими названиями: «Сказка-говоруха» и «Похождения пошехонцев, удивительные и забавные». Цит. по кн.: Агитационная литература русских революционных народников..., с. 225.

² И в а н ч и н - П и с а р е в А. И. Хождение в народ. М.—Л., 1929, с. 321.

³ В 1880 году Г. И. Успенский писал в «Отечественных записках» о книгах для народа: «Народ потребляет сотни тысяч трехкопеечного

тут фантазия!» Фабула «Мудрицы Наумовны» строится по образу и подобию волшебной сказки. Волшебные помощники (Любаша, старый Наум, Мудрица Наумовна, бабочки) помогают герою в дальних и рискованных путешествиях, они «переносят» его в Англию и в Брюссель, возвращают на родину, ведут в воображаемое «будущее царство». Но и только. Во всем остальном герой действует вполне самостоятельно. Сказка «Мудрица Наумовна» уходит от фольклорной обрядности и становится иносказательной повестью. Иносказание господствует и там, где, на первый взгляд, изображаются события, взятые из жизни, списанные с натуры. Местами Кравчинский как бы по личным впечатлениям изображает быт английского рабочего, рисует страшные картины социальных бедствий. Безработица, каторжный труд на заводах и фабриках, изможденные, изнуренные непосильным трудом дети, фабричные в лохмотьях, измученные работой. «Господи! Что это были за лица! Страшно было смотреть: бледные, худые, со впалыми глазами, посинелыми губами. Точно мертвецы встали из гробов и пришли сюда работать!»

Это были текстильщики и литейщики. Но и в России рабочие и фабричные выглядели не лучше, жили в крайней бедности и работали в невыносимых условиях. Сергей Синегуб годом раньше, в 1873 году, писал в «Думе ткача»:

Кашель проклятый измаял всю грудь мою,
Тоже болят и бока,
Спинушка, ноженьки ноют, сердечные,
Стоять целый день у станка!..

В «Записках чайковца» Синегуб рассказывает о посещении ткацкой фабрики и о творческой истории «Думы ткача»: «Как-то мои друзья ткачи повели меня на фабрику во время работы. Боже мой! Какой это ад! В ткацкой с непривычки нет возможности, за грохотом машин, слышать в двух шагах от человека не только то, что он говорит, но даже, что он кричит. Воздух — невозможный, жара и духота, вонь от людского пота и от масла, которым смазывают станки; от тонкой хлопковой пыли, носящейся в воздухе в ткацком отделении, получается своеобразный вид мглы. И в такой обстановке надо простоять человеку более 10 часов на ногах... Я пробыл на фабрике не более 2 часов

тряпья, в то время как ему нужно самое что ни есть первейшее из произведений ума человеческого, а за ценой, поверьте, он не постоит, раз пробудилась потребность (<...>). Только сильная надежда и сильная потребность найти в книге что-нибудь «для души» заставляют крестьянина вынимать из кошелька трудовые три копейки и отдавать их за ничего не стоящую бумагу» (Отечественные записки, 1880, № 8, с. 254, 256).

и вышел оттуда оцумелый и с головной болью. Это мое посещение фабрики вызвало впоследствии появление на свет моего стихотворения «Дума ткача», получившего потом большое распространение среди молодежи и в особенности среди рабочих»¹.

Изображая рабочую Англию, Кравчинский ни на минуту не выпускает из виду Россию, общие народные судьбы. Английские рабочие организуются в революционный кружок, готовятся к восстанию, произносят на конспиративном собрании горячие речи. Слушаешь Николая, Андрея, Фому, Луку (английские ткачи, литейщики и сезонные рабочие, пришедшие недавно из деревни,— все носят русские имена) и невольно представляешь себе Большое общество пропаганды, петербургские рабочие кружки, где Кравчинскому приходилось не раз участвовать в политических дискуссиях. Вот, например, беседа, которую легко можно было бы перенести на одно из петербургских собраний, проводившихся «чайковцами», или в квартиру Синегуба за Невской заставой:

Н и к о л а й: «Да, мы соединились, чтобы подняться против хозяев и помещиков, которые грабят нас, и против властей, которые защищают их, и мы зовем вас: будьте с нами заодно! Соединимся против врагов наших, чтобы отнять у них землю и все, что добыто нашими трудами и отнято у нас, чтобы отнять у них волю нашу, которой они лишили нас; отнять счастье, до которого они одни не допускают нас».

Ф о м а (выходец из деревни): «От хозяев да помещиков нечего ждать пощады. Но, может быть, царь защитит нас; может быть, он только не знает наших мук, а как узнает, так уймет наших грабителей? Так не послать ли нам к нему ходоков?»

Л у к а: «У меня два сына в ходоках были... До самого царя доходили. Взял бумагу да генералу своему передал. А потом сынов-то моих в острог! И теперь сидят. Вот больше ничем и не послужили миру честному. Нечего, братцы, болтать зря. Ну его!»

А н д р е й: «Неужто ты думаешь, что мы не знаем, что не дожидаться нам от царя спасенья, как от козла молока? Ты говоришь: «Царь, может быть, уймет наших грабителей». Да как их унять? Одно только есть: отнять у них землю и капиталы. Коли земля да капиталы ихними останутся, так ведь сам ты полезешь к ним в кабалу и еще

¹ Синегуб С. С. Записки чайковца, с. 36—37.

кланяться станешь, потому без этого придется тебе помираться с голоду... Тонуть — так тонуть в их крови! Сгореть — так сгореть вместе с ними, поджигаячи своей рукой дом, в котором пируют они! Поднимемся же, братья! Довольно мучили нас! Довольно пили нашу кровь! Зальем теперь и мы всю землю кровью наших злодеев!»

Н и к о л а й: «Нет, не на то мы зовем вас, братья... не крови злодеев жаждем мы, а жаждем мы правды. Но не будет никогда правды на земле, пока цари, помещики да хозяева живут на ней. Ненавидь же их всем сердцем, потому это значит, что ты ненавидишь ложь и насилие, но помни, что ты поднимаешься не для того, чтобы пролить их кровь и упиться ею, а для того, чтобы освободить от них род человеческий. Вот почему, братья, соединимся! Только когда победим мы врагов наших, врагов рода человеческого, только тогда очистим от них всю землю нашу»¹.

Можно безошибочно сказать, что Андрей, глаза которого «налились кровью», а голос был как «рев дикого зверя», представлял собой бунтаря-анархиста, сторонника нечаевской тактики, а его оппонент Николай выражал настроения большинства революционных семидесятников. Подобные дискуссии проходили и в Петербурге, и в Москве, и в кружке «чайковцев», и у артиллеристов в Михайловском училище. Неудивительно, что Кравчинский решил использовать путешествие в Англию, чтобы напомнить о русских делах. Характерно, что он пишет об Англии слишком по-петербургски, под впечатлением бурных сходов, непременно участником которых сам являлся. Обращает на себя внимание фигура Фомы, английского разорившегося крестьянина, еще не расставшегося с царистскими иллюзиями. Среди петербургских фабричных, сезонных рабочих и мастеровых (и даже среди интеллигенции) подобный тип, с робостью воспринимавший пропагандистские призывы, встречался довольно часто. Пропагандисты вели постоянную и усиленную работу в деревне, в студенческих и рабочих кружках, чтобы отвоевать на свою сторону сомневающихся и колеблющихся, разрушить легенду о царе-защитнике. Фома и Андрей — русские парни, и спор у них идет тоже о русских делах. Это одновременно и сказка и прокламация. Идея о необходимости и неизбежности революции выражена рядом метафор, также выдержанных в народном стиле: «Весь теперешний

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 201—206.

порядок — это ядовитое дерево. Ветки на нем — это купцы. Ствол — это помещики. А корень — это царь. Не истребишь ты дерева, коли отрубишь одни ветки, потому что из ствола вырастут новые. Не истребишь ты дерева, коли и самый ствол срубишь, потому что из корня вырастет новый, который покроется новыми ветвями. Только тогда истребишь ты его, когда с корнем вырвешь его из земли, и сожжешь его до последней веточки, и развеешь пепел на все четыре стороны»¹.

Нужно ли говорить о том, что подобные путешествия «не предусмотрены» народными волшебными сказками. Необычны сами маршруты, топография пропагандистских сказок, их географические горизонты и идейный диапазон. Сказочная, фольклорная стихия уживается в них с вполне рациональными и реальными сюжетами — с путешествием в Англию, посещением конгресса Международного товарищества рабочих и т. п. Сами «волшебные помощники» становятся в этих сказках своеобразными пропагандистами. Контаминация необычная, просто парадоксальная. Ученая речь политэконома и социолога, уместная в социально-политическом романе, постоянно перемежается с просторечием, с фольклорной лексикой и фразеологией. Картинам социалистического будущего приданы черты сказочной обрядности. Создается впечатление мозаики, пестрой, неравноценной в художественном и идейном отношении. Наслоение разнородных стилистических пластов (фольклорного и научно-публицистического) придает этой сказке Кравчинского эклектический характер. Этот своеобразный эклектизм в стиле и в образах «Мудрицы Наумовны» хорошо почувствовал И. С. Тургенев. В письме П. Л. Лаврову от 28 августа (9 сентября) 1875 года Тургенев писал: «Автор — человек с талантом, владеет языком — и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения. Но тон не выдержан. Автор не дал себе ясного отчета, для кого он пишет — для какого именно слоя читающей публики? Последствия этого — сбивчивость и неровность изложения. То для народа писано, то для более если не образованного — так более литературного слоя. Не избежал также автор того, что я готов бы назвать певучей риторической или московской манерой — напр., самое начало; мне кажется, чем меньше таких уснащиваний — тем лучше. Но, повторяю, у Вашего знакомого есть и талант

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 220.

и огонь — пусть он продолжает трудиться на этом поприще!»¹

Тургенев метко определил и другую особенность сказок Кравчинского: сказавшуюся в них «певучую риторическую манеру». Эта манера проникала в пропагандистские сказки не только из фольклора. Кроме былинно-песенной певучести была еще «певучесть риторическая», риторика политического красноречия. Кравчинский был талантливым оратором-пропагандистом, и отражение его речей лежит на всех созданных им сказках. От политического темперамента борца, от ораторского пафоса, социалистических мечтаний, от жаркой молодости и убежденности ведет свое происхождение стиль этих сказок — метафоричный, экспрессивный, эмоционально насыщенный («талант и огонь», по выражению Тургенева), — который по праву можно назвать революционно-романтическим стилем.

В другом письме к П. Л. Лаврову (от 1 (13) февраля 1876 года) Тургенев отмечал как существенный недостаток пропагандистских брошюр их излишнюю литературность, ненужные «литературные затеи», композиционную усложненность, множество локальных элементов, загромождающих повествование. «...Но недостаток брошюры, — писал Тургенев, — опять-таки тот, что она слишком *литературна* в том смысле, что собственно для мужиков в ней слишком много напущено реализма, *couleur locale* и т. д. К чему этот дагерротип крестьянского разговора с его недомолвками, перерывками и т. д.? Это может только сбить с толку мужика. Надо быть хорошим чтецом (вроде И. Ф. Горбунова), чтобы верно передать, *напр.*, страницу 9-ую; представьте ее в чтении человека едва грамотного: ничего не выйдет. Мне кажется, такие книжки должны быть писаны гораздо проще и толковее и безо всяких (даже реалистических) литературных затей. Талант, выказанный автором в этой брошюре, позволяет надеяться, что, если он захочет, он легко попадет в настоящий тон»².

Тургенев подметил самые существенные недостатки «народных книг», особенно сказок Кравчинского, предназначавшихся в первую очередь для крестьян и рабочих.

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., т. 11. Письма. М. — Л., 1966, с. 118.

² Там же, с. 210. В комментарии к этому письму указывается, что в отзыве Тургенева имеется в виду, вероятно, брошюра В. Е. Варзара «Рассказы бывалого человека», изданная в Лондоне в типографии «Вперед!» в 1875 году.

Совет писать проще, без «всяких литературных затей» шел от большого художника-реалиста. Кравчинский, как и другие революционеры-семидесятники, недоучитывал трудности восприятия его литературных сказок, включавших целые социально-политические трактаты. Революционеры-народники не могли пожертвовать своим политическим романтизмом, о важных социально-экономических проблемах они еще не умели писать без риторических красот, «проще и толковее», очень часто не могли «попасть в настоящий тон».

«Мудрица Наумовна» — политическая сказка, «сказка-говоруха», в которой наговорено столько, что и «на возу не увезти». В ней и волшебные помощники выполняют роль просвещенных экскурсоводов, получивших хорошую подготовку в пропагандистских кружках. Фольклорная стилизация играет здесь явно второстепенную роль. Стилизируют напряженная патетика, сильные страсти и характеры, постоянное переключение сказочной обрядности в революционное иносказание или в открытую проповедь. Меняется обстановка, обновляется декорация, появляются новые ораторы, но всегда и везде слышатся отзвуки начавшегося в России «хождения в народ». На первый взгляд несколько искусственно пристегнута к «сказке-говорухе» глава «Будущее царство». Однако эта заключительная сцена была необходима для осуществления идейного замысла сказки. Произнеся приговор царям, помещикам и чиновникам, предупредив о жестоком веке капитализма, сказка вводила слушателя в воображаемый мир будущего.

В сказке «О Правде и Кривде» содержится развернутая теоретическая аргументация, изложение основных положений крестьянского социализма¹. Кравчинский, выступавший в кружках для фабричных как талантливый лектор по политической экономии, излагает в сказке основные тезисы своих лекций. Вот один из них: недостаточно отобрать землю у помещиков и передать ее в собственность

¹ Сказка «О Правде и Кривде» была напечатана в 1875 году в Женеве, в типографии газеты «Работник», под названием, отнюдь не соответствовавшим содержанию произведения, и, как обычно, с вымышленными выходными данными: О Правде и Кривде. Слово на великий пяток пресвященного Тихона Задонского, епископа Воронежского. Изд. 5-е, отпеч. в тип. Духовной академии, Киев, 1875.

крестьян, это только начало социальной революции. В сказке об этом говорится так: «Богатство же будет не с того, что мужики будут владеть всем — и землею, и фабриками, и заводами,— а с того, что работать будут большими артелями, а не в одиночку... Когда мужики будут владеть всей русской землей большими артелями, то эти артели заведут самое лучшее хозяйство, купят самые лучшие машины, потому что они будут богаче всякого помещика. Значит, каждая десятина может давать миру по крайней мере в 4, в 8 раз больше, чем дает теперь мужику при одиночном хозяйстве»¹.

Рассказав о новых производственных отношениях, о работе большими артелями, приведя арифметические расчеты, Кравчинский напоминает, что в народных сказках тоже изображается «золотое царство». «Вот то золотое царство, про которое говорится в сказках. Да только врут там, что оно за тридевять земель: оно у тебя под носом. И тебе стоит только отворить ворота, чтобы в него войти!»² Однако между «золотым царством» народных сказок и «будущим царством» социально-этических утопий имеется огромное различие. При «работничком порядке», изображенном в главе «Будущее царство», «никого не будет пожирать ненасытная жажда к богатству». Не будет ни бедных, ни богатых, но исчезнут также лень, роскошь, обжорство. Человек будущего — трудящийся, физически сильный, духовно богатый человек. «Исчезнет навсегда темнота народная, исчезнут все предрассудки и суеверия, ибо они рассеиваются от знания, как ночной туман от солнечного света. Но мало того: люди создадут такую науку, перед которой нынешняя показалась бы лепетом десятилетнего школьника»³.

В сказке «Мудрица Наумовна» Кравчинский не обошел своим вниманием и «вкусные обеды»: «Вот они садятся обедать, и пища их вкусна и здорова. Их обед приправлен веселой речью и братской любовью». Но тут же автор спешит предупредить, что «удовольствие это кратковременно: не может человек весь день есть, хотя бы и самые вкусные блюда. Поевши, он говорит: «Довольно!» — и прошло удовольствие его»⁴. Видимо, в первоначальном

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 120.

² Там же, с. 121.

³ Там же, с. 232.

⁴ Там же, с. 234, 238.

варианте сказки картина трапезы у Кравчинского занимала больше места и имела еще более красочный характер. П. Л. Лавров в не дошедшем до нас письме советовал Кравчинскому более умеренно изображать утехи, веселье и «дорогие блюда». Автор «Мудрицы Наумовны» отвечал: «Прежде всего отвечу на то, что для вас лично особенно важно. Это насчет «дорогих блюд и рек вина». Я охотно изменю это место, потому что не придаю ему большого значения. Обед должен быть с какими-нибудь прибавлениями, а не всухомятку, но вместо дорогих блюд и сладких вин можно пригласить музыку или пение. Я, впрочем, еще не думал об этом предмете. Ну да это неважно... Для меня важно другое. Отчего вы полагаете, что социалистам может быть поставлено *в упрек* то, что они желают дать роду человеческому *всякие* материальные удовольствия. Что касается до меня лично, то я убежден в том, что это будет. Ведь весь мой «будущий порядок» держится на том, что при артельной работе каждый работник будет получать громадный, невозможный по теперешнему времени доход (конечно, не денежный)»¹.

Сюжет о Правде и Кривде, об их споре идет от фольклорной традиции; народное творчество по-своему отвечает на вопрос, как лучше жить (правдой или кривдой). Конечно, жить правдой лучше, но как победить кривду? В народных сказках, легендах, в духовных стихах, в «Повести о Горе-злочастии» содержится трагический образ Горя. Это народное Горе ходит в рубище, подпоясавшись лыком. Оно символически свидетельствует о безмерных народных страданиях и крайней бедности. Но фольклор бессилен решить поединок Правды с Кривдой в пользу Правды. Справиться с Кривдой, побороть ее, изгнать или похоронить оказывается не под силу Правде. Остается мечтать о небесном возмездии, заглушать в церкви или в кабаке свои порывы к справедливости.

Сказка Кравчинского «О Правде и Кривде» начинается с «Думы», выдержанной в спокойных, эпических тонах. Это по-настоящему народная «дума» о несправедливостях на земле, где «обиду творят бедному» и «одно потворство богатому». «Царит Кривда по всей земле. Широко, от моря до моря раскинулось царство ее, и не видно ему

¹ Письмо Кравчинского к Лаврову, хранящееся в ЦГАОР, приводит Н. И. Соколов в кн.: Идеи социализма в русской классической литературе, с. 390.

конца, а нет на земле ни единого уголка, где бы царил
Правда»¹.

Кравчинский учитывает религиозные предрассудки на-
рода, его веру в небесный рай, в благодетельную силу
паломничества «ко святым местам». Духовные стихи за
повиновение и долготерпение обещали народу награду на
том свете. Это была поэзия наполовину народная, наполо-
вину церковная. И попы и калики перехожие рассказыва-
ли, «как боги мир сотворили», «про адские муки, про
огненные реки, про кипящую смолу, про раскаленные
клещи, про моря червей и всякой гадины... И трепетал
народ перед попами, и исполнял он все их приказания,
потому что боялся адских мук и думал, что за терпение
получит царствие небесное»². В лучшем случае духовные
стихи и молитвы предлагали смиренно уходить в «святые
места» и «пить болотную водицу»:

Любезная моя мати,
Прекрасная моя пустыня!
Приемли меня в пустыню,
От юности прелестная,
Укрой меня, мать-пустыня,
В темные те ночи,
Научи меня, мать-пустыня,
Как божью волю творити.
Есть гнилую колоду:
Гнилая колода
Лучше царского яства;
Испивать болотную водицу
Лучше царского пойла.

По поводу этих и им подобных духовных стихов
И. Г. Прыжов замечает: «Таким образом, стихи калик,
проникнутые книжным древнерусским духом, навевали на
народ одну тоску, не принося ему ни нравственной энергии,
ни какой-либо отрады в будущем»³. Сказка Кравчинского
известное по фольклорным сказкам и духовным стихам
столкновение Правды с Кривдой переводит из плана мо-
рального, этического в план социальных отношений, имея
в виду сегодняшний день. Кравчинский называет по имени
всех «врагов народа», ссылками на историю христианства
пытается внушить крестьянам ненависть к поработителям.
Разоблачение «супротивников Правды» ведется в самых

¹ Агитационная литература русских революционных народников...,
с. 101.

² Там же, с. 103.

³ Прыжов И. Г. Нищие на святой Руси.— В кн.: Прыжов И. Г.
Очерки. Статьи. Письма. М.—Л., «Academia», 1934, с. 134, 136.

энергичных выражениях. Богатырь-народ скован цепями: «И первая-то цепь — цепь поповская. А вторая-то цепь — цепь помещичья. А третья-то цепь — цепь купеческая». Царь называется в последнюю очередь. Но и он не забыт: «Не бог дал царям их власть. Они всякими подлостями украли ее у народа». Не случайно среди «супротивников Правды» первым назван поп. У крестьян не было сомнений насчет враждебности их интересам помещиков или купцов. Сложнее было со «всевышним» — с религией, с верой в бога. Кравчинский использует излюбленный пропагандистский прием: он ссылается на повеление Иисуса Христа. Оказывается, что цари с помощью попов нарушили основную христианскую заповедь: «Не должно быть между людьми ни бедных, ни богатых, ни начальников, ни подвластных, ни господ, ни рабов. Все люди братья, и поэтому они должны быть равны, как братья!» Но поскольку христианские заповеди не соблюдаются, народу следует восстать против земных притеснителей. Кравчинский ставит в пример французскую революцию 1789 года, но тут же указывает на измену богатых, которые и погубили французский народ, придумали для него новое рабство. Повествование отрывается от фольклора, от фольклорно-сказочного зачина и срастается с историческим рассказом и пропагандистскими лозунгами. Сказка приобретает черты проповеднические и одновременно пропагандистские. Учитывая, что с крестьянами о царях и попах лучше разговаривать со ссылками на священное писание, Кравчинский берет себе в союзники Иисуса Христа и идет с революционной сказкой в народ ¹.

¹ К сказкам Щедрина и Степняка-Кравчинского, к сравнительному их анализу исследователи еще будут обращаться. Щедринские сказки выростали из самой действительности, затем из фольклора и пропагандистской литературы. Можно, например, утверждать, что «Рождественская сказка» и «Христова ночь», оказавшиеся самыми трудными для исследователей, могут быть прояснены на фоне долгушинских прокламаций и народнических сказок, в которых библейские образы и учение Христа использовались в целях не только политической конспирации. Это была продуманная система революционной пропаганды в условиях крестьянской России, начатая еще декабристами. Религиозная форма, как справедливо замечает А. С. Бушмин, «полагала довести социалистические мысли, исполненные философских обобщений, до сознания широких читательских масс, для которых религиозные формы мышления были привычны» (Бушмин А. Сказки Салтыкова-Щедрина, с. 221). Не случайно Салтыков-Щедрин, используя прежний коллективный опыт, в 1887 году обратился к этой форме и собирался «Христову ночь» и «Рождественскую сказку» издать дешевыми брошюрами для народа.

Лучшей сказкой Кравчинского, несомненно, является «Сказка о копейке». Только она может идти в сравнение с народными сказками и со сказками Щедрина. В ней нет прямых фольклорных заимствований, освобождена она и от того условного декоративного орнамента, которой украшает повествование «Мудрицы Наумовны». Те же идеи, устойчивые, настойчиво повторяющиеся, переходящие из одной сказки в другую, в «Сказке о копейке» оживают, облекаются в образы, близкие народному художественному сознанию. Именно в этой сказке, не копирующей фольклор, но близкой к нему, наиболее полно раскрылось самобытное дарование Кравчинского-сказителя, умеющего запросто, по-крестьянски рассказать о притеснителях народа, о наивном и добродушном мужике и обо всех горестях и напастях, выпавших на его долю. В «Сказке о копейке», грустной и иронической, злой, непримиримой к помещикам и попам и добродушной, гуманной по отношению к несчастному крестьянину, почти совсем исчезла риторика, декларативность, внешняя стилизация. О самых острых социальных проблемах рассказывается в ней просто, убедительно и с большим художественным тактом.

Катится копейка, свидетельница мужицкого горя, по полям, по дорогам, по топям и лесам. «Наконец вскатилась на высокую гору, закружилась, завертелась и хлопнулась на бок под крутой скалой». Из расступившейся скалы выходит седой старец, по его велению появляется волшебная птица. «Птица-могол» переносит крестьянина в царство свободы, где «все веселы и довольны» и хлеб такой, какого мужик отродясь не видал. В «Мудрице Наумовне» мы видели аналогичную фабулу (сказочное путешествие), однако в «Сказке о копейке» она разработана совершенно иначе. Прежде чем увидеть во сне справедливую жизнь на земле, мужик столько перестрадал, столько вынес на своих плечах горя и столь безуспешно боролся за правду, что ему не приходится разъяснять, что помещики и попы угнетают его. «Я и сам,— говорит крестьянин,— знал, что хорошо бы жить без помещиков да начальства, но только как это сделать?» Пропагандист отвечает «притчей», потом другой, третьей: огромный хищный ястреб, охотившийся за маленькой птичкой, мертвым падает на землю; целый рой таких же птичек налетел на ястреба и выклевал ему глаза. Сунулся однажды волк в стадо коров и телят, точно по чьему-то приказу быки окружили стадо и отбили копытами нападение волка. В схватке с табуном лошадей замертво свалились сразу два волка. И уже потом, рассказав эти

«притчи», пропагандист решается перейти к открытой проповеди: всей землей, как один человек, нужно подняться на «злодеев».

Отличие своих сказок от народных и тех фольклоризированных литературных произведений, художественных и публицистических, в которых в неприкосновенности сохранялись идеи крестьянского «царизма», лучше всего объяснил сам Кравчинский. Имея в виду «ложные манифесты», распространявшиеся некоторыми пропагандистами, Кравчинский в письме к В. И. Засулич писал: «Необходимость приноровиться к местным условиям, прислушаться к голосу массы, войти в круг ее мировоззрений сознавалась всеми. Но тут-то и начинается разногласие: одни, книжники, довели это стремление до абсурда, до полного порабощения своей личности и своих стремлений мирозерцанию масс. Народ ждет благ от царя. Провозгласим царя, и пусть он ему даст то, что ему хочется. Народ ждет приказаний от царя. Дадим же ему во главу царя. Насколько это абсурдно,— говорить мне нечего.

Другие же, не теоретики, а практики, увидели, что дело не так еще отчаянно. Они нашли возможным провести в народ свои идеалы, свое мирозерцание, но только под формой, в одежде народной»¹.

Пропагандистская литература сделала очень многое, чтобы развенчать традиционного сказочного Ивана, верящего в царя-батюшку или желающего заменить его, но непременно царем-пахарем, и поставить на его место революционного героя «в одежде народной», выходца из той же крестьянской среды.

19

Помимо сказок Кравчинского, были и другие народнические сказки, в которых под фольклорным покрывалом пропагандировались те же идеи крестьянского социализма. Таковы «Сказка о четырех братьях», о которой у нас уже шла речь выше, или пропагандистская «Сказка дяди Филата»². Повествование в ней ведется от лица старого

¹ Письмо С. М. Кравчинского к В. И. Засулич от 24 июля 1878 года опубликовано в «Красном архиве» (1926, т. 19, с. 196—197).

² Опубликована в кн.: Агитационная литература русских революционных народников... Рукопись отрывка из «Сказки дяди Филата» (название условное) обнаружена в следственном деле В. П. Зубрилова (ЦГАОР). Автор сказки не установлен.

сказочника Филата. Сказочный сюжет о мужицком социалистическом царстве освещает революционная песня — песня Рылеева и Александра Бестужева, несколько переработанная и дополненная. Песню эту поет сам народ, и благодаря ей происходит неожиданно смелый поворот в сказочном сюжете.

В царство попадают два парня, Прошка да Антошка, и там встречаются с мудрым старцем. «На конце улицы слышится смех, хохот, песни, веселие такое идет, что и сказать нельзя. Это парни с девками тешатся, играючи, забавляючись во всю душеньку, во всю мочь удалую молодецкую. А вот и походя кто-то песню затянул. Оглянулись мои молодцы — это гурьба молодых парней идет с гармоникой, с балалайкой, и орут они вместе какую-то песню развеселую. Прислушались мои ребята и слова разобрали, чудная была песня, таких они и не слышали:

Нет у нас ни попов,
Нет у нас ни рабов,
Ни царей, ни купцов,
Ни воров, наглецов!
Ай люли, ай люли...

Мы не любим войны,
Не имеем солдат,
Все мы братья равны,
Каждый друг нам и брат!
Ай люли, ай люли...

То ли дело так жить
И друг дружку любить!
День-деньской работать,
А под вечер гулять!
Ай люли, ай люли...

Пропели молодцы песенку и прошли далее. А Антошка с Прошкой все стоят, разиня рот, да слушают...

— Прошка,— говорит Антошка,— слышал?..

— Слышал, брат! Неужто все это въявь, а не во сне?.. Где же это мы тапереча? Я чай, в царстве небесном!..

— Не в небесном, други,— говорит старец,— а в мужицком царстве. Вот оно, мужицкое-то царство. Видали таперя, где лучше?..»¹

Главное в «Сказке дяди Филата» — не во внешних атрибутах стиля, не в манере сказочника, не в фольклорной фразеологии, даже не в путешествующих Антошке и Про-

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 302.

шке и не в заключительной сцене народного пиршества. Главное состоит в описании нового царства, в которое попали деревенские парни и где поля, леса, луга, заводы и фабрики принадлежат народу и повсюду царит народное благоденствие. Какими путями идти к этому царству, к осуществлению извечной народной мечты о воле и счастье — вот вопрос, ответ на который мучительно ищут русские революционеры и великие писатели XIX века. На всех этапах освободительного движения выдвигаются разные утопические проекты, уточняющие и отменяющие фольклорные сказания об «ином царстве». И все же как-то нити связывают идеи утопического социализма в русской литературе с фольклором, где по-своему отражены социальные стремления народа, его заветные чаяния и мечты. «Хочу идти туда, сам не знаю куда» — это не просто присказка, в этом «не знаю» — трагедия политического сознания крестьянина, его путешествий за правдой. Революционные народники в своих социалистических проектах тоже, в сущности, были близки к этому «не знаю»: они не знали истинных путей в будущее, сами находились в плену несбыточных мечтаний, уходили от реальной истории в мир иллюзий.

Крестьяне охотно слушали пропагандистов и обсуждали те вопросы, которые затрагивали современное состояние экономического быта, касались социального положения пореформенного крестьянства, потребностей мелкого производителя. Но именно эти экономические интересы крестьянина, его мелкобуржуазные настроения вступали в противоречие с социалистическими проектами. Крестьяне мало верили в утопические сны, в идеальные представления об общинно-артельном строе, в далекое будущее. Слушая рассказы об обетованной земле, где все равны и счастливы, крестьяне делали совершенно неожиданный для пропагандистов вывод: хорошо жить в материальном достатке, но при этом обязательно иметь частную собственность. Выражая накопленную веками ненависть народа к крепостничеству, крестьянское недовольство реформой 1861 года, мечты о лучшей жизни, о земле и воле, народнические социалисты-утописты в то же самое время слишком преувеличивали коммунистические инстинкты русского мужика. Участники «хождения в народ» потерпели поражение прежде всего в созданных ими фантазмагориях, в социалистической фантастике, которая хотя и носила рационалистический характер, была недостаточно сверена с действительным миром крестьянских представле-

ний, с реальным историческим процессом. Писатели-пропагандисты (в частности, Степняк-Кравчинский) пытались поднять сказочную стилизацию на уровень научной фантастики. Но давалось им это с трудом. Рационализм плохо уживался с фольклорной стихией, с поэтикой самого сказочного жанра. Более понятной, близкой крестьянской психологии оказалась пропаганда, основанная на критике существующей действительности, произвола помещиков, чиновников, попов и кулаков, беседы о земле, о мужицком праве на нее. В какой-то мере русский крестьянин «отредактировал» политические проекты и социалистические утопии революционных народников, уточнил свое понимание «инога царства».

При всем трагизме «хождения в народ» пропаганда социалистических идей в 70-е годы XIX столетия не пропала даром. В. И. Ленин в статье «Две утопии» социалистические утопии революционных народников называет «спутником и симптомом великого, массового демократического подъема крестьянских масс, т. е. масс, составляющих большинство населения в буржуазно-крепостнической, современной, России»¹. «Народническая утопия, — указывает В. И. Ленин, — выражение стремления трудящихся миллионов мелкой буржуазии *совсем* покончить с старыми, феодальными эксплуататорами и ложная надежда «заодно» устранить эксплуататоров новых, капиталистических»².

20

И все же снова встает прежний вопрос: нуждались ли крестьяне и фабричные той поры в пропагандистской литературе? Что они понимали в ней? На эти вопросы отвечает прокламация «Русскому народу», ссылаясь на мнение самих мужиков:

«Мы слышали, что и теперь есть на свете много книг, в которых пишется об наших порядках и об других, лучше наших; говорится в них об разных делах, да таких, что ежели бы мы их знали, так, наверное, положили им конец. Ну, а нам, темным людям, все это и невдомек. Кабы все это нам объяснили да кабы мы сами все могли читать такие книжки, в которых о справедливости-то говорится, так-то и было бы у нас. А вот неученость-то эта наша ходу-то нам

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 119.

² Там же, с. 121.

и не дает: наговорит тебе чиновник какой с три короба, законы разные приведет, а ты стоишь да глазами хлопаешь; пока ты очувствуешься, а он, глядишь, уже обдул тебя начистую; заговорил зубы-то. Так-то! Как же можно? Без ученья совсем человеку плохо!»¹

Пропагандисты изучают читательские интересы и в своих «народных книгах» печатают своеобразные рецензии. Рецензентами выступают и крестьяне и фабричные. Так, в «Хитрой механике» фабричный Степан рассказывает своему приятелю о молодых «путевых» людях, которые «выспросить норовят: как тебе живется, каков заработок, да много ли часов робить приходится, да как тебя прикащики с хозяевами обируют». Они и спрашивают и разъясняют, «столь внятно втолкуют тебе все это, что только диву дашься, точно будто ты и сам до этого додумался». Пока речь идет о дружеских беседах пропагандистов с фабричными, чтобы затем перейти к «народным книгам». «Сказывали они мне,— продолжает Степан,— что в их настоящих, толковых-то книжках уж давно об том писано: почему все богатство на земле из неправды выросло, и отчего, значит, всегда так выходит, что где есть богатые, там бедного человека беспременно нажимают и обворовывают, да что без этого им и жить невозможно. А что короли да цари там разные только тем и держатся, что беззаконию этому потворствуют, а для того большие войска держат да уйму чиновников разных, чтобы народ в страхе да покорстве соблюдать. Ну, только книжек тех, где о правде-то напрямки говорится, немного, сказывали они, потому особые чиновники от царя поставлены, чтобы крепко-накрепко смотреть за этим: бояться, значит, правды-то; чуть что — сейчас запрет. Вот в этих-то книжках вся суть, вся настоящая-то наука и прописана. Из них-то они и спознали, отчего неправда на миру стала и как сделать, чтоб всем хорошо да вольготно жилось на белом свете»².

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 84. Автор прокламации А. В. Долгушин. Прокламация была напечатана в тайной типографии на даче Долгушина под Москвой (д. Сареево Звенигородского уезда). Распространялась среди фабричных и крестьян.

² Хитрая механика. Правдивый рассказ, откуда и куда идут деньги. Сочинение Андрея Иванова, тип. Г. М. Орлова. М., 1874. С пометой: «Дозволено цензурою. Москва, 2 февраля 1874 г.». Все данные нарочито ложные. Напечатанная в типографии журнала «Вперед!» в Цюрихе в 1874 году, брошюра неоднократно нелегально переиздавалась и широко использовалась в пропагандистской работе среди крестьян и фабричных. Автор ее, В. Е. Варзар, не являлся профессиональным революционером, хотя и принимал участие в «хождении в народ»; летом 1874 года под

Можно ли отзыв о демократических книжках фабричного Степана, литературного героя, вымышленного лица, принимать на веру? В данном случае — несомненно. Автор «Хитрой механики» хорошо знал, что фабричные и крестьяне, причастные к передовому движению, были знакомы с пропагандистской литературой и неплохо разбирались в ней. Напомним о речи фабричного-ткача Петра Алексеева на «процессе 50-ти», произнесенной 9 марта 1877 года. Иронически отзываясь о разных детективах, созданных для увеселительного чтения, о «забавных» и «божественных» книгах, Алексеев встает на защиту тех книг, которые преследуются самодержавием, но которые так нужны фабричному и крестьянину в их умственном и нравственном развитии. «Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах» и т. п. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно — забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг, а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении, — тогда уж держись! Ему прямо говорят: „Ты, брат, не похож на рабочего, — ты читаешь книги“».

Выражая свое отношение к полезным книгам для народа, Алексеев далее с чувством огромной благодарности отзывался о своих учителях, революционерах-пропагандистах, приобщивших простого фабричного, недавнего крестьянина, к политике и к «доступным книгам для работника»:

«...Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...

видом косаря он путешествовал по Донской области. В дальнейшем, как отмечал П. Л. Лавров, автор «Хитрой механики» благополучно действовал «в пределах России как умеренный и либеральный земец» (см.: Лавров П. Л. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг., с. 120). Цит. по кн.: Агитационная литература русских революционных народников..., с. 171—172.

Председатель (вскакивает и кричит). Молчите! Замолчите!..

Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает)... Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значат и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подымет мускулистая рука миллионов рабочего люда...»¹.

Не будем преувеличивать действенности устной и книжной революционно-народнической пропаганды. Основная масса фабричных и особенно крестьян в 70-е годы XIX века не была подготовлена к восприятию социалистических «народных книг». Этим, может быть, объясняется и тот факт, что крестьяне запоминали только те сюжеты и образы, которые были взяты непосредственно из народной жизни, касались их экономического быта. Только революционные песни оставались надолго в народной памяти. «Семидесятые годы, — по словам В. И. Ленина, — затронули совсем ничтожные верхушки рабочего класса. Его передовики уже тогда показали себя, как великие деятели рабочей демократии, но масса еще спала»².

Перед исследователями революционного движения 1870-х годов стоит задача выявить и изучить биографии тех крестьян и фабричных, которые под влиянием русских социалистов сами превращаются в пропагандистов. В. И. Ленин обращает наше внимание на первых рабочих-революционеров, вышедших из крестьян. Они постоянно посещают деревню, по своей и не по своей воле, и там, в беседах с мужиками, выступают с определенными «политическими требованиями»:

«...„Забастовщик“ сам вышел из народа, сам принадле-

¹ Революционное народничество 70-х годов XIX века, т. 1, с. 365—366.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 72.

жал к числу эксплуатируемых; будучи выслан из Петербурга, он очень часто возвращался в деревню и рассказывал своим деревенским товарищам о пожаре, который охватывал города и должен был уничтожить как капиталистов, так и дворян. В русской деревне появился новый тип — сознательный молодой крестьянин. Он общался с «забастовщиками», он читал газеты, он рассказывал крестьянам о событиях в городах, он разъяснял деревенским товарищам значение политических требований, он призывал их к борьбе против крупных землевладельцев-дворян, против попов и чиновников»¹.

Такие «сознательные крестьяне» (рассказчики, ораторы, пропагандисты) стали появляться уже в 70-е годы XIX века, их деятельности, несомненно, должно найтись место в общей летописи революционного народничества.

Изображать русского крестьянина пореформенной поры как сознательного борца, стихийного социалиста и т. п. значит вольно или невольно впадать в преувеличение, повторять народнические ошибки. Однако было бы неверно характеристику русского крестьянина сводить к подчеркиванию исключительно слабых сторон его мировоззрения (патриархальность, религиозность, покорность, смирение), не замечать, что «меньшая часть крестьянства действительно боролась» или готовилась к борьбе, «хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели»². В. И. Ленин настаивает именно на всесторонней характеристике, призывает не проходить мимо этой «меньшей части», замечать пробуждение революционного сознания в передовых представителях крестьянской массы.

Один из участников «хождения в народ», М. Р. Попов, утверждает, что «завоевать симпатии крестьян в такой мере, чтобы потом вести среди них пропаганду совершенно откровенно, не составляло большого труда. В небольшое сравнительно время, в каких-нибудь два-три месяца, мы с Квятковским пользовались таким доверием крестьян, что на ярмарках нас отыскивали»³. Он ссылается на собственный опыт и на опыт известного революционного народника Емельянова-Боголюбова, приводит несколько «иллюстраций отношений крестьянства к революционерам». «...Емельянов, осужденный по делу Казанской де-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 316.

² Там же, т. 17, с. 211.

³ Попов М. «Земля и воля» накануне Воронежского съезда.— Былое, 1906, август, с. 27.

монстрации под именем Боголюбова вместе с Мозговым, и ныне здравствующим где-то в Забайкалье, проживали в деревне Пески, Воронежской губернии, Хоперского уезда. Им удалось в такой степени достигнуть доверия среди крестьян, что когда жандармы явились арестовать Мозгового, бывшего в Песках волостным писарем, то крестьяне с кольями в руках окружили волостное правление, чтоб не допустить ареста своего писаря, и Мозговой только потому был арестован, что не хотел сам воспользоваться предложением крестьян увезти его, чем воспользовался Боголюбов»¹. Видимо, М. Попов несколько преувеличивает степень дружеской близости в отношениях революционеров-пропагандистов с крестьянами. Однако весьма далека от истины и традиционная, официальная версия, согласно которой крестьяне непременно угождают самодержавию, сдают агитаторов жандармам, поминают их лихом. Один из авторитетных участников встреч с крестьянами утверждает совершенно обратное: «крестьяне каким-то чутьем угадывали в пропагандистах своих истинных друзей»². О крестьянине-вахлаке, патриархальной заскорузлости, деревенском идиотизме и мужицком царизме писали очень много; некоторые зарубежные буржуазные историки до сих пор подчеркивают и смакуют лишь патриархальные, рутинерские привычки крестьянской природы. Поэтому особенно важно помнить революционную историю русского крестьянина. Она начинается с Разина и Пугачева и имеет богатейшее продолжение. Крестьянин постепенно выпрямляется, участвует в революционных событиях, из крестьянской среды выделяются сознательные и смелые борцы с помещиками и самодержавием. Говоря о практической деятельности и политической программе «социально-революционной партии» (революционных демократов и революционных народников), Ипполит Мышкин в своей знаменитой речи на «процессе 193-х» недаром подчеркивал, что главная цель революционных народников «в сплочении, в объединении революционных сил, революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков: одного, недавно возникшего и проявившего уже порядочную силу — в среде интеллигенции, и другого, более широкого, более глубокого, никогда не иссякавшего потока — народно-революционного. В этом объединении рево-

¹ Попов М. «Земля и воля» накануне Воронежского съезда.— Былое, 1906, август, с. 25.

² Там же, с. 26.

люционных элементов путем окончательного формирования социально-революционной партии и заключалась вся задача движения 74—75 гг.»¹.

Сергей Синегуб в числе своих сподвижников по революционной пропаганде называет нескольких своих талантливых учеников из фабричных, недавно оставивших деревню: Савостьянова, Заозерского, Гришина, Моисеева, Зарубаева. Но были и многие другие. Число фактов о действительности революционной пропаганды среди фабричных и крестьян может быть значительно увеличено, характеристика борющихся крестьян дополнена и расширена.

В пореформенные годы особенно следует учитывать вчерашних крестьян, прибывших на фабрики и заводы, а также многочисленных каменщиков, землекопов и плотников, целую армию сезонников-отходников, вставших на путь «раскрестьянивания». Формирование рабочей идеологии у этих недавних крестьян происходит на первых порах с постоянной оглядкой на разоренную и ограбленную деревню, с учетом крестьянских настроений, сельских мирских дел. Ломка патриархальных устоев, начавшаяся после 1861 года, касается важнейших социально-экономических процессов, в этой ломке принимают участие и те фабричные, которые едва успели покинуть деревню и еще не расстались с мечтой получить настоящую волю для своих сородичей, земляков, продолжающих пахать поле, держаться за плуг. Народники, выступающие от лица крестьянской России и в защиту простого мужика-хлебопашца, обращаются за помощью к рабочим из крестьян, считая их лучшими знатоками и толкователями народного быта и мировоззрения. И они находят в них верных союзников, готовых вернуться в деревню, но не для того, чтобы продолжать жизнь по старинке, молиться богу и надеяться на царя. Получив в Петербурге некоторое политическое образование, пройдя школу в революционно-просветительских кружках, фабричные, не потерявшие связей с деревней, и в самом деле становятся участниками пропагандистского «хождения в народ». Среди фабричных были талантливые певцы, исполнители революционных песен. Так, Андрей Егоров, ткач Мальцевской фабрики из крестьян Тверской губернии Кашинского уезда, пел рабочим и крестьянам-отходникам песни «Ах ты, сукин сын...», «Долго нас помещики душили...», «Свобода, свободашка, воля вольная...», «Что же вы, студенты, приуныли?..»,

¹ Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3, с. 298.

«Друзья, защитники свободы...», «Для нас ударил славный час...», «Государь ты наш батюшко...»¹.

Наиболее сознательные и даровитые фабричные и крестьяне подражали революционным пропагандистам, заменяли их, сами проявляли инициативу и находчивость. Показательна биография Григория Щеглова, «обвиняемого крестьянина», как говорится о нем в приговоре по «делу 193-х». Он некоторое время работал в Петербурге на Семьянниковском заводе, потом вернулся в родную деревню Чуфариху (Костромской губернии) и там был арестован. 29 сентября 1874 года его допрашивал в Кологриве уездный исправник. Щеглов показывал: «Добавляю, что, будучи из крестьян помещика Кологривского уезда Павла Александровича Катенина, я обучался грамоте еще в детском возрасте в усадьбе Шаеве у крестьянина Григория Кирсанова Сироткина из дер. Абабкова»². Крепостной крестьянин со временем становится революционным агитатором. В Петербурге судьба его свела с Синегубом, Степняком-Кравчинским и Клеменцем, он посещает занятия кружка по политической экономии, читает запрещенные книги и принимает участие в их распространении. По свидетельству Щеглова, «здесь читались им (Кравчинским. — В. Б.) лекции политической экономии, и он (Щеглов. — В. Б.) слушал их всего три раза, в воскресные дни, куда каждый раз собиралось при нем не более десяти человек; лекции продолжались не дольше полутора часов и читались из политической экономии, причем обсуждался вопрос о равномерном распределении труда и капитала, готовили затем уничтожение частной собственности и пр.»³.

Приехав на родину, в деревню Чуфариху, Щеглов и сам читает крестьянам «лекции» по политической экономии и распространяет по деревням пропагандистские книжки. Мировой посредник второго участка доносил в сентябре 1874 года в губернское жандармское управление: «В августе месяце настоящего года дошли до меня слухи, что в Паломской волости, вверенного мне участка, появились разные сочинения, имеющие революционный характер»⁴.

¹ Набело переписанные тексты песен, отобранные у Андрея Егорова при аресте, были приобщены к следственному делу (ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 94, лл. 174—175).

² ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 227, л. 32.

³ Там же, л. 11.

⁴ Там же, л. 1.

В Чуфарихе, Шаеве и других деревнях были тогда же отобраны у крестьян «Сборник новых песен и стихов», «Сказка о четырех братьях», «История одного французского крестьянина», «Стенька Разин» (у самого Щеглова), январская книжка «Отечественных записок» за 1872 год. Одновременно мировой посредник сообщал, что Щеглов на деревенском празднике пел «песни богохульного содержания»¹. Не только пел, но и произносил речи; говорил Щеглов «с сердцем, горячо». Так, 24 июля 1874 года он обратился к крестьянам-землякам со словами: «Дурачье вы, мужики, землю у вас отняли, а налоги всякие платите; почитали бы вы те книжки, что я из Петербурга привез, так узнали бы, как вас правительство надувает; я таких книжек с полпуда привез, кому угодно даром дам почитать, только читайте со вниманием. Нам, братцы, надо соединиться в одно слово, в одну душу и вооружиться против царя и начальников, тогда сила будет на нашей стороне; земля будет наша, налогов платить не станем и будем жить господами»².

О своей пропагандистской работе среди крестьян и каменщиков, приехавших в Петербург из тверских и новгородских деревень, Синегуб рассказывает в «Записках чайковца». Были среди них и такие «вполне сознательные рабочие», которые от своего имени сочиняли воззвания и стихи: «...Тут же очутилось «сочинение» Ефима Савостьянова, рабочего-ученика, писанное хотя и не твердым еще почерком, но представлявшее собою горячее, страстное и очень сильно написанное воззвание к рабочим на бунт, и писанное при этом — о ужас! — красными чернилами. Дело в том, что, обучая рабочих письму, мы предлагали иногда тем, которые научились уже писать, написать что-нибудь из своего ума. И вот на одно из таких предложений Филипп Заозерский написал стихи, где обращался к царю с просьбой дать всю землю крестьянам, избавить их от податей и от обид господских да кулацких, а если, мол, не вникнешь в нашу просьбу, так не прогневайся, если мы и бунтовать начнем; Савостьянов же написал прямое воззвание к бунту, с горячими проклятиями по адресу угнетателей и кровопийц бедного народа»³.

Близко сойдясь с рабочими-каменщиками, Синегуб проводил с ними праздники, не раз ночевал у них и «в об-

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 227, л. 10.

² Там же.

³ Синегуб С. Записки чайковца, с. 127—128.

щем вынес впечатление о замечательной нравственной чистоте этих людей»¹. «Помимо прежних своих учеников и артелей за Невской заставой, — пишет Синегуб, — мне приходилось посещать и этих каменщиков, где я упражнялся в так называемой тогда «массовой пропаганде». В этой артели я громко читал перед несколькими десятками слушателей книжки и писанные брошюры, а затем вел разговоры и споры на «зловредные» темы. Приводил я в эту артель и Кравчинского»².

«Массовая пропаганда» включала лекции по политической экономии. Кропоткин, Кравчинский, Клеменц и Синегуб в популярной форме знакомили слушателей, фабричных и крестьян, работавших в петербургских артелях и на фабриках, с теорией прибавочной стоимости по первому тому «Капитала» Маркса. В бумагах Синегуба, отобранных при аресте, находился конспект главы «Рабочий день»: «Желая вполне представить себе картину рабочих классов, мы должны помнить всегда, что их положение определяется теми отношениями, в которых они находятся к капиталистам. Очевидно, что при том порядке вещей, когда одни люди заставляют, обладая всеми средствами к жизни и производству, других людей работать на себя, — то положение последних всегда в руках первых (...). Кроме того, давая рабочим такую плату, чтобы ее хватало только для жизни, капиталисты желают, чтобы человек за эту плату сработал как можно больше, т. е. они желают, чтобы рабочий день был как можно длиннее»³.

После таких лекций фабричные, недавние крестьяне, овладевшие грамотой и прекрасно понимавшие по собственному опыту «положение рабочих классов», сами брались за перо, начинали писать «из своего ума». Из петербургских народнических кружков вышли и такие выдающиеся рабочие-революционеры, как П. Алексеев и В. Обнорский. В «Записках чайковца» Синегуб упоминает о «сочинении» крестьянина Ефима Савостьянова, содержавшем «горячие проклятия по адресу угнетателей». Оно-то и оказалось среди бумаг, захваченных у Синегуба жандармами. Легко устанавливается основной источник «сочинения» Савостьянова. Ученик подражал своему учителю, его лекциям и стихотворным прокламациям («Гей, работники, несите...», «К рабочему народу»). Ефим Саво-

¹ Синегуб С. Записки чайковца, с. 35.

² Там же, с. 118.

³ ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 2169, л. 7 и об.

стьянов действительно задумал написать воззвание, о характере которого можно судить по сохранившемуся отрывку:

«Проснитесь, мужички, проснитесь, свои гневные глаза рассмотрите, как нас начальники кругом обирают ни за что, собирают оброки за землю. И говорят, что землю господь создал про весь мир православный, а они говорят, что наша, и отнимают последний кусок хлеба. Оглянитесь, православные, вольный дух, перебейте проклятое племя, выдерните гниль с корнем, поделите матушку — сыру землю. Тогда будем жить сыты и довольны, тогда между нами не будет обиженных и плачущих. Не пожалейте, братья, своих трудов, прольем кровь крестьянскую, добудем свою волю-матушку»¹.

С революционными народниками связан самый плодотворный опыт создания демократических книг для народа и их повсеместного распространения (в тридцати девяти губерниях царской России). Распространителей таких книг ожидала жестокая расправа, многие из пропагандистов, обещавшие со временем стать талантливыми писателями, тогда же, в 1874 году, были арестованы, привлечены к суду по «делу 193-х», заключены в тюрьмы и сосланы на каторжные работы. Пропагандисты сделали все возможное, все от них зависевшее, чтобы брошюры и рукописные произведения, начиненные революционным содержанием, проникли в народную толщу. При всем несовершенстве формы, художественной примитивности народнической пропагандистской литературы, она, несомненно, сыграла свою роль в революционном просвещении народных масс. Распространение этой литературы в условиях полицейского террора, в задавленной самодержавным гнетом стране было настоящим подвигом. Революционные книги для народа написаны кровью лучших русских интеллигентов пореформенной поры.

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 2169, л. 7 и об. Грамматические ошибки подлинника не воспроизводятся. См.: Б а з а н о в В. Неизвестные стихотворения Сергея Синегуба.— Русская литература, 1963, № 4, с. 162.



ЭПОПЕЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ



1

Кроме фольклорных путешествий в поисках былин и сказок, совершались и иные походы в деревню — по маршруту: изба — ярмарка — сельская площадь. Вместо встреч со сказителями происходили встречи с крестьянской массой, большая встреча с народом. По этому пути прошли не только многие этнографы и фольклористы, но и немало русских писателей, от Радищева до Горького. Среди ярмарочной толпы мы видим и Пушкина и Некрасова. На ярмарочной площади, у стен Святогорского монастыря зародился замысел первой русской национальной трагедии «Борис Годунов». Поэма «Кому на Руси жить хорошо», складывавшаяся в большом путешествии по крестьянской России, тоже берет свое начало на ярмарке. Эту поэму необходимо рассматривать на фоне тех фольклорно-этнографических материалов, которые сам Некрасов печатал в «Современнике», и тех постоянных теоретических споров, которые велись по вопросам народознания и народности.

На страницах «Современника» обсуждался вопрос о содержательности литературных «путешествий» и этнографических описаний. В 1863 году, когда Некрасов вынашивал замысел своей поэмы, «Современник» иронически писал о путешествующих «джентльменах» и «художниках-туристах», которые не замечают «горемычной стороны жизни селянина» и рисуют идиллические картинки, достойные князя Шаликова, или безоблачные карнавальные,

праздничные сцены. «Видишь, что художник-турист, — говорилось в «Современнике», — вышел на лето из Петербурга потолкаться между народом, половить тем для художественных картин из народного быта, так точно, как праздничный джентльмен отправляется на охоту за дичью. И вот он между *мужичками*, быт которых он представлял какую-то Аркадией. Здесь он всматривается не в горемычную сторону жизни селянина, а обращает внимание только на те отрадные ее стороны, на которых только и может, на время, отдохнуть усталый взор серьезного наблюдателя. Вот он на хороводе, где девушки и парни хороводятся, веселятся, поют песни; воскресный день он идет в церковь, куда собираются *мужички, бабочки, девочки, парни* в праздничном платье; замечает, как они крест кладут, бьют поклоны и т. д.; ходит на свадьбу, смотрит обычаи, слушает песни и иногда восторгается ими. Ходит по горам, долинам, рощам, катается в траве, рисует пейзажи. Иногда сходит на ниву, где *мужички* убирают хлеб. Не всматриваясь ближе и глубже в жизнь селянина, турист во всем этом видит только отрадную сторону, все это ему представляется милой картинкой, Аркадией с пастушками, мужичками, барашками, на которую и крестьянин смотрит с таким же удовольствием, как и он. Возвратившись в Петербург с такими извращенными понятиями о крестьянском быте, понятно, почему он рисует картины, далекие от действительности»¹.

В ноябрьской книжке «Современника» за 1863 год в качестве примера подобного беспечного «путешествия» приводится «Поездка в южную Россию. Очерки Днестра» А. Афанасьева-Чужбинского. Хотя Афанасьев-Чужбинский и был по специальности этнографом, но в его этнографических очерках нет ни капли народности, вместо этнографии — «непонятный винегрет понятий». В «Очерках Днестра» Афанасьев-Чужбинский описывает «свой быт и нравы», быт и нравы светского бездельника, он «рисует нам свою особу», свои «ловеласовские приключения» и рассказывает разные анекдоты. Между тем Афанасьев-Чужбинский был послан в Бессарабию на казенный счет, он поехал туда не отдыхать, а собирать материал о народной жизни. Что касается «горя и бедствий людских», то здесь Афанасьев-Чужбинский проявляет исключительное высокомерие и говорит о народном быте с барственным

¹ Хартахай Ф. По поводу «Живописной Украины». — Современник, 1863, № 122. Современное обозрение, с. 160.

безразличием. «Смотрит, например, Афанасьев-Чужбинский, как бедно и грязно живут руснаки и молдаване, и сейчас же начинает сердиться, начинает бранить бедно живущих руснаков и молдаван, зачем они бедно живут, а не богато. Лентяи, дескать, мужичье необразованное, пьяницы». Видит путешествующий этнограф, что прибрежные жители ездят по реке на скверных лодках, и опять приходит в «благородное негодование»: «зачем на скверных лодках ездят», «не заводят пароходов». «А того не думает понять Афанасьев-Чужбинский,— пишет «Современник»,— что беден мужик, что нет у него денег не только на пароходы, но часто даже на хлеб».

«Современник» напоминает, что позицию Афанасьевых-Чужбинских, обвиняющих простонародье в лености и прочих грехах, разделяют и славянофилы, склонные к идеализации патриархальных отношений, поющие «монотонную песенку о богатстве, величии и обилии земли русской», о том, что «наша матушка царственная Волга течет медом и млеком, что стоит зачерпнуть оттуда ковш воды, чтобы поймать сотню осетров, и т. п.» Но русский крестьянин судит о жизни не по «лирическим статьям» Погодина и Шевырева, а по «лицевой стороне дела». «Тянувши лямку по матушке-Волге, он (крестьянин.— В. Б.) попробовал, какими такими медами и млеками течет царственная наша река, и только в сказках слышал о чудо-юде рыбе осетре. И сложил мужик для утехи своей свою песню, песню скорби. Слабые отголоски этой песни, этого бурлацкого стога, как-то случайно долетели до ушей легковерных публицистов. Сначала благородные публицисты вознегодовали. Глуп, дескать, мужик и неблагодарен; отправились за справками в археологическую комиссию...»¹

«Современник» подчеркивает, что только изучение реальных условий народного труда и быта может дать представление об истинном положении русского крестьянства. Писатели и ученые, отправляющиеся путешествовать по России, должны знакомиться с «действительным состоянием вещей», знать «действительные нужды», «действительные стороны быта русского человека», и, главное, указывать на те «действующие причины, в силу которых общий склад быта является с таким, а не с иным характером». Русский крестьянин «стремится к благу», но не достигает цели, отсюда очевидно, что должны быть раскрыты «местные причины, противодействующие этим

¹ Современник, 1863, № 11. Современное обозрение, с. 73.

стремлениям». «Вот эти-то причины, дающие такой серенький тон общественного быта русского человека,— указывает «Современник»,— и должна объяснить нам наука о наших нуждах и наших средствах, как бы ни называлась эта наука, статистикою или этнографиею. Наука эта должна объяснить нам, почему, например, несмотря на величину и обилие земли русской, русский мужик живет в грязной курной избе, живет впроголодь... Отчего русский работник относит в кабак свои потом и кровью добытые копейки? Отчего русский чиновник так охотно берет взятки и так беззастенчиво запускает лапу в казенный сундук? Одним словом, русской этнографии, ограничивавшейся до сих пор ничего не очерчивающими очерками, вроде «от Твери до Астрахани», «от Петербурга до Екатеринославля» и т. п., русской этнографии предстоит решать много серьезных вопросов, накопившихся со времени основания Руси»¹.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» в художественной форме продолжает затянувшийся спор о народе, обо всем, что касается народного характера, народного мировоззрения и эстетики, о задачах их изучения. Не без влияния Белинского Некрасов еще в романе «Три страны света» (1848—1849) определил свое отношение к народознанию, осудив как «кабинетных теоретиков», рассуждающих о народе догматически и отвлеченно, без знания законов исторического развития, так и поверхностных наблюдателей, порхающих с праздника на праздник, с базара на базар. В части восьмой романа («Записки Каютина») содержится как бы методологическое обоснование будущей поэмы о русском крестьянстве:

«Труден доступ к его (крестьянина.— В. Б.) сердцу. Он суров, неразговорчив, неохотно обнаруживает свое чувство, глубоко запрятывает в душу тяжелую кручину. Ошибается тот, кто иначе думает; кто, побродив по базару в праздничный день, увидав две-три деревенские сходки, поговорив, хоть и за чаркой, с несколькими мужиками, думает знать всю их подноготную... Жалок такой наблюдатель! Нет, сердце его открывается не всякому и не вдруг (...). Будь прост и добр, а главное — будь искренен, спрячь подальше чувство собственного превосходства, умей отстранить все порывы неизбежной надменности, которая неволью пробивается в подобных отношениях, да еще не показывай, что ты стараешься под него подладить»

¹ Современник, 1863, № 11, с. 79.

ся,— и тогда только можешь ждать его искренности...» Здесь же Некрасов говорит о природной одаренности русских крестьян, об их склонности к «иронии дельной и меткой», об «удивительной насмешливости» и «отсутствии хвастовства», об «удали и находчивости»¹.

Пренебрежительному, барскому отношению к крестьянской России, а также приторной, сентиментальной ложной народности Некрасов противопоставляет подлинную народность, суровый реализм и демократическое народолюбие.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» была итогом длительных размышлений поэта о судьбах русского крестьянина и пристального изучения народной жизни. Особенно близки поэме те некрасовские стихотворения, которые условно можно назвать «отрывками из путевых записок».

2

Со стихотворения «В дороге» (1845) фактически начинается путевой дневник Некрасова, который ведется то от лица поэта, то от лица вымышленного пассажира или седока, то от лица крестьян, поддерживающих дружбу с поэтом. В отличие от дворянских лириков, редко выходявших за пределы гостиных и усадеб, Некрасов постоянно ищет встреч с народом, он всегда чувствует себя в пути, в поисках народной правды. В стихотворении «В дороге» седок обращается к ямщику с просьбой запеть песню «про рекрутский набор и разлуку» или посмешить «небылицей какой». Сама форма просьбы как бы снимает сословные перегородки между ямщиком и барином-седоком; читателю сразу же становится ясно, что путешественник не случайный человек для народа, он любит крестьянский мир, ценит народную поэзию. Ямщик рассказывает о жизни крестьянской девушки, с детства воспитывавшейся в барском доме, о жизни мучительной и тяжелой, исковерканной по барской прихоти. Для ямщика Груша — «злодейка-жена», ставшая «злодейкой» не по своей воле:

Погубили ее господ,
А была бы бабенка лихая!

¹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти т., т. 7. М., 1949, с. 737—738. В дальнейшем по этому изданию (без указания тома и страниц) приводятся цитаты из стихотворений Некрасова, из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (т. 3), а также из черновых набросков и вариантов к поэме.

В этом простом рассказе ямщика звучат ноты, которые с большой впечатляющей силой раскрывают одну из самых темных сторон крепостничества. Вот как заканчивается рассказ ямщика:

...Видит бог, не томил
Я ее безустанной работой...
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой...
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку...

Крепостничество затронуло народные нравы, оставило глубокий след в психологии мужика, укоренило в ней рабские черты, породило семейный деспотизм. «Под пьяную руку» — тоже из народной этнографии. В этом стихотворении нет традиционного ямщицкого аляповатого молодечества, в нем рассказана крестьянская повесть, полная жизненной правды.

Судьбе русской крестьянки посвящено и стихотворение «Тройка» (1846). В нем рассказывается о деревенской красавице, которую ждут неизбежные лишения и невзгоды:

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От распространенных романсов о «русских тройках» стихотворение Некрасова отличается истинным демократизмом. Рассказ о трагической участи, уготованной «чернобровой дикарке», исполнен открытого сочувствия к бедствиям и страданиям народа.

Среди путевых стихотворений Некрасова есть сатирические стихи. В «Отрывках из путевых записок графа Гаранского» (1853) высмеян космополитствующий барин, разъезжающий по России «с французскою кухнею и с русским титулом графа»¹. Вместе с тем эта сатира была злой пародией на путевые записки путешественника-сибарита, сообщающего неверные сведения о внутреннем состоянии России. Граф Гаранский с балкона наблюдал крестьянскую жизнь и рисовал отношения между помещиками и крестьянами в идиллически-сентиментальных тонах:

Поехал далее... Я мало с ними был,
Но видел, что мужик свободно ел и пил,
Плясал и песни пел; а немец-управитель
Казался между них отец и покровитель...

¹ Яков Иванович Гаранский. О нем см.: Северная пчела, 1847, № 65, 21 марта.

Графу Гаранскому скучно и неинтересно было записывать в записную книжку крестьянские рассказы о помещике, который с «дворней выезжал разбойничать» и «затравил мальчишку». Но подобных рассказов так «много», что путешествующий граф невольно вынужден был некоторые из них выслушать.

Но только худо то, что каждый здесь мужик
Дворянский гонор мой, сиятельную совесть
Безбожно возмущал; одну и ту же повесть
Бормочет каждому негодный их язык:
Помещик — лиходея! а если управитель,
То верно — живодер, отъявленный грабитель!

Для графа Гаранского народные слухи и толки — «негодный» мужицкий фольклор, нелепый и возмутительный. В русской фольклористике и этнографии, в дворянской литературе «путешествий» именно этот фольклор не был удостоен внимания. Некрасову постоянно приходилось критиковать сложившиеся традиции, разоблачать тех, кто с барским пренебрежением относился к народу и его словесности, и тех, кто идеализировал патриархальные пережитки, пытался «уломать» фольклор в собственные идейные концепции. Так, в «Русской беседе» ее неперемный корреспондент Третий Филиппов распространял самые нелепые вымыслы о русском крестьянине. Народная песня «Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко...» была им использована для обычных разглагольствований о бесстрашии, терпении и покорности как отличительных особенностях русского народного характера. Разбирая песню, он восторженно умилялся советом брата: «Потерпи, сестрица, потерпи, родная». В стихотворении «Катерина» Некрасов противопоставил славянофильскому тезису об исконной склонности крестьян к долготерпению мысль о несомненной способности русского крестьянства к протесту. Созданная им песня близка по образам и сюжету к песне «Взойди, взойди, солнце...», но в ней отсутствует именно призыв «потерпи». Кстати сказать, и сами народные песни спорят с бесконечным унижением женщины-крестьянки. В одной из свадебных песен (А. И. Соболевский, т. II, № 598) вместо мотива терпения звучит явное бунтарство:

Он с полати соскочил,
Шелковую плеть схватил,
Мое тело оскорбил...
Вот так мужняя гроза —

Наплевать ему в глаза;
Ах, как мужнины побои —
Наплевать ему поболе.

Не только в поэзии, но и в жизни были «молодухи», протестовавшие против семейной тираннии. В 1861 году «Современник» опубликовал «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного» Ф. Н. Львова, где сообщалось о крестьянках Лукерье и Татьяне, решивших постоять за себя. Семнадцатилетняя Лукерья, выданная замуж по воле барина за сорокалетнего «негодяя», подвергалась страшным истязаниям: «не мало палок переломалось о тело бедной женщины, не одно полено погуляло по ней, начиная с головы до ног». Вконец измученная, Лукерья хотела поджечь овин, в котором спал «негодяй», но ее схватили, избили до полусмерти, потом отправили к исправнику, вынесшему приговор: «наказать тридцатью ударами розог через полицейских служителей и сослать на тринадцать лет в каторжную работу»¹. Татьяна тоже имела намерение отомстить постылому мужу. В результате и эта бунтарка получила тринадцать розог и десять лет каторги. Если простая русская женщина пыталась протестовать, скрыться от деспота или известить его, то на нее обрушивались удары всего «темного царства». Катерина из «Грозы» Островского — символическое обобщение трагедии русских Катерин².

В стихотворении «Катерина» Некрасов отбрасывает мотив «потерпи», но он не решается превратить героиню в «бунтарку». Концевые стихи «Катерины» звучат в тон народным песням, сохраняют типично народно-песенную ситуацию:

Станет горячиться, станет попрекать...
Пусть его бранится, мне не привыкать! .

А и поколотит — не велик наклад —
Милого побои не долго болят!

Как бы ни любила Катерина Федю-солдатика, но после счастливого свидания она должна вернуться к своему грозному мужу и повторить слова народной песни: «А и поколотит — не велик наклад». Некрасов не мог пожертвовать правдой жизни и создать театрализованную фабулу: Катерина бежит с Федей-солдатиком, скрывается в глухом

¹ Современник, 1861 № 9, отдел 1, с. 115—117.

² См. статью: Б у х ш т а б Б. Я. К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Катерина». — Некрасовский сборник. М.—Л., 1951, с. 86—101.

лесу, обучается грамоте, становится эмансипированной женщиной и т. п. Катерина возвращается после свидания под плеть муженька. Таковы были законы окружающей действительности, такова была судьба дважды закрепощенной русской крестьянки. Из многочисленных вариантов песни «Взойди, взойди, солнце...» Некрасов выбирает самый реалистический, отражающий повседневные обстоятельства народной семейной жизни. Poleмика с Тertiем Филипповым состоялась, и при этом без всяких со стороны Некрасова уступок ходульному романтизму.

Что касается народных рассказов, к которым с такой брезгливостью относился граф Гаранский, то для Некрасова они составляли величайшую ценность первоисточника. Русские писатели, считал он, должны прислушиваться к голосу народа и на основе народной молвы разрабатывать сюжеты, которые в самой народной жизни не успели оформиться в законченное повествование, превратиться в классический художественный фольклор.

Народная Россия в поэзии Некрасова всегда рядом с Россией официальной, народный быт и нравы — с бытом и нравами помещиков, попов и купцов. По первоначальным замыслам, путешествующие крестьяне в поэме «Кому на Руси жить хорошо» должны были встретиться со всеми недругами народа. Однако собственно крестьянский сюжет оттеснил первоначальные наброски. Крестьяне так и не дошли до Питера, хотя и собирались туда попасть. И все же Некрасов восполнил этот пробел. В годы напряженной работы над «крестьянской» поэмой поэт создает «городскую» — поэму «Современники», где выведены и банкиры, и биржевики, и князья, и фабриканты, и купцы. На пьяном пиршестве отсутствуют только представители трудового народа. Здесь пируют и спорят, спорят тоже о счастье на Руси, но пируют и спорят хищники; они не пьют, а опиваются, не едят, а обжираются, не спорят, а сквернословят или льстят. На этом сборище отсутствует не только правда, здесь не найти и полуправды. Даже агрономы, пирующие в зале № 5, не хотят заниматься делом, отступаются от него, хотя и видят истинное положение деревни:

Печальный вид: голодный конь
На почве истощенной,
С голодным пахарем... А тронь
Рукой непосвященной —
Еще печальней что-нибудь
Получится в итоге...

В страхе перед этим итогом они решают оставить народ на произвол судьбы:

Оставим бедный наш народ
Судьбам его — и богу!

В дни подавления крестьянского восстания в Бездне крепостники и либералы пируют и славословят усмирителя восстания:

Путь, отечеству полезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед бездной,
Ты...¹

Предпоследнюю строку следует читать так: «Ты не дрогнул перед Бездной». «Поэт, как известно, намекает на ту самую Бездну, где в 1861 году в крови было потоплено восстание крестьян. Но неужели по такому случаю мог быть устроен пир? Оказывается, мог. За несколько лет до появления поэмы «Современники» публицист некрасовских «Отечественных записок» Н. А. Демерт писал в одной из своих статей: «Факт невероятный, но однако же верный: после бездненского «увечья», в ознаменование радости по этому случаю, крупные и именитые губернские землевладельцы устроили торжественный обед, говорили торжественные, приличные случаю речи, заливая их шампанским». Следовательно, и это чудовищное пиршество не придумано Некрасовым»².

Некрасов не пожалел сатирических красок и гнева, он беспощадно высмеял погрязших в тине интриг, приобретательства и эгоизма «современников», которые являлись хозяевами жизни.

В «Кому на Руси жить хорошо» с некоторыми из «современников» пришлось повстречаться некрасовским мужикам. Так, помещик Оболт-Оболдуев мог бы с успехом состязаться в красноречии в Английском клубе, но в споре с крестьянами он дик и смешон. Слушая помещика, размечтавшегося о феодальных временах, некрасовские крестьяне

Глядели, любовались,
Посмеивались в ус...

¹ Эти стихи не вошли в основной текст поэмы.

² Гин М. От факта к образу и сюжету. О поэзии Н. А. Некрасова. М., 1971, с. 259—260. См. также: Теплинский М. В. Творческая история поэмы «Современники». — Некрасовский сборник, 2. М.—Л., 1956, с. 336—337.

Бесправные мужики нравственно выше и куда дальновиднее власть имущих «современников».

3

Некрасов не случайно написал поэму-путешествие. Используя композиционную схему народной сказки, сюжетную основу он взял из реальной жизни. В частности, источник сюжета нужно искать в происходившем в 1860-е годы движении временнообязанных крестьян.

Не трудно догадаться, когда именно отправились некрасовские мужики в путешествие и что послужило непосредственным толчком к их спору. Поэма начинается с вопроса: «В каком году — рассчитывай...» Год этот — 1861-й. Семеро временнообязанных крестьян «сошлись и заспорили» холодной весной 1861 года («Недаром наши странники Поругивали мокрую, Холодную весну»), после того как был официально объявлен манифест о воле, обязывавший крестьян до 1863 года работать на своих прежних помещиков. Весна 1861 года названа «холодной» еще и потому, что «Положением 19 февраля» крестьяне были унижены, обмануты и еще раз разорены.

Э. П. Перцов в «Записке современника о 1861 годе» переносит читателя на ярославскую городскую площадь, то есть непосредственно в некрасовские места. Вот как выглядела эта ярославская площадь: «В Ярославле 19-го февраля было такое огромное стечение крестьян из деревень, верст за сто и более, что город представлял вид ярмарки. Пришедшие крестьяне и крестьянки стекались в собор, вокруг которого, по неимению места внутри, образовались густые толпы, так что не только у входа и на паперти не было где упасть яблоку, но даже и в отдалении от них нельзя было пробраться от тесноты и давки. По окончании богослужения все эти не нашедшие себе места в церкви спрашивали выходящих: «Объявлена ли воля? Читали ли манифест?». Не получив утвердительного ответа, все приуныли и в тишине расходились от собора: кто назад в деревню, кто отыскивать себе помещение в городе до следующего утра»¹.

Еще более «приуныли» крестьяне позже, выслушав священника, читавшего с амвона непонятный для них царский манифест. Начали распространяться слухи, что

¹ Красный архив, 1926, т. 16, с. 135.

помещики похитили «царскую грамоту», шли толки, что появится избавитель, от которого крестьяне получат долгожданную землю и волю. В сложившейся исторической обстановке крестьянам не сиделось дома, мужики посылали своих ходоков, пытались выработать свои требования.

Поэма показывает крестьянскую Россию после манифеста — взбаламученное народное море, взволнованную, шумящую крестьянскую «толпу», самим ходом событий вынужденную решать социальные проблемы. Фабула поэмы-путешествия, бесспорно, подсказана самой жизнью, реальными крестьянскими «путешествиями». Крестьяне «зашевелились», отправились в путь сразу же после оглашения манифеста, чтобы послушать, что говорят в народе, какие вести распространяют, посоветоваться с миром, набраться ума. Поиски счастливого человека — вторичный элемент сюжета, имеющий служебное значение и фольклорное происхождение. В поэме находят отражение и объяснение важнейшие политические, социальные и экономические проблемы крестьянской России (крепостничество, реформа 1861 года, положение временнообязанных крестьян, народные толки и слухи о воле). В центре внимания — крестьянин, его мироощущение, его отношение к действительности.

Внутренний мир крестьян-путешественников и их знакомцев раскрывается и проверяется не только в беседах, в самом характере их спора, но и в более личных, частных эпизодах. Среди крестьян есть свои поэты-лирики, живописцы, философы и социологи. Так, мужики-странники обладают особым поэтическим взглядом на природу, они умеют с ней беседовать, понимать ее язык, с ней связаны у них и ассоциации. «Зайка серенький», «галчата малые», «птенчик крохотный», «кукушка старая» — весь этот мир живой природы не скрыт от крестьянского взора и восхищения. Но в этом восхищении не только радость жизни и любовь ко всему земному. Слушая кукование старой кукушки, крестьянин думает об урожае:

Кукуй, кукуй, кукушечка!
Заколосится хлеб,
Подавишься ты колосом —
Не будешь куковать!

С кукушкой связан целый поток крестьянских представлений и верований. Некрасов чрезвычайно дорожит фольклорным элементом в поэзии. В подстрочных примечаниях он сообщает, что «кукушка перестает куковать, когда

заколосится хлеб («подавившись колосом», — говорит народ)». Но и без ссылок на народные приметы поэт смотрит на природу глазами крестьянина: дождевые облака, например, «как дойные коровушки, идут по небесам». На «летающих птиц», «зверей быстроногих» и «гадов ползущих», на весь этот богатейший животный мир поэт сумел взглянуть не глазами эстетствующего путешественника, а глазами мужика Пахомушки, которому полностью понятен тайный смысл сельской природы.

Крестьянские суждения о природе, о ее бесценных дарах поражают своей поэтической образностью и глубочайшей связью с широким кругом явлений окружающей действительности. Крестьяне не пассивно созерцают природу, а размышляют над ней, перетолковывают явления природы в духе своего мировоззрения, своей утилитарной эстетики и своей жизненной практики. «Пичуга малая» — это и сказочная птица, с помощью которой можно облететь все царство, и вместе с тем это образ, свойственный народной лирике, олицетворяющий волю, независимость и свободу. Разглядывая птенчика, Пахомушка думает и о том, что эта «пташка малая» куда счастливей мужика, который не имеет прав на свободу:

«...А все ж ты, пташка малая,
Сильнее мужика!
Окрепнут скоро крылышки,
Тю-тю! куда ни вздумаешь,
Туда и полетишь!»

Так крестьянин читает «книгу природы», по-своему открывая окружающий его мир, полный звуков и красок, связывая его с народными приметами и жизненными ассоциациями.

На фоне той же самой русской природы Некрасов в «Псовой охоте» изображает помещика, рыскающего за зайцами. Красота природы отнюдь не оказывает облагораживающего влияния на барина-тирана. Даже картина мирного отдыха и обеда нарисована такими красками, что вызывает чувство отвращения: барин, обжирющийся рябчиками, угрюмые псары, нехотя допивающие барскую фляжку, господские голодные псы, жадно лижущие окровавленных зайцев. Некрасов демократичен и народен не только в гневных стихах, заключающих в себе угрозу пастуха помещику-тирану:

Мы-ста тебя взбутетеним дубьем,
Вместе с горластым твоим холум!

Он демократичен и там, где речь идет о нейтральных на первый взгляд предметах — о псовой охоте, о барине-охотнике, о барских псах, лошадях и т. д. И в этих стихах Некрасов остается верным принципам демократизма, народности, высокой гражданственности. А. И. Груздев верно подметил, что даже на вечную природу («солнце на небе», «леса дремучие», «столетние деревья») Оболт-Оболдуев распространяет «неограниченную помещичью власть»¹. Все это «его», то есть помещичье, дворянское, данное самим богом:

«Сама природа русская
Покорствовала нам.
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе,
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом!»

Насколько выше, богаче и чище крестьянское восприятие природы в сравнении с этим ограниченным подходом собственника, видящего в природе и ее дарах лишь источник личного обогащения и укрепления своей помещичьей власти.

4

В 60-е годы XIX века революционные пропагандисты устремляются на ярмарку. Здесь можно было много разузнать, потолкаться среди народа и, при удобном случае, передать из рук в руки прокламацию или «Золотую грамоту» (подложный манифест). Посещение ярмарок предусматривалось «Землей и волей», агенты этого тайного общества были готовы использовать Нижегородскую ярмарку для осуществления своих политических намерений. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве хранится дело² о доставлении в августе 1863 года из Москвы в Нижний Новгород по железной дороге чемодана с воззваниями и подложным манифестом. При вскрытии в чемодане было обнаружено 776 экземпляров прокламаций и 168 экземпляров подложного манифеста. В письме В. И. Кельсиева к Н. А. Серно-Соловьевичу,

¹ Груздев А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М.—Л., 1966, с. 72—73.

² Ф. 95, оп. 1, № 140.

послужившем поводом к аресту последнего, речь идет о планах широкой пропаганды на ярмарке: «Главное — пропустите «Колокол», «Общее вече» и мой «Сборник» на Нижегородскую ярманку: это будет весьма полезно, и опускать ярманки не следует (...). Огарев просит вас хлопотать тоже об ярманке, а к тысячелетию (празднованию тысячелетия России.— В. Б.) тоже переправить кое-какую посылку в Тверь»¹.

Интерес В. И. Кельсиева к народной ярмарке выразился позднее и в его записях балаганных прибауток. А. И. Кельсиев поясняет творческую историю этих записей петербургских балаганных прибауток, сделанных его братом: «Печатаемые здесь прибаутки записаны моим покойным братом Вас. Ив. Кельсиевым в Петербурге, весною 1871 года, за полтора года до кончины, и вместе с прочими его бумагами перешли ко мне.

Обычные в Петербурге народные гулянья на масляной и на святой неделе происходили тогда на Адмиралтейской площади; ныне они переведены на Марсово поле. Закостюмированные действующие лица даваемых в балаганах представлений выходят во время антрактов на наружный балкончик и стоят молча. Чтобы гуляющий народ заметил их и столпился к балагану, вместе с ними выходит так называемый старик, нарочно для сего нанимаемый балагур, знающий присказки. Старик одет русским мужиком

¹ Былое, 1906, № 9, с. 168. Под «Сборником» В. И. Кельсиев имеет в виду «Сборник правительственных сведений о раскольниках», изданный в четырех выпусках в Лондоне (1860—1862). В 1860—1863 годах Кельсиев принимал непосредственное участие в агитационно-пропагандистской работе, будучи тесно связанным с русским революционным подпольем и с политической эмиграцией (Герценом и Огаревым). Особое значение Кельсиев придавал союзу революционеров со старообрядцами. Герцен называл Кельсиева «нигилистом с религиозными приемами». В «Исповеди» (Литературное наследство, т. 41—42, 1941, с. 265—442) Кельсиев отказывается от своего революционного прошлого, превратно его толкует, фактически сдается на милость правительства (см. вступительную заметку П. Г. Рындзюнского к публикации «В. И. Кельсиев — Герцену и Огареву» в Литературном наследстве, т. 62, 1955, с. 160—170). Записи прибауток относятся к тому времени, когда Кельсиев окончательно капитулировал перед реакцией, восхвалял славянофилов. Уже в 1863 году Кельсиев в одном из своих писем спрашивал: «Есть ли у революционеров какие шансы осилить славянофилов, заслужить доверие публики и народа, есть ли у них умение на это?» Что касается землевольцев, то, по словам Кельсиева, «народ не сочувствует им и называет их смутниками, возмутителями». Другое дело И. С. Аксаков: «Без тайных обществ, без фраз, не задевая монархизма и не вызывая никого на риск, он добьется той же «Земли и воли», того же земского собора и отделения Польши» (Литературное наследство, т. 62, с. 183).

в лаптях и армяке; на голове у него большой парик, накладные усы и борода, сделанные из чесаного льна; — за пазухой полуштоф. Старик с разными смешными телодвижениями обращается с балкона с речью к публике, по возможности громко произнося свои шутки. Его каждый возглас обыкновенно прерывается взрывами хохота слушателей.

Покойный брат мой предполагал записать эти прибаутки в Петербурге и по другим местностям России и издать их вместе с биографиями балагуров и существующими сведениями об их учителях целым сборником. Он успел записать прибаутки только от двух, выступавших в роли стариков, отставных, еще бравых солдат: Ивана Евграфова и Гаврилы Казанцева. Они оба приходили к брату и диктовали ему все, чем умели с балкона потешить публику... Старики, по-видимому, вносят в речь мало собственно вымысла, а только собирают, запоминают и, сообразно случаям, группируют ходячие простонародные остроты. Действительно, прибаутки эти имеют все признаки народного творчества. Мимолетность внимания гуляющей толпы и трудность громкой речи на холоде, при шуме, заставляют стариков быть сжатыми, что придает языку их шуток большую силу. Покойный брат мой смотрел на эти прибаутки как на остатки балагурств старинных русских скоморохов и потешников»¹.

Записи В. И. Кельсиева цитируются и рассматриваются в статье П. Г. Богатырева «Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре»². Для П. Г. Богатырева ярмарочный фольклор — явление исключительно праздничное, веселое, нарядное. «Тот факт, что издевки балаганных «дедов», чешских плампачей и др. обычно добродушно переносятся публикой, — пишет П. Г. Богатырев, — объясняется общим веселым настроением ярмарочной толпы, своеобразной карнавальской атмосферой, культом смеха, когда насмешки воспринимаются больше как шутка, чем как сатира... Публика незлобиво переносит издевки балаганных «дедов» и потому еще, что балаганный «дед» насмехается над своими сотоварищами, балаганны-

¹ Петербургские балаганные прибаутки, записанные В. И. Кельсиевым. — Труды Этнографического отделения имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, кн. IX, вып. I. М., 1889, с. 15.

² Статья опубликована в кн.: Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. М., 1968.

ми артистами, и особенно остро и безжалостно издевается над собственной женой»¹.

В. И. Кельсиев был прав, когда рассматривал балаганные прибаутки как своеобразное продолжение юмористического творчества «старинных русских скоморохов и потешников». Ярмарка была праздничным событием в жизни русского крестьянина. П. Г. Богатырева интересуется именно такая праздничная ярмарка, где «царствует атмосфера смеха ради смеха»². Это один из возможных аспектов изучения ярмарочного фольклора, но вполне закономерен и другой подход, при котором снимаются праздничные покрывала. Даже записи В. И. Кельсиева, произведенные в Петербурге весной 1871 года от отставных солдат Ивана Евграфова и Гаврилы Казанцева, не свидетельствуют о полном добродушии и незлобivosti шуток. Отставным солдатам, выступавшим в роли ярмарочных «дедов», приходилось зазывать покупателей, выкидывать коленца, потешать толпу и самим веселиться с подвыпившими мужиками и купцами. Ради потехи они не щадили и собственных жен:

Жена моя солидна,
За три версты видно...
Уж признаться сказать,
Как, бывало, в красный сарафан нарядится
Да как на Невский проспект покажется —
Даже извозчики ругаются,
Очень лошади пугаются.
Как поклонится,
Так три фунта грязи отломится.

Но бывало и так, что балаганные «деды» в своих прибаутках, полных юмора и веселого задора, переходили границы «смеха ради смеха» и позволяли себе сказать такое, что купцам и барам становилось не по себе («не в бровь, а в глаз»).

На ярмарках часто разыгрывались далеко не веселые истории, сюда приходили и беды, слышались и грустные причитания. Видимо, и ярмарочные «деды» не всегда поддерживали радостную «карнавальную атмосферу», иногда они вносили своими шутками и остротами резкий диссонанс в звучащий вокруг «безобидный смех». Внешне безобидная шутка неожиданно оборачивалась грозным

¹ Богатырев П. Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре, с. 319.

² Там же, с. 336.

обличением, язвительной сатирой и даже политическим красноречием. Об одном из прирожденных ораторов, выступавших с балаганных подмостков, рассказывает Ф. И. Шаляпин. Яков Мамонов был знаменит по всей Волге как «масленичный дед». «Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна, — «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжелым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь, — пишет Ф. И. Шаляпин. — Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громовой, сорванный и хриплый голос, — весь он вызывал у меня впечатление обаятельное и подавляющее. Этот человек являлся в моих глазах бесстрашным владыкой и укротителем людей, — я был уверен, что все люди и даже сама полиция, и даже прокурор боятся его». Этот «Яшка», держа в руках истрепанную куклу, громко орал: «Прочь, назём, губернатора везем»¹.

П. Г. Богатырев приводит это воспоминание Ф. И. Шаляпина о бесстрашном ярмарочном говоруне, но в своей работе он ограничивается рассмотрением незлобивых «дедов» и веселых прибауток. Он удачно применяет теорию «карнавального смеха» к русской ярмарке, к юмористическому фольклору. Однако такая односторонняя характеристика ярмарочного фольклора не охватывает всей сложности явлений, не дает представления о многоголосой ярмарочной толпе, об антипраздничных настроениях крестьянина в самые хмельные и разгульные дни. В том-то и состоит основная особенность ярмарочного фольклора, отражающая противоречивость крестьянской действительности, что на сельской ярмарочной площади легко совмещаются разные «жанры» народной словесности, отвечающие и разным жизненным ситуациям.

П. Г. Богатырев ссылается на книгу М. М. Бахтина о Рабле, он сближает площадь позднего средневековья и Возрождения, народные европейские зрелища с русской сельской площадью, с русскими ярмарочными представлениями, где тоже господствовала атмосфера смеха, откровенности и фамильярности. Но Богатырев проходит мимо «бесстрашных речей» политических говорунов. Между тем Бахтин указывает на эту стихию «карнавального» фольклора: «Вполне понятно, что этот бесстрашный и свободный язык образов давал и *богатейшее положительное*

¹ Федор Иванович Шаляпин. Литературное наследство. Письма. И. Шаляпина. Воспоминания об отце, т. I. М., 1957, с. 42.

содержание для нового мировоззрения»¹. Именно это положение, высказанное Бахтиным, необходимо учитывать при изучении поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Тысячелетиями слагавшаяся народная «бесстрашная» речь громко прозвучала на ярмарке в селе Кузьминском, на дорогах, ведущих на сельскую площадь, и на самой деревенской площади во время крестьянского пиршества.

Поэт с этнографической точностью передает краски и звуки ярмарки. Пестрые, нарядные картины народного праздника сменяют одна другую:

Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!
Штаны на парнях плисовы,
Жилетки полосатые,
Рубахи всех цветов;
На бабах платья красные,
У девок косы с лентами,
Лебедками плывут!

«Солнце вешнее» освещает своими лучами разгулявшихся крестьян — горластых мужиков, нарядных баб и девок, их рубахи и платья всех цветов. Солнце дарит тепло, делает толпу еще более живописной и красочной. Вся обстановка в селе Кузьминском напоминает праздник, Торговые ряды завалены разными товарами. Идет «торговля бойкая, с божбою, с прибаутками». Имея в виду площадной фольклор эпохи Возрождения, прежде всего карнавальные сцены в романе Рабле, М. М. Бахтин замечает: «И такие элементы фамильярной речи, как божба, клятвы, ругательства, на площади были вполне легализованы и легко проникали во все тяготевшие к площади праздничные жанры...»². Почти все элементы ярмарочного фольклора мы находим в описании ярмарки в селе Кузьминском.

Вот балаганная сцена в духе традиционных для русского народного театра празднично-смеховых представлений:

Комедию с Петрушкою,
С козю с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.

Крестьяне смотрят комедию, «орешки щелкают», «хо-

¹ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 293.

² Там же, с. 166.

хочут, утешаются» и не забывают вставлять в речь балаганного Петрушки свое «слово меткое»,

Какого не придумаешь,
Хоть проглоти перо!

Народное гулянье, «здоровый, громкий хохот» веселящихся мужиков и баб, картина ярмарки — все это изображено Некрасовым без раблезианского натурализма и чрезмерного обилия бытовых деталей.

5

Праздничные картины в поэме Некрасова берут свое начало в народной культуре русского средневековья; пройдя через XVIII век, балаганные «деды» появляются на ярмарке в селе Кузьминском, чтобы разыграть новое действие. В «Сельской ярмонке» собраны самые разнообразные праздничные образы. Не пропущена, конечно, и «водочка», этот непременный спутник деревенских праздников:

Словечком перекинутся —
Гляди, явилась водочка:
Посмотрят да попьют!

Мужики пируют запросто и весело, они и в пути не забывают повеселиться, угостить встречных, правда далеко не всех, — кому поднесут чарочку, а кому скажут «шалишь!». К их услугам всегда сказочная скатерть-самобранка. Если бы не было этой скатерти, то и пиршество, разумеется, не имело бы столь широкого размаха.

И все же праздничные образы и пиршественные картины в поэме Некрасова играют подчиненную роль, над ними господствует проза жизни, невеселая правда повседневности. Поэт не торопится с «пиром на весь мир». Пиршества и праздники — это всего лишь несколько радостных дней в календарном году, за ярмаркой наступают будни. Не успела отшуметь сельская ярмарка, как крестьяне двинулись по домам, стали разъезжаться. Следует новая глава — «Пьяная ночь».

Первоначально «Пьяная ночь» входила в состав «Сельской ярмонки», затем Некрасов ее выделил, превратил в самостоятельную главу. «Пьяная ночь» начинается с описания окраины села. Покидая «бурливое село», странники миновали ригу, амбары, кабак, мельницу и увидели на самом краю села низенькое «бревенчатое строение» — этапное здание

С железными решетками
В окошках небольших.

Таков маршрут крестьян в этот праздничный ярмарочный день: площадь — кабак — тюрьма. В главе «Пьяная ночь» открывается оборотная сторона праздничного пиршества. Праздник превратился в драму. Поэт рисует печальную, мрачную картину:

Докуда глаз хватал,
Ползли, лежали, ехали,
Барахталися пьяные,
И стоном стон стоял.

Некрасов не желает здесь подробно распространяться о тех «безобразиях» и несчастьях, которые приносит крестьянину кабак. Об этом достаточно много писали в журналах и газетах всех мастей. В этом вопросе не было расхождений: все были согласны, что пьянство губит народ. Павел Веретенников выражает в поэме мнение большинства, хотя, конечно, далеко не все либеральные филантропы и «трезвенники» разделяли его мнение о природном уме русского мужика:

Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валяются —
Обидно поглядеть!

«Пьяная ночь» полна каких-то грозных предчувствий. Г. П. Верховский сделал любопытное сопоставление отдельных эпизодов ярмарочной эпопеи и пришел к выводу, что от «пьяной ночи» совсем недалеко до кровавого утра, до приезда усмирителей. На ярмарочной площади царит бесшабашное «карнавальное» веселье:

Шумит, поет, ругается,
Качается, валяется,
Дерется и целуется
У праздника народ!

В ночь после ярмарки эта гуляющая толпа превращается в некую беспорядочно отступающую «рать», и сопровождается это «отступление» стоном. По такой толпе того и гляди могут открыть огонь. В поэме так и сказано:

Народ идет — и падает,
Как будто из-за валиков
Картечью неприятели
Палят по мужикам!

Напомним, что и помещик Оболт-Оболдуев норовит «палить» по мужикам. При встрече со странниками он «пистолетик выхватил»

И дуло шестиствольное
На странников навел:
— Ни с места! Если тронетесь,
Разбойники, грабители!
На месте уложу!..

«Как и требуется в подобных «оказиях» в деревне,— замечает Г. П. Верховский, говоря о «пьяной ночи»,— возникают «писарь» и «начальник губернии», «царская грамота» и «акцизные чиновники», питерские «чиновники» и «священник», «сотский» и «становой». Все, что нужно для следствия»¹.

Вся атмосфера «пьяной ночи» более соответствует обстоятельствам «смутного времени», нежели обычному праздничному веселью. Крестьяне и сами умеют «на месте уложить», но пока они меряются силами друг с другом — то «на скалке тянутся», то тянут друг друга за бороды. Более наивное испытание собственной силы трудно было придумать.

Однажды на вопрос Г. И. Успенского «А каков будет конец? Кому на Руси жить хорошо?» Некрасов, «улыбнувшись, произнес с расстановкой: „Пья-но-му!“»² Едва ли поэт всерьез считал, что пьяный и есть самый счастливый человек на Руси. Но какая-то истина в этом его ответе все же была. Счастливый в том смысле, что в кабаке только и существовала для крестьянина свобода слова, лишь здесь находил он временное утешение от земных горестей. Продолжением ярмарочной и кабацкой вольности и была «пьяная ночь». Всего несколько часов отделяет праздничный день от этой ночи. Но как изменилась вся обстановка! Народные голоса не умолкают, и здесь слышатся толки, слухи, «ругательства», но уже без веселого шутовства, без «настоящей музыки», просто под скрип телег. В ночной тишине они становятся еще более звучными, резкими:

Дорога стоголосая
Гудит! Что море синее,
Смолкает, подымается
Народная молва.

¹ Верховский Г. П. О поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — В кн: Проблемы русской литературы. Ярославль, 1966, с. 121.

² Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 6. М.— Л., 1953, с. 179—180.

Глава «Пьяная ночь» почти целиком построена на самых обыкновенных, повседневных, домашних крестьянских разговорах. Некрасов объединяет праздничный фольклор, песни и прибаутки с фольклоризированной разговорной речью. Хотя и много среди крестьян изрядно выпивших, шатающихся (с «бараньей головой»), но и хмель у них не выбивает рассудка. Получается как в народной поговорке: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». О чем же судачат крестьяне?

— Добра ты, царска грамота,
Да не при нас ты писана...

Народные толки и слухи, бравшие под сомнение подлинность царского манифеста, разговоры о «Золотой грамоте» — это тоже фольклор, но фольклор особый, политически злободневный, взрывчатый. Путешествие, встречи, события, разговоры, споры в поэме проходят на фоне народной молвы. Характерно, что в черновых вариантах главы «Пьяная ночь» Павел Веретенников ссылается на «народную молву» как на надежный источник для характеристики нравственного и идейного облика русского крестьянина:

А то молвой народною
Свой ум проверить хочется.
«Народный глас — слышали вы? —
Глас божий» — говорят...

О реформе 1861 года в печати приходилось говорить осторожно. В беседе с Н. Г. Чернышевским Некрасов выражался без всяких недомолвок: «Да разве это настоящая воля! Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами»¹. Вопреки «Временным правилам по цензуре» Некрасов перенес обсуждение крестьянского вопроса в «Современник», в свою поэзию, заставил путешествующих мужиков действовать на политической арене².

Некрасовские мужики — не обычные путешественники. Они распространители слухов, зачинщики разговоров на политические темы. Эта поэма не столько поэма-путешествие, сколько поэма-диспут, путешествие с пропагандистскими целями, — своеобразное «хождение в народ», принятое самими крестьянами. В названиях деревень, сел

¹ Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 476.

² 12 мая 1861 г. были утверждены «Временные правила по цензуре», в них предписывалось не допускать к печати «неосновательные и неуместные толкования» крестьянской реформы.

и губерний заключены основные тезисы начавшегося все-российского крестьянского собрания. Если бы путешествующие мужики не кричали, не спорили, а молча шли по деревням с «паспортом», выданным им поэтом, то и тогда их путешествие имело бы характер вызывающей демонстрации. Достаточно было узнать, что они из деревень Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово («Неурожайка тож») Подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, как за этими молчаливыми мужиками вставала красноречивая картина пореформенной русской действительности. Но странствующие мужики не молчат, они шумят, спорят, гуторят, кричат, вызывают среди крестьян толки, слухи, вступают в политические разговоры, организуют сходки. Вот один из характерных приемов возбуждения крестьянских умов. Минуя деревню Большие Вахлаки, семеро временнообязанных крестьян пришли на Волгу и там, в поместье юродствующего князя Утятина, познакомились с молчаливым Власом. Разговор сначала не клеится. Влас из Безграмотной губернии явно не желает беседовать с неизвестными странниками, пытается сначала узнать, что они за люди, откуда и куда направляются. Чтобы сломить его недоверие, странствующие мужики действуют как опытные «подстрекатели», они заводят разговор о собственном житье-бытье и цели их путешествия:

«Мы не в тебя, старинушка!
Изволь, мы скажем: видишь ли,
Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошенной волости,
Избыткова села!..»

Искать Непоротой губернии значило свидетельствовать, что во всех остальных губерниях порка крестьян — обычное дело. Подобные толки и разговоры путешественники заводят почти с каждым встречным. Влас также не остается безгласным, и он включается в общекрестьянский спор и становится народным ходоком.

В официальных донесениях военных чинов, губернских прокуроров и уездных стряпчих подобные ходоки обычно назывались «подстрекателями», «зачинщиками», «лжетолкователями», «политическими крикунами». В рапорте генерал-майора Ф. Ф. Винценгероде Александру II из Тамбова о «волнении умов» среди крестьян, например, сообщалось: «По частным, но довольно достоверным слухам оказыва-

ется тоже, что во многих местах проявляются незнакомые странствующие люди простого сословия, которые злонамеренно между крестьянами распускают разные ложные и весьма вредные слухи, стараясь возбудить недоверие крестьян к помещикам и местным властям»¹. Из Новгород-Северска контр-адмирал И. С. Унковский доносил о «ложных толкователях» и «главных зачинщиках» — «вредновлиятельных людях», которые, «действуя на крестьян силою ума, присваивали себе голос диктаторов»². В «Русском вестнике» мировой посредник П. Безвестный писал с Поволжья о действиях таких «толкователей»: «...Расскажет, при таинственной обстановке, крестьянам разный вздор о новой воле и даже назначит ей срок. Расскажет, что в соседней губернии дело совершается иначе; что там крестьяне берут всю землю бесплатно... Большинство крестьян (...) охотнее верит тому, что кажется выгоднее, крепко бережет и скрывает рассказчика, а устный телеграф разносит его слова повсюду еще с добавками. Сходы решают ни под чем не подписываться»³. «Устный телеграф» — это и есть народная молва.

Появление странствующих крестьян, распространителей толков и слухов, вызывало тревогу в правящих кругах. 11 марта 1861 года казанский губернатор направил на имя городничих, земских исправников, судебных следователей и уездных стряпчих циркуляр. В нем предписывалось по случаю обнаружения «Манифеста» и «Положений 19 февраля» «иметь самое строгое и тщательное наблюдение, чтобы в это время не было распушено каких-либо неправильных слухов и превратных толкований» и чтобы «всех тех лиц, которые будут превратно толковать распоряжения правительства, распускать ложные слухи, внушать крестьянам неправильные понятия о дарованной им свободе и вообще будут замечаться в каких-либо предосудительных действиях или поступках, клонящихся к нарушению тишины и спокойствия, а тем более увлекать крестьян к неповиновению властям, тотчас же арестовывать и под строгим караулом присылать в Казань ко

¹ Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права, ч. 1 и 2. М.—Л., 1949, с. 232.

² Там же, с. 249.

³ Русский вестник, 1863, т. 46, август, с. 803. На свидетельство П. Безвестного ссылается Г. В. Краснов в статье «Изображение народа в поэме Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“» (см.: О Некрасове. Ярославль, 1958, с. 109—110).

мне...»¹. Некрасовские путешествующие мужики могли
дойти и до Казанской губернии, они действовали совсем
рядом, в Верхнем Поволжье.

6

Чтобы разобраться во всем, что происходит, понять
народные толки, прибаутки и «перебранки», отличить праз-
дники от буден, Некрасов отправляет в путешествие вместе
с мужиками собирателя народной словесности Павла Ве-
ретенникова. Путешествующий фольклорист попадает в
самую гущу народной толпы и сразу же принимает живей-
шее участие в одной из крестьянских историй, главным
действующим лицом которой был старик Вавила. Вави-
лушка, ласковый и добрый дед, посуливший своей внучке
купить ботинки, «пропился до грошика». Крестьяне и рады
бы помочь в горе старику, да нечем: «вынуть два двугри-
венных — так сам ни с чем останешься». Выручает Вавилу
Павел Веретенников («Купил ему ботиночки»). Сам по
себе этот эпизод еще мало о чем говорит. Пожертвовать
два двугривенных старику крестьянину мог любой фи-
лантроп. Ничего особенного нет и в том, что Веретенников
одет по-крестьянски, посещает харчевни и кабаки:

(Какого роду-звания,
Не знали мужики,
Однако звали «барином».
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддевичку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.
Его видали многие
На постоянных двориках,
В харчевнях, в кабаках).

Поэт много размышлял над образом путешествующего
фольклориста, принимая и отвергая различные варианты.
Судя по черновым наброскам «Сельской ярмонки», Некра-
сов собирался первоначально нарисовать «московского
шелкопера» или «московского стрекулиста». Если бы поэт
не отказался от этого замысла, то на ярмарке появился бы
фольклорист типа Тертия Филиппова или этнограф напо-

Цит. по кн.: В у л ь ф с о н Г. Н. Из истории разночинно-демокра-
тического движения в Поволжье и на Урале. Казань, 1963, с. 39.

добие Афанасьева-Чужбинского. В образе «барина» Веретенникова Некрасов вывел демократа-фольклориста, которому довелось присутствовать на большой встрече с народом, провожать крестьян с ярмарки, вместе с ними провести «пьяную ночь», разговориться с Якимом Нагим и узнать от него настоящую правду. В черновом варианте «Сельской ярмонки» сохранилась и такая строка: «Сказал тот барин Рыбников». Видимо, Некрасов знал о путешествиях Рыбникова по Черниговской слободе, о его участии в кружке «вертепников» и о высылке в Олонецкую губернию. Не менее хорошо он знал и о Павле Якушкине, который печатался в «Современнике». Некрасову было важно создать естественную ситуацию встречи фольклориста с народом и предоставить слово самим крестьянам.

В тот самый момент, когда Павел Веретенников, беседуя с крестьянами, «что-то в книжечку хотел уже писать», из толпы выделился «пьяненький мужик» Яким Нагой, который попросил не разносить про крестьян «шалых вестей». В полемику с современной фольклористикой и этнографией вступает представитель народа, его адвокат. Некрасовские мужики не желают, чтобы о них судили только по юмористическим песенкам и по хмельным праздникам. В речи Якима Нагого вопрос о причинах народного пьянства получает социально-политическую окраску и дополнительный комментарий. Видимо, Нагой принял Веретенникова за обычного «шелкопера», поэтому и речь его гневная, раздраженная. Его цель — отвадить таких «любителей народной поэзии» от путешествий по деревням или хотя бы устыдить «барина» за фальшивые, односторонние представления о крестьянском житье. Живя в Питере и побывав в тюрьме, Нагой многому научился¹. Возможно, что он из тех крестьян-отходников, которые обучались политической грамоте в кружках, созданных революционерами-пропагандистами. Наконец, само собой разумеется, что за крестьянским оратором стоит Некрасов, вложивший в простонародную речь Якима Нагого собственные мысли. Речь эта имеет свою творческую историю, она отражает мнение «Современника» и «Отече-

¹ Первоначально в черновых набросках вместо Якима Нагого фигурировал «фабричный из Бурмакина», затем — «крестьянин из Бурмакина», «мужик из Новоселова». Наконец в основном тексте появляется: «Пиши: в деревне Пьянове Яким Петров живет». Однако Яким Петров слишком напоминал безднинского Антона Петрова, тоже произносившего с земляного валика бунтарские речи, и в окончательной редакции утверждается Яким Нагой из деревни Босово.

ственных записок». Сошлемся хотя бы на выступление Г. З. Елисеева в «Отечественных записках» в 1874 году, когда Некрасов работал над поэмой. «...Очевидно, — писал Елисеев, — что народ наш не праздничает, а работает, и работает в настоящее время, по крайней мере, втрое более, чем работал во время крепостного права. И людям, болеющим о народном благе, должны были бы бросаться в глаза не праздники его, а то, отчего труд народа не спорится?»¹ Теперь послушаем Якима Нагого. Подскочив к Веретенникову и выхватив у него из рук карандаш, он кричит:

«Постой, башка порожняя!
Шальных вестей, бессовестных
Про нас не разноси!
Чему ты позавидовал!
Что веселится бедная
Крестьянская душа?
Пьем много мы по времени,
А больше мы работаем,
Нас пьяных много видится,
А больше трезвых нас...»

Павел Веретенников внимательно выслушал эту речь Якима Нагого, произнесенную сразу же после ярмарочного гулянья. Некрасов воспользовался встречей фольклориста с крестьянами, ярмарочным эпизодом, чтобы осудить тех теоретиков народности и бытописателей, которые за праздничной стороной деревенских обрядов, за пиршеством и весельем не видят трудовой крестьянской жизни, драматических переживаний и стихийных бунтарских настроений. С языка праздничного фольклора обсуждение крестьянского вопроса переводится на язык социальной этнографии и политической экономии. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» содержится целая программа демократического народознания, причем в составлении этой программы — специального «вопросника» — принимают участие сами крестьяне. Яким Нагой спрашивает у Веретенникова: «По деревням ты хаживал?», «Видывал в страду деревни русские?», «Встречал ты мужика после работы вечером?», «А горе наше меряли?» и т. д. Здесь же даются и ответы. В частности, Яким Нагой отвечает на те вопросы, с которыми когда-то «Современник» обращался к этнографам

¹ Отечественные записки, 1875, № 5, с. 152.

и фольклористам: почему мужик «живет впроголодь?», отчего «относит в кабак свои, потом и кровью добытые копейки?». В представлении крестьянина приезжие фольклористы только тем и занимаются, что «записывают в книжечку» обрядовые песни, сказки, пословицы и поговорки («Скажи ему пословицу, Загадку загани»). Но есть еще сама жизнь, тяжелый крестьянский труд, экономический быт, «кровью добытые копейки», произвол помещиков и чиновников, народные бедствия. В фольклорно-этнографических описаниях и в дневниках путешественников часто «живая старина» заслоняла современное состояние деревни. Поэтому Яким Нагой, уполномоченный крестьянами вести дискуссию, защищать народные интересы, советует Веретенникову присмотреться к крестьянскому труду, к обыденной жизни, записывать в книжечку и о том,

Как из болота волоком
Крестьяне сено мокрое,
Скосивши, волокут:
Где не пробраться лошади,
Где и без ноши пешему
Опасно перейти,
Там рать-орда крестьянская
По кочкам, по заборинам
Ползком ползет с плетухами —
Трещит крестьянский пуп!

Достойным ответом либералам-филантропам с их уни-
зительной жалостью к «мужичку» звучат гордые слова
мужицкого оратора:

«Жалеть — жалей умеючи,
На мерочку господскую
Крестьянина не мерь!
Не белоручки нежные,
А люди мы великие
В работе и в гульбе!..»

В «Сельской ярмонке» и в «Пьяной ночи» описывается непосредственная встреча крестьян с фольклористом, поэтому существенна каждая деталь, проливающая свет на народоведческую концепцию Некрасова. Павел Веретенников спрашивает красноречивого крестьянина: «Как звать тебя, старинушка?» Обычный вопрос собирателя народной словесности. Только «старинушка» оказывается не обычным сказителем. В ответе Якима Нагого — огромная разрушительная сила, направленная против

ученых упражнений камерных этнографов и фольклористов:

*«Пиши: „В деревне Босове
Яким Нагой живет,
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет!..“»*

Но это еще не все. Яким Нагой не желает, чтобы о русском крестьянине судили по-славянофильски, как о «тишайшем», умиротворенном, боязливым:

*«У каждого крестьянина
Душа, что туча черная —
Гневна, грозна, — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А все вином кончается.»*

Нагой говорит о всем крестьянском сословии. И, конечно, горьким упреком звучат слова о мужицком обычае заливать и горе и гнев вином: «А все вином кончается». Ясно, что здесь Яким Нагой выступает в полном согласии с мнением революционных демократов, с их концепцией.

Некрасов высоко ценил благородный труд фольклористов, занятых собиранием ценнейших памятников народной словесности, он широко использовал материалы, представленные в сборниках Рыбникова, Даля, Барсова. Но была еще область, занимавшая промежуточное положение между наукой о народной поэзии и политикой, где революционные демократы выступали вполне самостоятельно. Даже классические сборники — «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр.» Владимира Даля (1862), «Народные русские сказки» А. Афанасьева (1855—1864), «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (1861—1867), «Песни, собранные П. В. Киреевским» (1868—1872), «Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым» (1872, ч. I. «Плачи похоронные, надгробные и надмогильные»), «Русские народные песни, собранные П. В. Шейном» (1870, ч. I) и др. — не сообщали необходимых сведений о современном крестьянине, особенно пореформенном, о его думах, заботах, не говоря уже об экономическом положении деревни. Фольклористы были заняты важными для филологической науки проблемами (техникой собирания и публикации текстов, характеристикой исполнительского мастерства, составлением биографи-

ческих справок о сказителях, изучением местных традиций и «школ», истории происхождения отдельных жанров и странствующих сюжетов), но они редко касались политических воззрений народа и современных крестьянских движений. Писатели-этнографы тоже находились в плену узкого бытописательства и внешнего фольклоризма. По словам Добролюбова, «внешняя обстановка быта, формальные, обрядовые проявления нравов, обороты языка» и т. п. были доступны многим писателям-этнографам и «многим давались довольно легко». «Но внутренний смысл и строй всей крестьянской жизни, особый склад мысли простолюдина, особенности его мирозерцания — оставались для них по большей части закрытыми. Вот отчего нередко писатели, даже хорошо изучившие народную жизнь, вдруг переносили в нее отвлеченную идею, зародившуюся в их голове и обязанную своим началом вовсе не народному быту, а тому кругу, в котором жили сами писатели»¹.

В отличие от этих писателей, внимание Некрасова было обращено именно на «внутренний смысл и строй всей крестьянской жизни». Этим объясняется и принципиально иной подход поэта к фольклорному материалу, его осмысление и оценка. Характеристики крестьян в поэме Некрасова отнюдь не напоминают бесстрастно академических «биографических справок» ученых фольклористов о мужиках-сказителях. Все они глубоко социальны, проникнуты суровой правдой жизни. Таков внешний и внутренний портрет Якима Нагого. Вот краткая биография этого мужика:

Яким, старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину
И за соху взялся.
С тех пор лет тридцать жарится
На полосе под солнышком,
Под бороной спасается
От частого дождя,
Живет — с сохой возится,
А смерть придет Якимушке —
Как ком земли отвалится,
Что на сохе присох...

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. М.—Л., 1963, с. 53—54.

Вот его портрет:

Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.

Великий народный поэт уступает свою трибуну крестьянину, некрасовский мужик от своего имени обращается к крестьянской аудитории. В своеобразный дискуссионный клуб превращаются столбовые дороженьки, сельская ярмарка, деревенские избы, риги и, конечно, традиционный кабак. Не случайно Некрасов называет своих героев «народными рассказчиками» и «ретивыми крикунами». Этих «ретивых крикунов» он взял не из фольклорных сборников Даля, Афанасьева, Рыбникова и Барсова, а из самой жизни, из эпохи крестьянских волнений.

Примером крестьянского ораторского искусства являются речи Якима Нагого. Яким Нагой из деревни Босово произносит речь с «валика», говорит он «громким голосом» и «притоптывает лаптишками», а вокруг «валика» — «веселая, ревушая» толпа. Любуясь этой толпой, Яким Нагой заканчивает свою речь призывом:

«Эй! царство ты мужицкое,
Бесшапочное, пьяное,
Шуми — вольней шуми!..»

Это уже не просто житейский рассказ, а речь глашатая. Вместо балаганного ярмарочного зазывалы — крестьянский оратор. Об этой крестьянской речи справедливо писал К. И. Чуковский: «Циникам, которые обвиняли весь русский народ в поголовной обломовщине, в тяготении к безделью и пьянству, Некрасов дал великолепную отповедь в гневной речи крестьянина Якима Нагого, которая по силе убеждения, по страстности является одним из самых вдохновенных произведений поэта (см. главу «Пьяная ночь» в поэме «Кому на Руси жить хорошо»)»¹.

¹ Чуковский Корней. Мастерство Некрасова, изд. 4-е. М., 1962, с. 383.

Крестьянских ораторов Некрасов мог наблюдать и слушать у себя на родине, путешествуя по Ярославской губернии. В связи с введением «Положений 19 февраля» мировой посредник Н. А. Глебов писал 16 августа 1861 года о состоянии умов крестьян Мологского уезда Ярославской губернии: «Крестьяне, до объявления высочайшего манифеста, составили себе понятие о свободе, с нетерпением ими ожидаемой, совершенно несогласное с высочайше дарованными им правами; они ожидали свободы, понимая ее в буквальном смысле, т. е. в свободе труда и праве на землю... Вместе с тем во все время ожиданий развивалось и укреплялось в крестьянах недоверие к помещикам и вообще к дворянам; зная из печатных объявлений, что занятие их крестьянскому делу высочайше поручено лицам, избранным из сословия дворян, которые, по их пониманию, не могли иначе поступить, как ввиду собственных интересов, а потому, что бы им помещики ни говорили о предстоящих изменениях, крестьяне принимали за истолкование в свою пользу, неохотно слушали и даже вовсе не слушали. Конечно, такое расположение заставляло их с усиленным вниманием и слепым доверием обращаться за пояснениями к бойким говорунам из среды своей, исключенным из службы приказным и другим личностям того же элемента, привлекающим еще более крестьян удобствами и дешевизной платы, за которую могли получить какие угодно пояснения, смысл которых со всеми тонкостями ораторского искусства в простонародном духе приноравливался к задушевым желаниям народа, ибо помянутые личности за пару чая, четвертную водки или ничтожную цену сами искали случаев и готовы были с раннего утра до поздней ночи удовлетворять разговорами кого угодно, по его мыслям и желаниям; под удобствами же они разумеют трактиры и питейные дома, в которых недостатку нет, хотя и объяснено было полезное распоряжение губернского начальства в предписаниях к местным полицейским властям следить за нераспространением злонамеренных толков...»¹

Для нас в этом документе особенно важны сведения о народных агитаторах («бойких говорунах») и их отзывчивой аудитории. Картина, нарисованная Н. А. Глебовым,

¹ Записка Глебова была в 1861 году опубликована в «Ярославских губернских ведомостях», № 37. Приложение (см.: Ар х и п о в В. Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова. [Ярославль], Ярославское книжное изд-во, 1961, с. 409—410).

была характерна не только для Ярославской губернии, но и для всей России.

Речь Якима Нагого, произнесенная «со всеми тонкостями ораторского искусства в простонародном духе», выражала задушевные мысли и желания народа. После этой речи к мужикам снова вернулось веселье. Почувствовав доверие к Веретенникову, они спорили и пели, но уже без оглядки на кабатчиков, купцов и акцизных чиновников, пили водку под «политические тосты» Якима Нагого:

Крестьяне как заметили,
Что не обидны барину
Якимовы слова,
И сами согласились
С Якимом: «Слово верное:
Нам подобает пить!
Пьем — значит, силу чувствуем!
Придет печаль великая,
Как перестанем пить!..
Работа не свалила бы,
Беда не одолела бы,
Нас хмель не одолит!..»

7

Не будем следовать по пятам за путешествующими некрасовскими мужиками. Они еще долго толкались среди «горластой, праздничной» толпы, сами превратились в «ретивых крикунов», совсем осмелели. В диспуте принимают участие все новые и новые знакомые странников, как из крестьян, так и представители других классов и сословий. Право арбитра семеро крестьян из Подтянутой губернии всегда оставляют за собой. Они принимают или отвергают речи, поощряют или осуждают оратора. Например, резко обрывают они елейную речь «дьячка уволенного», с презрением относятся к холуйским признаниям дворового человека князя Переметьева, смеются над наивным рассказом «счастливой» старухи о вкусной репе. В таких случаях у них один ответ: «Проваливай!». Зато с огромным вниманием и участием путешествующие мужики слушают «солдата с медалями», крестьянина-белоруса, рассказы крестьянина Федосея из деревни Дымоглотова и «седоволосого попа» об Ермиле Гирине.

Рассказы об Ермиле Гирине, тягавшемся с купцом Алтынниковым, возвращают нас на ярмарочную площадь: «Тот день базарный был». На ярмарке народ выручил Ермила Ильича: за полчаса крестьяне собрали тысячу рублей совестливому, справедливому бурмистру, чтобы мельница на Унже принадлежала ему, а не хищному вымогателю Алтынникову. По убеждению крестьян, Ермил Гирин мог бы при благоприятных условиях стать во главе крестьянской республики, вернее артельного хозяйства. У него имеются все данные администратора и экономиста («мужик проворный, грамотный»). К тому же он перенес тяжелую душевную травму, прошел через суровое нравственное испытание, чуть не покончил с собой, чувствуя свою вину перед народом. Однажды согрешив (вместо своего брата Митрия сдал в рекруты сына Ненилы Власьевны), Гирин чистосердечно покаялся перед миром и стал «пуще прежнего всему народу люб». Ермил Гирин прославился добрыми делами, поэтому не забыт крестьянами, о нем идет хорошая молва, его ставят в пример. Но воспоминания о Гирине в главе «Счастливые» преследуют не только нравоучительные цели. Перед крестьянами открывается своеобразная социальная утопия, мир идеальных человеческих отношений. Некрасов как бы желает приблизить народные легенды об «утраченном рае» и далекой «обетованной земле» к земле вполне реальной, к средней полосе России, к полям и лесам своих земляков, сделать и сами эти легенды более правдоподобными, имеющими конкретный адрес. В рассказе об Ермиле Гирине речь идет не о какой-либо легендарной реке, протекающей в тридевятом царстве, а о реке Унже, притоке Волги, о сообществе костромских крестьян. Вместе с тем Некрасов, далекий от народнической веры в общину, не склонен идеализировать крестьянский «мир».

В биографии Ермила Гирина многое недосказано. Недосказанность эта вынужденная, ибо, видимо, Ермил Гирин не должен был оказаться среди мнимо счастливых. «Строгая правда», которой руководствовался Гирин, привела его в острог. Можно только догадываться, что Гирин пострадал как защитник крестьян, когда в деревню Столбняки прибыло царское «воинство». По цензурным соображениям Некрасов не мог показать вооруженную борьбу народа, крестьян с топорами в руках и пылающие помещичьи усадьбы («красные петухи»). Правда, в главе «Счастливые» он намекнул на разрозненные неорганизованные крестьянские восстания, охватившие Россию: в де-

ревне Столбняки «бунтовалась вотчина помещика Обрубкова». Хотя поэт и не досказал историю этого «бунта», но и из рассказанного ясно, что «царь-батюшка» обманул «крестьянство православное». Если уж взбунтовались крестьяне деревни Столбняки, Испуганной губернии, уезда Недыханьева, то, спрашивается, чего же можно было ожидать от не «остолбеневших» в крепостном рабстве русских деревень? Намек был сделан. Впереди странникам предстояло встретиться с помещиком Гаврилой Афанасьевичем Оболт-Оболдуевым и побывать в поместье у князя Утятина.

В главе «Помещик» сталкивается мужицкое красноречие с помещичьим политическим красноречием. И снова из словесного поединка выходят победителями «бойкие говоруны». Правда, на этот раз они не произносят с земляного валика громких речей, отделяются репликами. Но их реплики обладают уничтожающей сатирической силой и полемической остротой. Оболт-Оболдуев божится, что его слово — «слово честное, дворянское». Путешествующие мужики дают краткую, но меткую оценку этому «дворянскому слову»:

«Нет, ты нам не дворянское,
Дай слово христианское!
Дворянское с побранкою,
С толчком да с зуботычиной,
То не пригодно нам!»

Оболту-Оболдуеву нельзя отказать в известном умении производить впечатление на простодушных слушателей. Это по-своему искусный оборотень, из него мог бы получиться изрядный «щелкопер» «Биржевых ведомостей» или «Русского вестника», присяжный оратор или мелодраматический актер. Говорит он гладко, с воодушевлением, не забывая о «Руси-матушке» («Не о себе печалимся, — Тебя, родная, жаль») и о «духовном родстве» дворян и крестьян. Он вполне владеет лицемерной, фальшивой фразеологией. К крестьянам он обращается «на равных»: «Наденьте шапочки, Садитесь, *господа!*», «Прошу садиться, *граждане!*»¹. Однако крестьянам не приходится долго ждать, чтобы Оболт-Оболдуев обрел свой настоящий язык, заговорил натурально, как и подобает русскому помещику. Вспоминая о далеком и недавнем прошлом, о собственной

¹ Курсив Некрасова.

родословной, Оболт-Оболдуев не может утерпеть, чтобы трижды не повторить излюбленное свое слово «удар»:

«Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция!
Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорррот!...»

Поэт отходит в сторону, предоставляя право Оболту самому нанести себе «зубодробительный удар», разоблачить самого себя, полностью обнаружить свое истинное лицо, свою философию. Это особая манера Некрасова — не вмешиваться в разговоры, предоставлять своим персонажам полную свободу для самовыражения.

Поэма состоит из ряда законченных театрализованных сцен (исключение составляет глава «Крестьянка»). Она написана опытным драматургом, прекрасно знающим народный театр. Глава «Последыш» — превосходный спектакль, разыгранный по всем правилам «художественной самодеятельности». Основной постановщик и главный актер — «подставной бурмистр» Клим Лавин. По поводу этого персонажа в литературоведении существуют самые противоречивые, исключаящие друг друга точки зрения. Одни считают, что он «проходимец», «бродяга и лодырь», «лукавый льстец», «хитрый, бессовестный человек», «угодник барских прихотей», «соглашатель», «либерал по духу», другие характеризуют его как «народного заступника», презирающего господ. Такая пестрота оценок свидетельствует о сложности образа.

К. Ф. Яковлев свою статью озаглавил «Кто он — Клим Лавин?». Действительно, кто же он? Ответ К. Ф. Яковлева: талантливый актер. «Что верно, то верно: последышу досталось, крестьяне иногда действительно животы надрывали от смеха над полоумным барином, слушая речи Лавина. Он был, — пишет К. Ф. Яковлев, — искуснейшим артистом, и, пожалуй, как раз это позволило ему держаться на своей должности. Это и подкупало вахлаков и, видимо, подкупало некоторых исследователей поэмы»¹.

¹ Яковлев К. Ф. Кто он — Клим Лавин? — В кн.: Истоки великой поэмы. Ярославль, 1962, с. 187. См. также в этом сборнике: Краснов Г. В. Народная мысль в главе «Последыш». Для Г. В. Краснова Клим является своеобразным «двойником» Власа. Более правильно, на наш взгляд, другое определение Г. В. Красновым Клина — как «посредника между последышем и мужиками», как «часть крестьянского мира...» (там же, с. 172—174).

Многим исследователям поэмы, однако, как раз не хватало понимания Клима как актера. Спор шел о том, по какому социальному разряду зачислить Клима, в какой ряд — отрицательных или положительных — героев его поместить. Между тем актерство Клима составляет художественную сущность образа. Клим прекрасно умеет перевоплощаться, он выступает в разных лицах, на то он и потомок скоморохов, балагур и «гороховый шут». Необходимо отличать Клима-мужика, подающего надежды стать настоящим бурмистром или купцом, от Клима — «горохового шута». Как актер, он один из самых ярких народных типов в поэме. Это не простой крестьянин, он из рода талантливых балаганных «дедов», шутов-потешников. Его актерская игра пользуется заслуженным успехом у мужиков. «Качать его!» — кричат полупьяные вахлаки. У Клима — богатый опыт. Он расторопный и грамотный мужик, побывавший в Москве, в Питере и в Сибири (купцов сопровождал), мужик «бессовестный», «с цыганами возжаётся» (по характеристике степенного Власа). Не прочь он и перед вахлаками побахвалиться, похвастать своей «образованностью». Нахватавшись риторической псевдопатриотической фразеологии, он поражает мужиков «особенными словами»:

Каких-то слов особенных
Наслушался: Атечество,
Москва первопрестольная,
Душа великорусская.

Перед князем Утятиным он — «плут естественный», умеющий «речью покорной» растрогать до слез жестокого крепостника:

— Отцы! — сказал Клим Яковлич
С каким-то визгом в голосе,
Как будто вся утроба в нем,
При мысли о помещиках,
Заликовала вдруг...

Иногда Клим переигрывает, слишком низко кланяется полоумному помещику, но и это он делает с расчетом, умело играя «горохового шута». Необходимо учитывать, что и сама «камень» была задумана так, что актер, взявшийся играть роль посредника между баринном и крестьянами, не мог не кланяться. Иначе не получилось бы и всей

«пьесы». В основе разыгранного фарса лежит трагикомическая ситуация: чтобы не огорчать «батюшку», закоренелого крепостника князя Утятина, разбитого параличом, его сыновья просят крестьян играть в крепостных, во всем потрафлять помещику:

«Помалчивайте, кланяйтесь,
Да не перечьте хворому,
Мы вас вознаградим...»

Как и следовало ожидать, «гвардейцы черноусые» обманули крестьян, не вознаградили наивных вахлаков поемными лугами. «Камедь» превратилась для крестьян в драму. Драмой она оказалась и для помещика Утятина. Он-то и есть настоящий «гороховый шут». Его ближайшее окружение — сыновья, «гвардейцы черноусые», «три дочери побочные», выданные за генералов, — тоже шутовские персонажи. Ни один балаганный «дед» не смог бы сыграть роль помещика-крепостника так естественно и правдоподобно, как это сделал сам князь Утятин. Он витийствует, произносит угрожающие речи, отдает самые нелепые приказания, «дурит по-старому», уверенный в своих правах и в своей величии. Мужикам оставалось только смеяться. Влас рассказывает странникам о некоторых «приказах» выжившего из ума помещика. Подставной бурмистр Клим объявляет «Приказ по вотчине»:

Ну, слушаем приказ:
«Докладывал я барину,
Что у вдовы Терентьевны
Избенка развалилася,
Что баба побирается
Христовым подаяннем,
Так барин приказал:
На той вдове Терентьевой
Женить Гаврилу Жохова,
Избу поправить заново,
Чтоб жили в ней, плодилися
И правили тягло!»
А той вдове — под семьдесят,
А жениху — шесть лет!
Ну, хохот, разумеется!..
Другой приказ: «Коровушки
Вчера гнались до солнышка
Близ барского двора
И так мычали, глупые,
Что разбудили барина, —
Так пастухам приказано
Впредь унимать коров!»
Опять смеется вотчина.

Не потребовалось ни балаганной сцены, ни специальных актеров, все показано в самом натуральном виде, без суфлера, грима и декораций. Внешность «последыша» тоже весьма колоритна и как нельзя лучше отвечает содержанию образа:

Язык его не слушался:
Старик слюною брызгался,
Шипел! И так расстроился,
Что правый глаз задергало,
А левый вдруг расширился
И — круглый, как у филина —
Вертелся колесом.

В театральном представлении участвует вся деревня, все соревнуются в искусстве «ладнее говорить». Самая ответственная роль досталась Климу Лавину. Он должен был быть и пройдохой, и льстецом, и холопом, восхваляющим «последыша», и тайным защитником крестьян. Клим не из самых сознательных крестьян, не из бунтарей, он не собирается воевать с помещиком, его логика элементарна: крестьяне на том свете обретут настоящее счастье, сейчас же нужно одурачить хотя бы юродивого Утятину, получить в награду для вотчины «приданое». Но когда Клим разыгрывает «камедь», он поднимается над самим собой, над своей натурой. А некоторые его прибаутки приходятся особенно по нутру мужикам. Достаточно ему было сказать, что на том свете помещикам «в котле кипеть», а крестьянам «дрова подкладывать», как мужики ответили дружным смехом.

В этой народной пьесе смешат и юродствуют два шута: один настоящий (полоумный помещик), другой подставной (Клим Лавин). Но есть в ней и другие действующие лица и просто статисты. «У каждого свой сказ про юродивого помещика», — поясняет Некрасов. У Власа не громкая речь, а именно сказ, где за добродушной шуткой и юмором скрывается ненависть к помещикам. Он не жалуется и «Климки бесшабашного»: «Как рукомойник, кланяться Готов за водку всякому». Дедушка Влас — талантливый, умный и лукавый рассказчик-дипломат. Он тоже мог бы сыграть роль «шута горохового», но отказывается потешать «последыша», уступает эту роль Климу Лавину:

Оно и правда: можно бы!
Морочить полоумного
Нехитрая статья,
Да быть шутком гороховым,
Признаться, не хотелось.

В прежние времена шуты в княжеских хоромах и царских дворцах нередко выступали в роли народных заступников. Они, по словам Александра Бестужева, «умели уколоть шуткою князя, боярина и попа». Влас тоже нашел разящие князя-помещика слова. Это он ударил пословицей по «последышу»:

Хвали траву в стогу,
А барина — в гробу!

Среди крестьян, принимавших участие в этой «камеди», есть и настоящие бунтари. Таков мужик Агап Петров. Его бунтовщицкая, гневная речь сильна не словесными фигурами или балагурством. Его речь — нагого, натурального стиля, отрывистая, напряженная, взволнованная. Агап говорит мало, но необычайно выразительно, резко, энергично, со сжатыми кулаками. Некрасов очень тонко определил речь Агапа:

...Брань господская
Что жало комариное,
Мужицкая — обух!

Возглас Агапа «Нишкни!» звучит нешуточной угрозой не только одному «последышу»:

«Крестьянских душ владение
Покончено. Последыш ты!
Последыш ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь,
А завтра мы последышу
Пинка — и кончен бал!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвост, по горницам,
А нас оставь! Нишкни!..»

В черновой редакции есть и такие строчки:

Довольно вам разбойничать,
Пить нашу кровь крестьянскую,
Нишкни!

Выслушав речь Агапа,

— Ты бунтовщик! — с хрипотою
Сказал старик; затрясся весь
И полумертвый пал!

«Полумертвый помещик» — таков финал одной из сцен комедии. Но не стало и Агапа Петрова. «Головка не поклончива», он не вынес унижения, хотя и притворного, а вино довершило дело. Праздника не получилось. Иначе и быть не могло. Некрасов показал, что до настоящего народного пиршества еще далеко. С двумя главными героями разыгранного спектакля — Власом и Климом Лавиным — нам еще придется встретиться. Они придут на самый большой пир («Пир на весь мир»). Концовка «Последыша» проясняет основную идею столь затянувшегося спектакля. Когда вахлаки увидели бездыханного старого князя Утятина, они переглянулись и дружно вздохнули. Это был вздох облегчения:

Крестьяне пораженные
Переглянулись... крестятся...
Вздохнули... Никогда
Такого вздоха дружного,
Глубокого-глубокого
Не испускала бедная
Безграмотной губернии
Деревня Вахлаки...

Вместе с вахлаками с облегчением вздохнули семеро путешествующих крестьян из Подтянутой губернии. Они спешили на встречу с крестьянкой Матреной Тимофеевой.

8

Глава «Крестьянка» занимает в композиции поэмы «Кому на Руси жить хорошо» особое место. Здесь начинается самая прозаическая часть путешествия мужиков. Они погружаются в повседневный быт, в отнюдь не праздничную деревенскую действительность. Перед взором путешественников открывается не ярмарочная площадь с разодетыми парнями и девками, а ржаное поле и бедные крестьянские избы:

Шли долго ли, коротко ли,
Шли близко ли, далёко ли,
Вот, наконец, и Клин.
Селенье незавидное:
Что ни изба — с подпоркою,
Как нищий с костылем;

А с крыш солома скормлена
Скоту. Стоят как остова
Убогие дома.

Собеседницей странников становится Матрена Тимофеевна, многострадальная русская крестьянка, исключительно благородная и глубокая натура. То, о чем говорил Яким Нагой с земляного валика, в рассказах Матрены Тимофеевны находит подтверждение и богатейшие иллюстрации. Своеобразие «Крестьянки» состоит в том, что о народной жизни, мучительной и героической, рассказывает «вопленица», не выходя за пределы семейного жизнеописания. Никогда еще поэма так не срасталась с фольклором, с его языком и образами, как в этой главе.

Исследователями давно установлено, что в «Крестьянке» содержится целый ряд прямых заимствований из плачей заонежских и пудожских воплениц. Матрена Тимофеевна как бы родная сестра Ирины Федосовой, но только родом из Костромской губернии. Создавая образ Матрены Тимофеевны, поэт воспользовался автобиографическим рассказом олонечкой вопленицы, известным по сборнику Е. В. Барсова «Причитания Северного края»¹.

Некрасов и сам неоднократно имел возможность слушать причитания в живом исполнении, он знал эту специфическую женскую крестьянскую поэзию в устном бытовании. В стихотворении «Орина, мать солдатская» (1863) Некрасов за восемь лет до появления первой части «Причитаний Северного края» (1872) почти по Федосовой изображал «кручинушку» — смерть Иванушки и горе его матери. По словам сестры Некрасова, Орина «сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшивить»². Эта некрасовская Орина тоже умела причитывать и о своей «ужасной жизни» могла рассказать поэту в форме традиционного плача. Отсюда странное на первый взгляд совпадение: в стихотворении «Орина, мать солдатская» встречаются стихи, как будто взятые из причитаний Федосовой.

¹ См.: Чистов К. В. Некрасов и сказительница Ирина Федосова. — Научный бюллетень Ленинградского гос. ун-та, посвященный 125-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. Л., 1947, № 16—17, с. 39—45.

² Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 388.

В конечном итоге не столь важно, откуда черпал Некрасов основные мотивы и образы в стихотворении «Орина, мать солдатская» или в «Крестьянке»: из «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым», «Причитаний Северного края» Е. В. Барсова или использовал другие источники, возможно и свои собственные записи. Важнее понять, почему поэт уделял такое внимание народным причитаниям. Н. А. Добролюбов в статье «Черты для характеристики русского простонародья» отмечает, что «самая сущность дела оправдывает выбор женского лица для изображения живых, свободных стремлений мысли и воли в крестьянском сословии». «Притом же можно предполагать,— продолжает Добролюбов,— что и у крестьян, как вообще во всех сословиях, восприимчивость и воображение сильнее у женщин, нежели у мужчин. И действительно, припомнив многие наблюдения над жизнью простонародья, мы находим, что женщины здесь вообще более мужчин склонны к рассуждениям о предметах возвышенных,— о душе, о будущей жизни, о начале мира и т. п.»¹. Это наблюдение Н. А. Добролюбова совершенно справедливо применительно к обрядово-бытовой и лирической народной поэзии. Женщина-поэтесса — явление обычное в фольклоре и поэтому особенно примечательное. Причитания — поэзия женская, это лирика больших человеческих переживаний. Возникает такая поэзия под впечатлением личных утрат, личных и народных бедствий (смерть близкого человека, тяжелое положение женщины-крестьянки в семье и в обществе, сиротство, пожары, рекрутчина, война). Ни один поэт, даже великий певец народного горя Некрасов, не в силах был превзойти народную поэзию, когда нужно было поведать о женской доле, о тяжких испытаниях русской крестьянки.

Матрена Тимофеевна сама рассказывает о своей жизни, рассказывает, прибегая к «заплачкам», близким каждой крестьянке. Ясно, что Некрасов художественно перерабатывает фольклор, народные причитания тоже подвергаются им шлифовке, составляют один из элементов поэтического повествования, авторской речи. Там, где этого требует идея произведения и эстетическая правда, поэт свободно отбрасывает окаменелые эпитеты, производит сжатие текста, придает фольклорным образам большую эмоциональную и художественную емкость. Так,

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 6, с. 238—239.

например, Некрасов освобождает свадебные причитания от излишних словесных украшений, слишком нарядной поэтики. Традиционные украшающие эпитеты и пышные названия («башмачки сафьяновые», «шуба соболиная», «золота парча», «казна бессчетна») заменяются словами и выражениями, взятыми непосредственно из крестьянского быта. Но при этом поэт не разрушает основ фольклорной эстетики, бережно передает народные эмоции. В некрасовских стихах отсутствует «серебряная байна» и тем более «шелково-хрустальная», эти вычурные образы (поэтике фольклора свойственна чрезмерность), но «жаркая баенка» остается неприкосновенной. Это не праздничная, обрядовая, а обычная деревенская баня с «березовым венчиком». Такая баня только и нужна была по ходу действия в главе «Крестьянка»:

День в поле проработаешь,
Грязна домой воротишься,
А банька-то на что?

Спасибо жаркой баенке,
Березовому венчику,
Студеному ключу,—
Опять бела, свежихонька,
За прялицей с подружками
До полночи поешь!

Вся оркестровка стиха окружает простую деревенскую «баенку» какой-то особой лирической задушевностью. В свадебных песнях образ бани скреплен с праздничной стороной крестьянской жизни. «Баенка» как поэтический символ обрядовой поэзии — не просто «парна баенка», но и то укромное место, где невеста в окружении подруг прощается со своей волей, где расплетают девичью косу и даются нравственные наставления. Этот символический смысл фольклорной «баенки», как и многих других обрядовых образов, прекрасно уловил Некрасов, и это значительно важнее, чем если бы он воспроизвел все подробности свадебного обряда или, наоборот, разрушил народно-песенный образ, противопоставил поэтической «байне» обычную черную деревенскую баню.

Заимствования из свадебных причитаний входят в повествование о крестьянке, озаглавленное «До замужства». Матрена Тимофеевна вспоминает о своем детстве, молодости, о суженом-«чужанине», о сватовстве и обручении. В ее рассказе можно найти почти все элементы этого последнего обряда:

«Велел родимый батюшка,
Благословила матушка,
Поставили родители
К дубовому столу,
С краями чары налили:
«Бери поднос, гостей-чужан
С поклоном обноси!»
Впервой я поклонилась —
Вздروгнули ноги резвые;
Второй я поклонилась —
Поблекло бело личико;
Я в третий поклонилась,
И волюшка скатилась
С девичьей головы...»

Точность описания обряда подкрепляется примечанием Некрасова к слову «волюшка»: «Во время последней вечеринки, или порученья, — указывает поэт, — с невесты снимают *волю*, то есть ленту, которую носят девицы до замужства».

О свадебном пиршестве Некрасов сообщает очень кратко. Матрена Тимофеевна спешит поведать о дальнейшей своей судьбе: тяжелой работе, постоянных унижениях, заботах о детях, вечных слезах. В поэму включается трагическая повесть о русской крестьянке, о потерянных ключах от счастья. И сам образ крестьянки, замученной невзгодами, сливается с плачем-сетованием, со стоном других крестьянских матерей. В минуты наиболее сильного напряжения и эмоционального возбуждения в скорбные плачи врываются громкие возгласы протеста. В рассказе о Демушке, о лекарях, режущих на части тело покойника, и о наезде на деревню царского чиновника (мирового посредника) Некрасов сделал подстрочное примечание к плачу матери: «Взято почти буквально из народного причитанья». Поэт обратил внимание на плач Ирины Федосовой («Плач о старосте»), чтобы затем словами этого плача рассказать об отчаянии матери и ее проклятиях, посылаемых на головы начальства. Ирина Федосова заканчивает свой плач так:

Вы падите-тко, горюци мои слезушки,
Вы не на воду падите-тко, не на землю,
Не на божью вы церковь, на строеньице,
Вы падите-тко, горюци мои слезушки,
Вы на этого злодея супостатого,
Да вы прямо ко ретливому сердечушку,
Да ты дай же, боже господи,
Чтобы тлен пришел на цветно его платьице,
Как безумьице во буйну бы головушку.
Еще дай же, боже господи,

Ему в дом жену неумную,
Плодить детей неразумных.
Слыши, господи, молитвы мои грешные,
Прими, господи, ты слезы детей малых!

У Некрасова:

«Злодеи! Палачи!
Падите мои слезоньки
Не на землю, не на воду,
Не на господень храм!
Падите прямо на сердце
Злодею моему!
Ты дай же, боже господи!
Чтоб тлен пришел на платье,
Безумье на головушку
Злодея моего!
Жену ему неумную
Пошли, детей — юродивых!
Прими, услыши, господи,
Молитвы, слезы матери,
Злодея накажи!..»

Совпадение бесспорное и давно открытое фольклористами. Но столь же показательно сюжетное различие: Некрасов изменяет сам характер деревенского происшествия. У Федосовой внезапная смерть мальчика не связана со специфичностью деревенского быта: мальчик свалился с лавки в отсутствие родителей. Некрасову показалась подобная ситуация недостаточно характерной для деревни. Смерть Демушки совсем ужасна. Она — прямое следствие деревенского экономического уклада, убогого быта, бедности и нищеты:

Заснул старик на солнышке,
Скормил свиньям Демидушку
Придурковатый дед!..
Я клубышком каталася,
Я червышком свивалася,
Звала, будила Демушку —
Да поздно было звать!..

Что касается переживаний матери, то о них причеть коротко сказала все: «Я клубышком каталася...»

Изображенная Некрасовым страшная трагедия подсказана самой жизнью, крестьянским бытом, безнадзорностью деревенских ребят. Сведения о крестьянских детях, съеденных свиньями, постоянно мелькали на страницах печати. В 1861 году некрасовский «Современник» во «Внутреннем обозрении» перепечатал из «Северной пче-

лы» следующее «извещение»: «Черниговской губернии, Остерского уезда, в имении помещика Барановского, приказчик из крестьян того же помещика, Корней Романов, 6 ноября нанес жестокие побои находившейся на барщине Матрене Овчинниковой. От этих побоев она заболела и через два дня, т. е. 7 ноября, преждевременно разрешилась от бремени живым младенцем, которого съели свиньи. Овчинникова, будучи в то время, и от преждевременных родов, и от побоев, в весьма болезненном состоянии, не могла спасти своего ребенка»¹. Не от этой ли избитой приказчиком Матрены ведет Некрасов родословную своей Матрены Тимофеевны?

«Современник» указывал, что подобные происшествия не являются редкими. Только за три месяца 1861 года в редакцию журнала поступило четыре «известия» о съеденных свиньями крестьянских детях. К подобным фактам «нечего прибавлять: они сами за себя громко говорят». «Современник» советовал в дальнейшем аналогичные «сведения» публиковать «с большими подробностями». Исходя из этих жизненных фактов, Некрасов и вносит коррективы в сюжет федосовского плача. В стихотворении «Деревенские новости» (1860) поэту уже довелось писать о такой же трагедии:

А у солдатки Аксиньи
Девочку — было ей с год —
Съели проклятые свиньи...

В «Крестьянке» собраны жизненные впечатления поэта и «деревенские новости». Обычно это очень невеселые «новости», о которых официальная пресса сообщала в редких случаях. Матрена Тимофеевна рассказывает крестьянам-странникам о том, как ее сын Федотушка «по младости, по глупости» прокараулил «овечку Марьину», скормил ее голодной волчице. Кажется, сам по себе факт мало чем примечателен. Обычная деревенская история. Но что за ней последовало? Матрена Тимофеевна со слезами умоляла, чтобы не наказывали Федотушку. Помещик «простил» малолетнего подпаса, но тут же приказал «примерно наказать» его мать, «бабу дерзкую». О самом наказании Матрена Тимофеевна ничего не рассказывает, зато о своем отчаянии, горе и унижении она рассказывает подробно, вернее причитывает, дословно повторяя тот самый плач, который когда-то сложился у

¹ Современник, 1861, № 4, с. 467.

нее «на речке быстрой», «у ракитова куста» («Зарыдала, сирота!»):

Громко звала я родителя:
Ты приходи, заступник батюшка!
Посмотри на дочь любимую...
Понапрасну я звала.

Громко кликала я матушку.
Отзывались ветры буйные,
Откликались горы дальние,
А родная не пришла!

Нет великой оборонушки!
Кабы знали вы да ведали,
На кого вы дочь покинули,
Что без вас я выношу?
Ночь — слезами обливаюся,
День — как травка пристилаюся...
Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу!..

Последняя строка — «Сердце гневное ношу» — многое объясняет. Сам образ «горющицы», образ бесконечно трагический, уже был вызовом тем, кто издевался над крестьянами. Своеобразие причитаний и рассказов Матрены Тимофеевны, выросших на основе этих причитаний, состоит в том, что тема общественная в них редко выступает открыто, чаще социальный протест находит выражение в личных скорбных переживаниях, в жалобах на свою судьбу. Могила мужа или сына, деревенская площадь, где собирают рекрутов или чинят расправу над крестьянами, изба, где снаряжают девушку в подневольное замужество, и поле, где в поте лица трудится крестьянка, — вот арена народных поэтесс-воплениц¹. Это поэзия плачущей России, слезливая, печальная и гневная, в которой бунтарские настроения переплетаются с обращениями к богу, с религиозным смирением, энергия — с вялостью, с растерянностью. Вопленицы по-своему откликаются на драматические события народной жизни. Кровавые усмирения крестьянских восстаний вызвали море народных слез. В дни расправы над восставшими матери и жены, а также профессиональные вопленицы не могли молчать, не оплакивать погибших. В рапорте генерал-майора Н. Г. Казнакова, докладывавшего о восстании крестьян в 1861 году

¹ См.: Базанов В. О социально-эстетической природе причитаний. — Русская литература, 1964, № 4, с. 77—103.

в Тарусском уезде Калужской губернии, сообщалось о плачах и воплиницах: «Во время взятия крестьян под стражу и наказания их толпы, расположенные вдали, и преимущественно женщины, которых разогнать не было возможности, оглашали воздух плачем и воплями, поощряли крестьян к сопротивлению, кричали мужьям, чтобы выдерживали наказание до конца, не давая обещания исправлять барщину, старались убеждать солдат к неисполнению своего долга и осыпали меня бранью»¹. В описанной обстановке мотивы протеста легко могли вплестись в традиционные причитания.

Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» не случайно уделил такое внимание крестьянке Матрене Тимофеевне и ее причитаниям. Поэт услышал в народных плачах голос миллионов русских крестьянок, замученных гнетом. Но была еще поэзия мужская, мужественная, волевая, поэзия широкого эпического размаха (героические былины и удалые песни). Некрасов не прошел мимо и этого вида народной поэзии, его поэму питал весь крестьянский фольклор.

Идейная и художественная сложность «Крестьянки» состоит в том, что в этой «поэме в поэме» объединены два сюжета, два народных характера и две фольклорных стилистики. Савелий, богатырь святорусский, представляет народную героиню, напоминает о ней². Героический эпос

¹ Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права, с. 89.

² Матрена Тимофеевна сравнивает Савелия с Иваном Сусаниным:

Стоит из меди кованый,
Точь-в-точь Савелий дедушка,
Мужик на площади.
— Чей памятник? — «Сусанина».

Это сравнение прекрасно прокомментировано в статье А. Ф. Тарасова «О местных источниках поэмы». «Поселив своего бунтарского героя — Савелия, богатыря святорусского — в костромскую «корезину», на родину Сусанина и Комиссарова, исконную вотчину Романовых, отождествив устами Матрены Тимофеевны Савелия с Сусаниным, Некрасов показал, кого в действительности родит костромская «корезская» Русь, каковы в действительности Ивана Сусанины, каково вообще русское крестьянство, готовое на решительную битву за освобождение (...) Иван Сусанин был изображен на памятнике коленопреклоненным перед царем. Чрезвычайно показательно, что, описывая памятник, Некрасов выпрямил Сусанина — «стоит из меди кованый (...) мужик на площади», а бюст Михаила Романова не поминается в поэме совсем» (Истоки великой поэмы, с. 59). Только ради этого сравнения (Иван Сусанин — Савелий, святорусский богатырь) Некрасову стоило поселить Матрену Тимофеевну в Костромской губернии и направить к губернаторше в Кострому.

и причитание оказываются под одной крышей. Некрасов не пошел по пути былинных стилизаций. Савелий-богатырь не картинная фигура из старого эпоса, он земной из земных, «богатырь сермяжный», образ, лишенный всякой гиперболизации. Некоторые исследователи ставят его рядом с Рахметовым. Это, конечно, преувеличение, но черты крестьянского революционера в нем есть несомненно.

О Савелии рассказывает Матрена Тимофеевна, и рассказывает так, что перед слушателями вырастает как будто сам живой богатырь. В рассказе звучит его голос, спокойный и волевой, слышится его собственная речь:

«...Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней — сломались.
А грудь? Илья-пророк
По ней гремит-катается
На колеснице огненной...
Все терпит богатырь!

И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?»

Рассказы Савелия-богатыря о его жизни, полной испытаний и мужественной борьбы,— эпические и величественные. Показательно, как реагировали на эту былинно-сказовую речь в передаче Матрены Тимофеевны крестьяне из Подтянутой губернии. Особое внимание странников привлек, видимо, рассказ о дерзкой расправе мужиков с управляющим-крепостником, немцем Фогелем, которого они живьем закопали в яме:

«Наддай!» — я слово выронил,—
Под слово люди русские
Работают дружной,—
«Наддай! наддай!» Так наддали,
Что ямы словно не было —
Сровнялася с землей!

Это «наддай» запомнилось слушателям Матрены Тимофеевны. Они просят ее досказать им историю ее «житья-бытья»:

«Наддай!» — сказали странники
(им слово полюбилось)
И выпили винца...

В поэме подчеркивается большой ораторский дар Савелия-богатыря:

И долго, долго дедушка
О горькой доле пахаря
С тоскою говорил...
Случись купцы московские,
Вельможи государевы,
Сам царь случись: не надо бы
Ладнее говорить!

Вслед за Якимом Нагим не трудно представить себе и Савелия-богатыря беседующим с крестьянами. Даже тогда, когда некрасовские мужики не пользуются торжественной, ораторской речью, а запросто беседуют в крестьянской избе, они остаются по-своему ораторами, красноречивыми рассказчиками, речь их отличается яркой эмоциональной окраской. Говоря о своеобразии художественных приемов Некрасова, К. И. Чуковский тонко отметил, что поэма «Коробейники» — эта «типичная повесть из народного быта» — «не столько рассказана, сколько пропета». Такое же переплетение прозаических, разговорных, сказочных форм с формой песенной отмечает он и в «Кому на Руси жить хорошо»: «Получается не сказ и не песня, а нечто среднее: песенный сказ. Получается своеобразная, ни с чем не сравнимая, специфически некрасовская речь, которая колеблется между этими двумя противоположными формами, между песней и повествовательным сказом, попеременно приближаясь то к одной, то к другой»¹. Однако и сам сказ в поэме не есть только «песенный сказ». В этом легко убедиться на примере «рассказа в рассказе» (рассказа старца Савелия в передаче Матрены Тимофеевны). Рассказ Савелия — певучий и торжественный эпический сказ.

Вскоре после печальной истории с Демушкой Савелий-богатырь, уже совсем глубокий старик, потрясенный горем, уходит на покаяние в Песочный монастырь. Савелий-отшельник по-прежнему остается мудрым, неподкупным, он только высох и помрачнел. Его первые молитвы — за «Дему бедного» и «за все страдное русское крестьянство». Перед самой смертью этот крестьянин-богатырь и крестьянин-философ произносит прощальную речь, на которой лежит отпечаток не только его собственной судьбы, но и исторический отсвет неудачных крестьянских восстаний, тяжелой безвыходной доли народных масс:

¹ Чуковский Корней. Мастерство Некрасова, с. 611.

«Как вы не бейтесь, глупые,
Что на роду написано,
Того не миновать!
Мужчинам три дороженьки:
Кабак, острог да каторга,
А бабам на Руси
Три петли: шелку белого,
Вторая — шелку красного,
А третья — шелку черного,
Любую выбирай!..
В любую полезай!..»

Некрасовский Савелий в своем героическом и трагическом величии вырастает в колоссальную фигуру. Сын крестьянской России со всеми ее кричащими противоречиями, Савелий предстает подлинным народным богатырем, которого не смогли сломить ни помещичий строй, ни царская каторга. Из всех тяжелейших жизненных испытаний (плети помещика, острог, каторга, снова плети) он выходит нравственно не сломленным, полным чувства собственного достоинства («Клейменный, да не раб!»). Но образ крестьянского богатыря полон трагизма. Это одинокий бунтарь, у которого есть недюжинная сила, но нет ясной цели и уверенности в завтрашнем дне. Его не сломила борьба, но надломили, превратили в отшельника бесконечно малые результаты этой борьбы. Савелий так и не сумел улучшить крестьянскую жизнь, сделать счастливыми своих земляков, несмотря на свой титанический характер, выкованный веками мучительной народной истории. Дед не смог уберечь даже внука. Смерть внука Демушки — всего лишь драматическая подробность, но очень многозначительная, существенная. Савелий уходит в святые места, чтобы там схоронить свою мятежную душу. Иными словами, Некрасов не желает превращать Савелия-богатыря в романтического «благородного разбойника» или в народнического Илью Муромца, который одерживает сравнительно легкую победу. Некрасов остается реалистом до конца. В его гениальной поэме нет счастливых крестьян. Поэт понимает, что народное счастье предстоит завоевывать в долгой и напряженной борьбе, и поэтому все свои надежды возлагает на революционное будущее.

Читая «Крестьянку», реакционный критик В. Г. Авсеенко недоумевал в «Русском мире»: «Что это? поэзия, реализм, пропаганда, стихотворный протест?»¹. Ему мож-

¹ А. О. [В. Г. Авсеенко]. Очерки текущей литературы.— Русский мир, 1874, № 67.

но было бы ответить: все вместе взятое. И поэзия, и суровый реализм, и стихотворный протест, и пропаганда. Пропаганда и в том случае, когда говорится о безвыходности, о поражениях, о патриархальности русского крестьянина, о трудностях борьбы.

9

Работая над поэмой, Некрасов постоянно думал о развитии сюжета, уточнял фабулу, пересматривал композицию. Сам поэт в автобиографических набросках признавался, что сюжет складывался не сразу, что он «не видел ясно» конца поэмы. «И чем дальше пишешь, тем яснее представляешь себе дальнейший ход поэмы, новые характеры, картины»¹. Как известно, великая поэма осталась незаконченной, Некрасов не успел ее завершить. Для историков литературы остается открытым вопрос: через какие испытания пришлось бы пройти странствующим мужикам, чтобы найти в конце концов счастливого человека на Руси? До сих пор ведутся споры о композиции, о порядке следования отдельных частей, о возможном конце поэмы. От композиционной структуры, от того, в какой последовательности расположены главы, многое зависит в понимании идейной и художественной концепции «Кому на Руси жить хорошо». Если главу «Крестьянка» поместить после главы «Пир на весь мир», то есть «Пир...» передвинуть в середину поэмы, то и весь сюжет перестроится, поэма приобретет особо драматический характер.

Возможно, что на каком-то этапе работы над поэмой (до 1874 года) у Некрасова мелькала мысль закончить путешествие крестьян встречей с Матреной Тимофеевной и с дедом Савелием. «Бабыя притча» и рассказ Савелия-богатыря бросили бы на все предшествующие события, на все странствие мужиков особый, безысходно трагический ответ. При таком построении сюжета слова Савелия звучат как конечный вывод: мужикам «три дороженьки: кабак, острог да каторга». «А бабам на Руси три петли (...). В любую полезай». Тогда вполне естественным окажется и тот конец поэмы, о котором рассказывает Г. И. Успенский со слов самого Некрасова: «Не найдя на Руси

¹ Литературное наследство, т. 49—50, 1946, с. 204.

счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и т. д. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречаются они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо¹. После неудавшихся стихийных крестьянских восстаний, разгрома «Земли и воли», после ареста Михайлова и Чернышевского, после наступившего «белого террора», процесса ишутинцев и казни Каракозова, закрытия «Современника» и т. д. Некрасов мог прийти к выводу, что «Кому на Руси жить хорошо» следует закончить скорбными плачами Матрены Тимофеевны, столь же скорбной исповедью Савелия-богатыря, печальной сценой у кабака. Однако в дальнейшем, продолжая работать над поэмой, прислушиваясь к народным толкам и слухам, наблюдая революционное брожение среди передовой интеллигенции, Некрасов в годы начавшегося «хождения в народ» мог пересмотреть композицию поэмы, сделать необходимые сюжетные перестановки, принять окончательное решение о заключительной главе, которая должна была стать жизнеутверждающей, оптимистической. Отсюда и название «Пир на весь мир». Л. А. Евстигнеева, посвятившая спорным вопросам изучения поэмы «Кому на Руси жить хорошо» специальную статью, не без оснований видит в «Пире...» «новую мысль о возможности революционной пропаганды в народе». «Именно теперь, когда мужик научился рассуждать не только «о коровушке да курочке», ему необходимо слово агитатора. Отсюда — перенесение идейного центра главы на песни»².

«Пир на весь мир» — самая песенная глава. Путешествующие мужики снова попадают на сборище, на самое большое пиршество, на берег Волги. Здесь сходятся все сюжетные дороги поэмы, праздничные и печальные.

¹ Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 6. М.—Л., 1953, с. 180.

² Евстигнеева Л. А. Спорные вопросы изучения поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971, с. 398. В статье Л. А. Евстигнеевой дается полный обзор литературы, имеющей отношение к спору о композиции поэмы и расположении ее отдельных глав. Критический обзор мемуарных сведений и свидетельств о намерении Некрасова закончить поэму сценой с пьяным счастливецом см.: Теплинский М. В. О предполагаемом финале поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы, вып. III. [Ярославль], Верхне-Волжское изд-во, 1971, с. 183—189.

...Где праздники справляются,
Где сходки собираются,
Где днем секут, а вечером
Целуются, милуются,—
Шел пир, великий пир!

«Затейщик пира» здесь Клим Лавин, «видавший благородные пиры с речами, спичами». К этому бойкому балагуру у крестьян несколько ироническое отношение, хотя он уже не тот, каким был в поместье «последыша»:

— У Клина речь короткая
И ясная, как вывеска,
Зовущая в кабак,—
Сказал шутливо староста: —
Начнет Климаха бабою,
А кончит — кабаком!

«Климаха» создан больше для ярмарочного веселья, для балаганного шутовства, нежели для серьезных разговоров. Рядом с мужиком-балагуром Климом — «неверующий» Влас, он стал еще мрачнее. Влас всегда вместе с миром, он не любит одиночества, знает цену настоящему веселью, но не желает потворствовать бесшабашной радости на час. Это думающий крестьянин, скептик и трезвый реалист. Поэт так объясняет, почему Влас «вечно был угрюм»:

Не столько в Белокаменной
По мостовой проехано,
Как по душе крестьянина
Прошло обид... до смеху ли?..

С этим объяснением согласился бы и Герцен, сказавший однажды: «Крепостные слуги лишены права улыбки в присутствии помещика». «Мы потеряли речь», — дружно заявляют вахлаки и тоже ссылаются на свою жизнь «под рылом у помещика»:

В молчанку напивались,
В молчанку целовались,
В молчанку драка шла.

Барышня Гертруда Александровна в соседней волости за каждое крестьянское «слово крепкое» приказывала нещадно драть.

И драли же! покудова
Не перестали лаяться.
А мужику не лаяться
Едиho, что молчать.

Вынужденное молчание сковывало всю крестьянскую Россию, давило оно и на народное творчество. И все же народное вольное слово выжило, и его прекрасно продемонстрировали мужики на Вахлячине, на крестьянском пиру, возникшем стихийно, без всяких обрядовых ритуалов, за простой круговой чашей.

Сельские обрядовые праздники, освещенные вековыми традициями, устойчивыми формами, даже несколько ограничивали вольное слово, не давали ему развернуться, прозвучать громко, по-настоящему. На это тоже намекает Некрасов. Поэт, безусловно, дорожит праздничными сценами, юмористическим фольклором, однако иногда он проявляет критическое отношение к «смеху ради смеха», к слишком профессиональным «дедам», забавляющим темный народ безобидными шутками. Сошлемся на «ярмарочный» эпизод «Пира». В шумную, подгулявшую мужицкую ватагу затесался бывший солдат, ныне балаганный «дед» Овсянников. «Дед» со своими потешными «ложечками» не сразу приходится ко двору, слишком заученными, лубочными кажутся его прибаутки:

Райком кормился дедушка,
Москву да Кремль показывал,
Вдруг инструмент испортился,
А капиталу нет!
Три желтенькие ложечки
Купил — так не приходится
Заученные натвердо
Присловья к новой музыке,
Народа не смешат!

В песне про солдатское житье, которую он поет, слышны ноты протеста, но выражены они в отвлеченной форме («Тошен свет, правды нет...») и не слишком трогают мужиков. Дело сразу же меняется, когда с речью к собравшимся обращается все тот же Клим: «(Служивый не выдерживал И часто в речь крестьянина Вставлял словечко меткое И в ложечки стучал.)» Не в кабаке и не на балаганной сцене, а именно здесь — на берегу Волги, на лоне природы, в непринужденной обстановке — царит настоящее веселье и настоящая народная поэзия. Здесь можно сказать и «слово крепкое», и вольную песню спеть, и побахвалиться, и «потузить» друг друга.

Кстати, самые потешные эпизоды и излюбленные приемы лубочной литературы и балаганных театров — «потузить», затеять драку — настолько переосмыслены Некрасовым и подчинены общему настроению поэмы, что от

репертуара ряженных шутов и «дедов» фактически ничего не остается. В поэме описаны различные драки: в Прологе — дружеская потасовка семерых странников, кончающаяся полным примирением, в главе «Сельская ярмонка» драка — неперенный элемент ярмарочного веселья:

Шумит, поет, ругается,
Качается, валяется,
Дерется и целуется
У праздника народ!

«Пьяной ночью» странникам на дороге «все чаще попадают избитые, ползушие» мужики. В этой же главе — глухое упоминание о разыгравшейся трагедии. Сотский скачет за становым:

..Оказия:
Там впереди крестьянина
Убили... — «Эх!.. грехи!..»

В последней главе Клима дерется с прасолом:

«Ай, драка! молодцы!»
Крестьяне расступились,
Никто не подзадоривал,
Никто не разнимал.

Но если эта стычка кончается добродушным смехом зрителей, то по-настоящему, не жалея кулаков, крестьяне расправляются с холуями и предателями. Так всей артелью был избит Егорка Шутов. Ему дали настоящего «пинка» — целые деревни творили правосудие над своим давним и заклятым врагом, хотя Егорка сам принадлежал к крестьянскому сословию. За что же били Егорку? За предательство, за то, что этот «шпион» помогал усмирителям крестьянских восстаний расправляться с бунтовщиками. За малую житейскую оплошность крестьяне не лупили бы так дружно, до полусмерти. П. И. Якушкин в очерке «Бунты на Руси», рассказывая о такой же расправе над ябедником в Нижегородской губернии, со слов народа замечал: «Без вины не стали бы с ним такого делать... Мир приговаривал: стоило, по правде»¹. Егорку Шутова били тоже «по правде»:

— Коли всем миром велено:
Бей! — Стало, есть за что!

¹ Современник, 1862, № 3, с. 78.

Сидя на бревнах «под старой-старой ивою», мужики выпили немало чарочек, наслушались «горьких песен» и рассказов. Наконец «галденье» перешло в горячий спор о причинах и виновниках народного горя, «о том, кто всех грешней». Пожалуй, спор никогда еще не принимал такой острой формы, как во время этого «пира» в селе Вахлачина. Выступает «один», «другой», «третий»:

Один сказал: «кабатчики»,
Другой сказал: «помещики»,
А третий — «мужики».

Этот «третий» был Игнатий Прохоров, «степенный и зажиточный мужик — не пустослов». Игнатия Прохорова перебивает Клим, Клима — прасол Еремин, вставляя «слово грубое». Обстановка настолько накалена, что спорщики от словесного диспута переходят к состязанию в силе, вступают в рукопашный бой:

Клим сжал рукой, как обручем,
Другой вцепился в волосы
И гнул со словом «кланяйся»
Купца к своим ногам.

В грехах помещиков, попов, купцов и чиновников крестьяне не сомневаются, об этом не спорят. Спор идет о грешниках крестьянах. Игнатий Прохоров «громовым, грозным голосом» клеймит за «иудин грех» Глеба-старосту, предавшего восемь тысяч крепостных душ. Среди крестьян имеются свои тираны и предатели, вроде старосты Глеба и шпиона Егорки Шутова. А о таких добровольных холопах, как дворовый князя Утятиня Ипат и «холоп примерный — Яков верный», в поэме сказано:

Люди холопского звания —
Сушие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

Становление крестьянского политического самосознания — основной пафос поэмы. «Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер»¹. Таким крестьянским революционером является Савелий, сознающий свое рабство и борющийся против него

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 40.

(«Клейменный, да не раб!»). «Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам»¹. Эти слова В. И. Ленина прекрасно поясняют смысл затеянного Некрасовскими мужиками спора о «чувствительных холоуях» и «сущих псах» из крестьянского сословия.

Вторая тема последнего диспута — разбойники. Для прасола Еремина разбойники и есть самые великие грешники. У народа двойственное отношение к разбойничеству, поэтому Клим говорит: «Разбой — статья особая». Используя народные легенды и предания о разбойниках, Некрасов создает сказ «О двух великих грешниках». Тот факт, что рассказ об атамане Кудеяре ведет «божий странник» Ионушка, сам якобы слышавший эту «древнюю быль» от инока Соловецкого монастыря, отца Питирима, должен был придать рассказу в глазах крестьян особую авторитетность, исключить всякие сомнения в его достоверности².

Еще Н. К. Михайловский обратил внимание на фольклорные легенды о двух «великих грешниках» из сборника А. Н. Афанасьева «Русские народные легенды». «Великий грешник» в одном из фольклорных вариантов убивает разбойника, хваставшегося своими преступлениями, и в результате получает прощение своих прежних грехов. Некрасовский Кудеяр идет и от фольклора и от некоторых давних замыслов поэта, ставших со временем исключительно актуальными. В стихотворении «Влас» было заложено начало нравственной истории Кудеяра. Исследователи справедливо находят нечто общее между раскаявшимся Власом и Кудеяром и одновременно видят в кровавом отмщении Кудеяра отрицание религиозного праведниче-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 40.

² Об использовании Некрасовым различных фольклорных версий легенды о Кудеяре и двух великих грешниках см.: Г и н М. М. Спор о великом грешнике. — В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования, т. VII. М.—Л., 1962, с. 84—97. Публикация народных преданий и песен о разбойниках обычно вызывала неудовольствие и сопротивление цензуры. Познакомившись с «Тульскими губернскими ведомостями» за 1848 год (№ 2—6), цензурный комитет обратил внимание на помещенное в них этнографическое описание города Черни и его уезда, в особенности на то место этого описания, где приводились легенды о местных разбойниках, в частности о Кудеяре: «...Лучше было бы не помещать в губернских газетах, читаемых во всех сословиях, описания походов разбойников

ства Власа¹. На сопоставление двух грешников историков литературы наводит Ф. М. Достоевский. По Достоевскому, именно раскаявшийся и смирившийся Влас олицетворяет все нравственные и моральные достоинства простого русского народа: «эта потребность самоспасения, эта страстная жажда страдания...». С помощью некрасовского Власа Достоевский строит свою теорию почвенничества. Но Достоевский признает существование и «другого Власа». Это что-то вроде деревенского «нигилиста», «деревенского Мефистофеля», «доморощенного отрицателя» или богатыря-анархиста, способного «кутнуть, махнуть через край»². Таким образом, Достоевский, посвятивший «Власу» в «Дневнике писателя» специальную статью, видит в народной среде разные волевые характеры, разные психологические типы, нравственные и социальные тенденции.

Возвращаясь к «великому грешнику» в поэме «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов не столько рассматривает само разбойничество как явление социальной истории (разбойничество был склонен идеализировать Бакунин), сколько нравственное возрождение человека из народа, вставшего на грешный путь, на путь личного произвола, обогащения, оторвавшегося от народа и отвергнутого народом. Предводитель разбойничьей шайки для себя одного искал воли и счастья, он пренебрегал общинными устоями, народной этикой, действовал как эгоист, грабитель и злодей, проливая кровь «честных христиан». Такой разбойник («зверь-человек») противоречил народной нравственности. Народная поэзия не идеализирует разбойничество, исключение она делает только для социальных мстителей. Кудеяра замучила совесть, он распустил шайку, «роздал на церкви имущество», стал отмаливать свои грехи. Но именно религиозный аскетизм, покаяние и смирение,

и их удалства, а тем более безнаказанности злодея, оставившего несметное богатство, зарытое в кладах. Если подобные поверья существуют у нас в народе и живут в сказках и преданиях, то поддержание их не может, однако же, входить в цели правительства, а губернские газеты имеют характер изданий официальных, назначением которых во всяком случае должно бы, кажется, быть распространение вещей и понятий полезных, или по крайней мере безвредных, а не таких нелепых басен, особенно ж с оставлением их без опровержения» (ЦГАОР, ф. 100, оп. 1, № 99, л. 4 и об.).

¹ См.: Старикова Е. В. Достоевский о Некрасове.— В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971, с. 312—313. См. также: Гин М. Достоевский и Некрасов (Два мировосприятия).— Север, 1971, № 12, с. 106—110.

² См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произв., т. 11. М.—Л., 1929, с. 31—41.

умерщвление самого себя, решительно отвергаются Некрасовым, его легендой о Кудеяре. «Великий грешник» должен искупить свою вину «работой великой», не уходить в монастырь, но расправиться с угнетателями народа. Только тогда он получит прощение, залечит свои душевные раны. Некрасовский Кудеяр так и поступает. Он срежет «дуб вековой» и тем же булатным ножом прикончит пана Глуховского, который, по собственному его признанию, губил, мучал, пытал и вешал своих холопов.

Чудо с отшельником случилось:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!

Это был удар по всем панам и помещикам, по всему дворянскому сословию.

Невольно вспоминается, как в главе «Помещик» Оболт-Оболдуев объясняет крестьянам, что означает «слово самое: помещик, дворянин»:

«...Скажите вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь?»
— Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое! —
Сказали мужики.

После такого ответа помещик пытается «вразумительней» растолковать мужикам, что же такое родословное дворянское дерево, и рассказывает им историю собственного «роду именитого». Рассказ этот, прерываемый дерзкими репликами и вопросами крестьян, с огромной обличительной силой и разящей иронией воссоздает типичную историю одного из родов трехсотлетнего российского дворянства. Оболт-Оболдуев кичится «заслугами» своего предка, отличившегося тем, что «в день царских именин спускал медведя дикого с своим, и Оболдуева медведь тот ободрал». «Ну, поняли, любезные?» — вопрошает он своих слушателей-мужиков, на что следует ответ:

— Как не понять! С медведями
Немало их шатается
Прохвостов и теперь.

Прапрадед Оболдуева по матери «был и того древней» и имеет перед Россией еще большие «заслуги»:

«Князь Щепин с Васькой Гусевым
(Гласит другая грамота)
Пытал поджечь Москву,
Казну пограбить думали,
Да их казнили смертью...»

С гордостью Оболт-Оболдуев заключает свой рассказ о «доблестной» истории дворянского «дерева»:

«А было то, любезные,
Без мала триста лет.
Так вот оно откудова
То дерево дворянское
Идет, друзья мои!»

С этим понятием «дворянского дерева» связано и некрасовское иносказание в легенде о Кудеяре о сваленном вековом дубе. Кудеяр убивает разбойничьим ножом пана Глуховского. Только тогда

Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов!..

О помещиках, убиваемых своими крепостными, мог писать открыто Герцен в «Колоколе». Здесь, в «Колоколе», содержится и реальный комментарий к некрасовской легенде о Кудеяре. Под рубрикой «Жестокое обращение и другие злодеяния помещиков» в номере от 1 октября 1859 года была опубликована корреспонденция о происшествии в Смоленской губернии, в частности о том, как помещик Глуховский засек своего крепостного крестьянина. «Сошедший со страниц «Колокола» непосредственный жизненный прототип «пана Глуховского» придал этому второму персонажу некрасовской притчи его индивидуальную достоверность и социальную типичность»¹.

10

В поэме разбросаны иносказания и образы-символы, которые повторяются, подчеркиваются, образуют единый смысловой ряд. Они разгадываются с помощью реальных жизненных фактов. Напомним, что, покидая село после

¹ Н о л ь м а н М. Л. Легенда и жизнь в некрасовском сказе «О двух великих грешниках» — Русская литература, 1971, № 2, с. 138.

кузьминской ярмарки, последнее, что видят мужики, — это «бревенчатое строение» с решетками. Для мужиков было ясно, что из этого дома по «печальной и тихой» дороге отправляются в далекую Сибирь «заступники народные» и крестьяне-бунтовщики. Разгулявшиеся мужики за дерзкие речи (Яким Нагой) и сами могли попасть за решетку, но судьба на этот раз их миловала. Крестьянский пир на берегу Волги («Пир на весь мир») начинается с очередной новости: на противоположном берегу Волги «третьеводни» сгорел город. Сохранилось единственное здание — тюрьма, в которой попряталось уездное начальство. Как понять этот пожар? Город сгорел, мужики пируют, никто не кричит: «Посторонись, народ!» Не видно ни становых, ни чиновников, которые несутся на тройках с бубенцами. Это не «пьяная ночь», а раннее утро, восходящий радостный день. На душе у мужиков уже не «туча черная», пришли новые переживания, появились надежды на лучшую жизнь:

У каждого в груди
Играло чувство новое...

В «пьяную ночь» мужицкая «рать» отступала («ползли, лежали, ехали»), теперь эта «рать» подымается, растет, набирает силы. Создается такое впечатление, что уже наступила «перемена декораций» (по роману Чернышевского «Что делать?»). И, конечно, грянули песни. После ярмарки в селе Кузьминском разгулявшиеся молодчики тоже пели «удалые» и «согласные» песни. Но это были традиционные песни, Некрасов тогда ограничился кратким описанием поющих «молодчиков»:

Десятка три молодчиков,
Хмельненьки, а не валяются,
Идут рядком, поют,
Поют про Волгу-матушку,
Про удаль молодецкую,
Про девичью красу.
Притихла вся дороженька,
Одна та песня складная
Широко, вольно катится,
Как рожь под ветром стелется,

По сердцу по крестьянскому
Идет огнем-тоской!..

С тех пор народная песня раздавалась в поэме сравнительно редко. Только в последней части песни стали заглушать мужицкие рассказы и речи (фольклорную про-

зу). Настоящий крестьянский пир не мог быть без веселья. Следует проследить зарождение и развитие песенного цикла, определившего основное содержание главы «Пир на весь мир». Далеко не всякие песни Некрасов считает истинно народными, и далеко не все народные песни ему одинаково близки. В разделе «Странники и богомольцы» содержится злая сатира на «старца», учившего деревенских девок петь духовные стихи. Дело кончилось, однако, тем, что он «петь-то их не выучил, а перепортил всех».

Странники и богомольцы были разные. Тут же Некрасов сообщает о старообрядце Кропильникове:

Старик, вся жизнь которого
То воля, то острог.

Кропильникова в очередной раз везут в острог. Стоя на телеге, он продолжает пророчествовать, громко кричит:

«Горе вам, горе, пропащие головы!
Были оборваны — будете голы вы,
Били вас палками, розгами, кнутьями,
Будете биты железными прутьями!...»¹

Среди первоначальных набросков «Пира на весь мир» сохранилась следующая прозаическая запись о «старообрядце Кропильникове»: «Еще старик, говорящий правду всем — и начальству. Его везут в острог, он и тут не сдастся; крестьяне поражены, но сами же снаряжают подводу. Речи старика: близко пришествие Антихриста; исправник и пр. слуги его фарисеи и мытари...». Возможно, что Некрасов собирался из соображений цензурного порядка загримировать революционного агитатора под «старообрядца», но потом отказался от такого маскарада, затемняющего

¹ И. П. Липранди, разговаривая с шефом жандармов В. А. Долгоруковым, доказывал, что России грозят «смуты и потрясения». Он убеждал Долгорукова, что «Саратовская губерния требует особого внимания правительства как по населению ее раскольниками, так и по географическому ее положению, ибо простой народ, по старинному преданию, все с той стороны и из Сибири ожидают появления богатырей и избавителей. В случае же, что там подымет какой-либо ловкий зачинщик знамя унта, он может легко принять обширные размеры и угрожать всей России» (запись, датированная 30 апреля 1861 года, находится среди бумаг В. А. Долгорукова в ЦГИА в Ленинграде, ф. 930, д. 170, 1—2).

одну из главных сюжетных линий, и назвал «народного заступника» своим именем.

В селе Вахлачине оказались семинаристы, разговор принимает форму дружеской беседы: «Пой веселую!» — просят мужики семинаристов, и «молодцы» запевают «Веселую»¹. Песня Гриши совсем не веселая, она сродни народным протяжным, хотя и пропета в лихом, плясовом ритме. Вахлацкие песни — «протяжные, печальные». «Иных покамест нет». В черновых вариантах поэмы сохранилась еще более определенная характеристика грустных, горьких крестьянских песен:

Всё песни невеселые,
Всё песни подневольные,
Других в ту пору не было
Да и доньше нет!

Некрасов возвращается к вопросу, который с давних пор привлекал внимание передовой русской интеллигенции: народ поет, но что именно он поет? У народа были песни не только заунывные, горькие, но и песни удалые, вольные. Но не было песен революционных. Поэт возлагает надежды на новые времена:

О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?.. Душа народная!
Воссмеяся ж наконец!

«Пир на весь мир» состоит из двух песенных циклов, имеющих характерные заглавия: «Горькое время — горькие песни» и «Доброе время — добрые песни». И те и другие песни («горькие» и «добрые») созданы самим Некрасовым. А. И. Груздев справедливо утверждает, что «народ в силу своей политической неразвитости пока еще не может создать песню с таким остро критическим, рево-

¹ Глава «Пир на весь мир» долгое время находилась под цензурным запретом и была напечатана только в 1881 году в «Отечественных записках», да и то далеко не в полном виде (были опущены песни «Веселая», «Барщинная», «Солдатская», «Колода есть дубовая...» и др.). По совету Салтыкова-Щедрина, Н. Михайловский в подстрочном примечании к статье «Записки современника» в том же номере сообщал: «Покойный поэт очень хотел видеть ее (главу «Пир на весь мир». — В. Б.) в печати и, уже больной при смерти, делал, в угоду цензуре, разные урезки и приставки, лишь бы пропустили. В этом именно виде, т. е. с урезками и приставками, поэма печатается теперь...» (Отечественные записки. 1881, № 2, с. 262)

люционным содержанием»¹. Об этом свидетельствует и сам Некрасов:

(Ту песню — не народную —
Впервые спел сын Трифона,
Григорий, вахлакам,
И с «Положенья» царского,
С народа крепки снявшего,
Она по пьяным праздникам
Как плясовая пелася
Попами и дворовыми —
Вахлак ее не пел...)

Даже некрасовские горькие, протяжные песни не идут непосредственно от крестьянского фольклора, хотя и граничат с ним, продолжают его. Т. А. Беседина, автор обобщающего исследования «Фольклор в поэме (Сопоставление текста «Кому на Руси жить хорошо» с его народно-поэтическими источниками)», пишет о первом песенном цикле: «В основе песен «Веселая», «Барщинная», «Голодная», «Солдатская» и «Соленая» главы «Пир на весь мир» не лежит единого конкретного песенного текста, но они написаны в духе народных песен, а иногда и по их мотивам»². Точнее сказать, написаны они и в подражание крестьянским песням и «в духе» революционно-народнической пропаганды.

Некрасов разделял общую заботу русских революционеров о просвещении народа, о его художественном и идейном воспитании. В годы массового «хождения в народ» созданием революционных песен усиленно занимались деятели Большого общества пропаганды. В упоминавшемся уже выше рассказе А. И. Иванчина-Писарева «О смутном времени на Руси»³ содержится интересный эпизод: пропагандист из фабричных Максим Иваныч под гармошку поет в деревне «Новую песню» («Отречемся от старого мира...»), а затем затягивает «веселенькую». Эта «веселенькая» песня с ее призывом к борьбе резко отличается от «Веселой» — песни семинаристов, проникнутой чувством горькой безнадежности.

«— А ты, мол, веселенькую! — говорю ему.

— Веселенькую? Можно!

И пошел, пошел с перебором:

¹ Груздев А. О песне Некрасова «Веселая». — Русская литература, 1962, № 4, с. 165.

² Истоки великой поэмы. Ярославль, 1962, с. 113.

³ См. наст. изд., с. 145.

Долго ль будем мы так жить,
Наших врагов кормить?
Соберемтесь-ка скорей,
Да на них пойдем дружной...
Так делишки поведем,
Что с лица земли сотрем
Бар, начальников, попов
И мошенников купцов!
Тут все фабрики, заводы
Будут для всего народа.
Всёй землей владеть мы будем,
Нужду-горе позабудем!

— Вот тебе и веселенькая! — говорит»¹.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» как бы следует за отдельными пропагандистскими «народными книгами» или предвосхищает их. Можно утверждать, что ни один из наиболее существенных мотивов потаенной литературы, обращенной к крестьянству, не миновал поэмы «Кому на Руси жить хорошо». В ней словно собрана вся пропагандистская литература революционных народников, но в своеобразном синтезе, в сконцентрированном виде, в единой композиции и в гениальном художественном воплощении. Некрасов сумел потаенное сделать легальным, общедоступным, достоянием всей читающей России и тем самым значительно расширить размах самой революционной пропаганды.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» задумана в развитие народного творчества, в ней пересмотрены многие традиционные фольклорные формы и идейные концепции. Дальнейшее изучение фольклорных источников поэмы, сводящееся к их количественному увеличению, к расширению колонки стихов, заимствованных поэтом из фольклора, не имеет перспектив. Возможно, что найдутся дополнительные источники, несколько увеличится число фольклорных цитат, поставленных в параллель некрасовским песням, но они ничего принципиально нового в понимание художественного и идейного смысла поэмы «Кому на Руси жить хорошо» не внесут. Важнее понять и правильно оценить исключительно смелую попытку Некрасова создать для народа новые песни, в частности революционные песни. Такую задачу — стать песнопевцем, создателем песен для народа — Некрасов возлагает на плечи Гриши

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 375.

Добросклонова. Мать Гриши — вопленица, сын ее — начинающий поэт. В главу «Пир на весь мир» возвращается образ горюющей крестьянки. Нужно учитывать, что сельский дьячок Трифон, отец семинаристов, живет не лучше крестьян:

Беднее захудалого
Последнего крестьянина
Жил Трифон. Две коморочки:
Одна с дымящей печкою,
Другая, в сажень — летняя,
И вся тут недолга;
Коровы нет, лошадки нет,
Была собака Зудушка,
Был кот — и те ушли.

Жена этого бедного и забулдыжного дьячка («был он нрава легкого») Домнушка все свои силы вкладывала в детей. «Батрачка безответная» только и думала о копейке, чтобы спасти своих детей от голодной смерти. И пела она о насущном хлебе и соли. Любимую песню Домнушки вахлаки называли «Соленой»: в ней пелось о том, как мать вместо соли поливает сыну кусок хлеба геккой слез:

Знать солона
Слеза была!..

«Барщинная» столь же невеселая, горькая песня, своеобразный плач по «бедному Калинушке». Такими же словами могла бы оплакать своего Федотушку Матрена Тимофеевна. Содержание и поэтика «Барщинной» близки народным причитаниям:

Беден, нечесан Калинушка,
Нечем ему шеголять,
Только расписана спинушка,
Да за рубахой не знать.
С лаптя до ворота
Шкура вся вспорота,
Пухнет с мякины живот.

И все же есть принципиальная разница между «Крестьянкой», основанной на народных причитаниях, и заключительной главой «Пир на весь мир». Гриша Добросклонов приходит в поэму, чтобы допеть недопетые песни его матери и создать для народа новые. Как и полагалось в пропагандистской поэзии, в песнях Гриши появляется призыв:

идите в народ! В песне «Средь мира дольного...» содержится именно такое обращение к молодежи, к передовой интеллигенции: «Иди к униженным!» Герой песни «Бурлак» — пробуждающийся народ. И, наконец, знаменитая «Русь» — гимн, прославляющий народную революцию:

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и весильная,
Матушка-Русь!..

В. А. Архипов пишет о пропагандистском значении некрасовской поэмы: «Ни одна революционная листовка и прокламация не сказала о классовой сущности царизма, о связи церкви и государства для угнетения народа, о взаимной поручке бога, царя и помещика, о лжи и лицемерии, ставших постоянной политикой царизма по отношению к народу, о грабительской реформе и продолжающемся послереформенном ограблении масс, наконец, о пробуждающейся и все более крепнущей ненависти крестьянина к царю, чиновнику, министру, попу, между которыми народ уже не делал различия <...> повторяем: ни одна революционная листовка и прокламация не сказала обо всем этом более открыто, определенно, метко и ярко, чем поэма Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“»¹.

Конечно, «обо всем этом» прокламации говорили более открыто, не прибегая к иносказаниям, но поэма Некрасова, безусловно, оказывала влияние неизмеримо большее, она воздействовала силой художественного слова.

Весьма существенный новый элемент в поэме — участие в большом крестьянском пире двух семинаристов, сыновей приходского дьякона и гуляки Трифона:

Простые парни, добрые,
Косили, жали, сеяли
И пили водку в праздники
С крестьянством наравне.

¹ Архипов В. Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова. [Ярославль], Ярославское книжное изд-во, 1961, с. 300.

При всей незавершенности образа Гриши Добросклонова (Некрасов собирался вернуться к нему), появление молодого пропагандиста на крестьянской сходке и созданные им песни вносят в развитие сюжета поэмы глубоко революционный смысл. Заключительные стихи — торжественный гимн народной России, и в них же признание огромного значения разночинцев в народной истории, в народном движении. Для Гриши нет другого пути, как жить для народа, вместе с ним разделять горе и радости:

...и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастья
Убогого и темного
Родного уголка.

Волна общественного движения 60-х годов выдвинула не только «штурманов будущей бури» Чернышевского и Добролюбова, их ближайших соратников по «Современнику». У них были единомышленники, незаметные разночинцы, еще только начинавшие свой тернистый путь. Им предстояло сыграть свою роль в общей борьбе за прогресс и революционное просвещение народных масс. Из их среды должен был выделиться Гриша Добросклонов:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чухотку и Сибирь.

Сестра поэта, А. А. Буткевич, писала о Добросклонове: «Это Добролюбов»¹. Да, в какой-то степени и Добролюбов, по признаку родства революционных разночинцев между собою. Гриша Добросклонов только начинает свою сознательную жизнь. Вернее сказать, это один из учеников великого Добролюбова. Главное не в созвучии фамилий (Добролюбов — Добросклонов), а в общих чертах их духовного облика, в одинаковом отношении к народу.

В. Е. Евгеньев-Максимов отмечает и такую деталь: «...Григория Добросклонова роднит с Добролюбовым и то, что он, подобно Добролюбову, пишет стихи»². И не просто пишет стихи, песни Гриши имеют много общего с гражданской лирикой Добролюбова³. Правда, это общее, особенно

¹ Литературное наследство, т. 53—54, 1949, с. 199.

² Евгеньев-Максимов В. Е. Творческий путь Н. А. Некрасова. М.—Л., 1953, с. 247.

³ См.: Шнейдерман Р. С. Поэзия Н. А. Добролюбова и песни Гриши Добросклонова.— В кн.: Истоки великой поэмы, с. 220—234.

во фразеологии и в вольнолюбивых поэтических лозунгах, распространяется на всю русскую гражданскую поэзию, прежде всего на поэзию самого Некрасова. Некрасов такой же учитель Добросклонова-поэта и Добросклонова-гражданина, как и Добролюбов. К тому же Гриша создает песни, песни для народа, и здесь, в песенной поэзии, он совсем близко подходит к народникам-пропагандистам, к их опытам «народной поэзии». Поэтому есть все основания песни Добросклонова рассматривать в связи с песенной поэзией революционных народников, созданной в годы «хождения в народ». Над главой «Пир на весь мир» Некрасов работал в 1876—1877 годах, когда уже появились основные народнические пропагандистские песни. «Сборник новых песен и стихов», изданный в 1873 году в Женеве, имел широкое и повсеместное распространение. В этом «Сборнике», наряду со стихотворениями Синегуба и Клеменца, были помещены три произведения Некрасова: «Ночь после праздника» (отрывок из главы «Пьяная ночь»), «Разговор на железной дороге» (переработка стихотворения «Железная дорога»), «У парадного крыльца» (отрывок из «Размышлений у парадного подъезда»). Таким образом, революционные народники широко использовали поэзию Некрасова, его «крестьянские» стихи в своей пропагандистской работе. Песни Гриши Добросклонова также органически входят в поэзию «хождения в народ», они написаны под впечатлением революционного движения 70-х годов и служат этому движению. А. М. Гаркави имел основание утверждать, что, «выведя Григория Добросклонова, выступающего среди крестьян с вольнолюбивыми песнями, поэт точно воссоздал обстановку революционной борьбы 1870-х годов»¹. Добавим, что не только воссоздал, но и сам принял непосредственное участие в этой борьбе.

11

Некрасов работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» свыше тринадцати лет (1863—1877). За это время в общественной жизни России произошло много событий. Фабула поэмы постепенно стала уходить в 70-е годы, на встречу с революционными народниками. Так

¹ Гаркави А. М. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и революционное движение 1870-х годов.— В кн.: Истоки великой поэмы, с. 15.

получилось, что некрасовские мужики первыми начали своеобразное «хождение в народ», двинувшись в поход по Руси сразу после реформы 1861 года, чтобы обсудить жизненно важные политические и нравственные проблемы. Они указали путь революционной молодежи, которая и закончит революционное путешествие вместе с некрасовскими мужиками, превратит Поволжье в главный центр своей пропагандистской деятельности.

В связи с проблемой «Некрасов и революционное народничество» «Кому на Руси жить хорошо» представляет огромный интерес. Между этой поэмой и потаенной литературой 70-х годов существуют самые тесные отношения. Предварительно можно сделать следующие выводы:

1. Уже в «Прологе» «Кому на Руси жить хорошо» утрачивает сказочный ритм; освобождается от сказочной обрядности. Фабула поэмы создается под впечатлением реальных крестьянских движений, охвативших Россию после реформы 1861 года, начиная с трагических путешествий за «царской грамотой» и кончая политическими сходками временнообязанных крестьян, и под влиянием революционно-демократического и народнического движения, общей ситуации в стране. Вся атмосфера некрасовской поэмы — типично народническая. Начавшееся путешествие крестьян перестраивается по образу и подобию революционного «хождения в народ». О. В. Аптекман рассказывает о том движении, которое в 70-е годы охватило передовую Россию. «При встречах в ту пору только и слышны были вопросы: «куда направляетесь? куда едете?..» и такие же ответы: «на Волгу! на Урал! на Дон! в Запорожье!» и так далее в том же роде. Крепкие рукопожатия и всяческие благие пожелания: „в путь-дорогу!“»¹.

Другой современник, М. Ф. Фроленко, рассказывает: «Весной (1874 года), съездив в Питер, я видел, какую массу народа захватила там та же мысль (о хождении в народ). На каждом шагу сходки, толки, споры, возгласы, что только «подлецы» могут при таких обстоятельствах продолжать спокойно учение. Как бы в самом воздухе чувствовалась сильная приподнятость, возбуждение охватило всех, и споры носили поэтому особо острый характер»².

Путешествие в поэме начинается не из народнических кружков, не из Петербурга и Москвы, а из Пустопорожней

¹ Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924, с. 110.

² Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927, с. 110.

волости Подтянутой губернии. Семеро мужиков становятся пропагандистами. О поэме можно сказать: «на каждом шагу» в ней «сходки, толки, споры, возгласы». Фабула некрасовской поэмы возникает не из литературной традиции и даже не из фольклора. Она приходит из жизни, из событий народной истории, старой и новой. В поэме изображается не просто бродяжничество героев-озорников, от шуток которых достается всем сословиям, от дворян до самих крестьян, и не традиционное путешествие за правдой, таящейся неизвестно где. Путешествующие некрасовские крестьяне не обходятся без озорства, однако главный мотив их странствий состоит в артельном обсуждении жизненно важных нравственных и политических проблем. Сюжетная ситуация соответствует эпохе массового «хождения в народ», хотя Некрасов начал свою поэму до выхода на историческую авансцену революционных народников (Большое общество пропаганды). Но была еще «Земля и воля»; землевольцы в 1862—1863 годах тоже мечтали о встрече с крестьянами, они первыми пошли в народ, чтобы совместно с крестьянами обсудить создавшееся положение, узнать их мнение о реформе, послушать толки и, если потребуется, возглавить крестьянскую революцию.

Работая над поэмой «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов знал не только о неутомимом и необычном собирателе народной словесности Павле Якушкине (какие-то черты Якушкина отразились в Павле Веретенникове), но знал он и о казанских «кафтанниках», о землевольцах и ишутинцах, в частности о Худякове, о деятелях «Народной расправы» и о долгушинском кружке, а также о начавшемся массовом «хождении в народ».

Русские революционеры не расставались с идеей крестьянского социализма. Движение, теоретически подготовленное «Современником», увлекало передовую молодежь, и уже делались неоднократные попытки соединиться с народом, повлиять на него. Вся поэма от начала до конца проникнута идеей «хождения в народ». Но верно и то, что в процессе «хождения в народ» неизбежно обнаруживалась несбыточность мечтаний революционных народников. Некрасов имел в виду и эту сторону движения, он все чаще и чаще задумывался над трагедией одинокого борца и отнюдь не рисовал идиллические сцены встреч революционных агитаторов с народом, не идеализировал русских крестьян. Одно из «дорожных» стихотворений Некрасова называется «Путешественник» (1874). По захолустью Рос-

сии ездит «пруссский барон», изучающий народную жизнь. Этот путешественник как бы едет по следам долгушинцев, арестованных и осужденных за распространение революционных прокламаций и брошюр среди крестьян Тверской губернии. Конечно, и путешествующий барон должен был беседовать с крестьянами, спрашивать их о житье-бытье. Беседа эта во многом примечательна:

— Как у вас хлебушко? — «Нет ни ковриги!»

— Где у вас скот? — «От заразы подох!»

А заикнулся про школу, про книги —

Прочь побежали. «Помилуй нас бог!»

Книг нам не надо — неси их к жандарму!

В прошлом году у прохожих людей

Мы их купили по гривне за пару,

А натерпелись на тышу рублей!»

Тверские крестьяне действительно «натерпелись на тышу рублей». В деревни нагрянули жандармы, начались допросы, розыски прокламаций и брошюр; крестьяне и фабричные привлекались к строгой ответственности за чтение и хранение воззваний. Кратковременное пропагандистское путешествие долгушинцев показало, что крестьяне еще не были подготовлены к восприятию революционных идей. Некрасов мог бы написать поэму о непризнанных, отвергнутых крестьянами пропагандистах, о бессмысленности самого «хождения в народ». Но именно этот сюжет, ставший достоянием антинигилистических, антинароднических романов, повестей и поэм, не мог увлечь Некрасова, хотя он и понимал, что движение революционных народников должно пройти через трудные искусы и испытания. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» была написана в защиту начавшегося революционного «хождения в народ», в его поддержку. Об этом свидетельствует Гриша Добросклонов, его встречи с крестьянами¹.

2. Сам факт появления в поэме пропагандиста Григория Добросклонова примечателен. Но еще более показательны дружеские беседы семинариста с крестьянами. Беседующий пропагандист — это и есть земледелец или

¹ «Главным в характеристике Гриши становится воспроизведение его прекрасного внутреннего мира. Добросклонов — поэт. В текст поэмы включены сочиненные им песни, и они позволяют нам увидеть демократизм героя, жажду деятельного добра, готовность к революционному подвигу, мечту о счастье родной страны» (К о р м а н Б . О . Лирическая система Некрасова. — В кн.: Некрасов и русская литература. М., 1971, с. 125).

революционный народник, отказавшийся от нечаевской тактики, от риторического доктринерства и легкомысленного подстрекательства. Добросклонов пользуется полным доверием и любовью мужиков. После очередной беседы Влас обращается к юноше со словами:

— Дай бог тебе и серебра,
И золота, дай умную,
Здоровую жену!

О таком Власе, его практических и эстетических идеалах писал Чернышевский в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Влас включает в понятие о счастье физическое здоровье, нравственную красоту, материальное благополучие. В противовес этому крестьянскому представлению о счастье, для Гриши, революционного борца, на первом плане не личные блага, а свобода народа, которую следует завоевать:

...Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно-весело
На всей святой Руси!

По первоначальному замыслу Григорий Добросклонов в беседах с крестьянами растолковывает царский манифест и уставные грамоты, то есть разъясняет истинный смысл крепостнической реформы. Вопрос о реформе составлял один из главных разделов революционной пропаганды землевольцев и народников в 60-е и 70-е годы. В вариантах главы «И старое и новое» мы видим Добросклонова беседующим с крестьянами:

...Внятно, медленно,
Пространно (Гриша знал уже,
Как надо растолковывать
Дела необыденные
Тугому вахлаку)
Григорий стал доказывать,
Что «крепь» всему виной...

Именно так вели себя революционные народники в деревне: «косили, жали, сеяли», занимались устной пропагандой, писали за безграмотных крестьян «письма к сродникам».

3. Мы знаем, что революционные агитаторы часто оказывались в трагическом положении. Крестьяне еще слишком верили в «доброто» царя и недоверчиво относи-

лись к революционным призывам. Но думать только так о русском крестьянине той поры было бы глубочайшим заблуждением. Когда агитаторы говорили о насущных крестьянских нуждах, разоблачали крепостническую действительность и обосновывали право крестьян на волю и землю, их пропаганда часто не была напрасной, она находила отзвук в народе. Сошлемся хотя бы на следующий факт: крестьянин деревни Клипуново Тверской губернии Иван Михайлов 6 декабря 1862 года, возвращаясь из Ржева в свою деревню, на девятой версте от города нашел на дороге помятую прокламацию под названием «Что нужно народу?». Привезя домой эту прокламацию, Иван Михайлов вычитал в ней, что «надобны народу земля и воля». Через несколько дней, когда крестьяне собрались на сходку, чтобы обсуждать уставную грамоту, Михайлов передал прокламацию крестьянину Максиму Прохорову, только что приехавшему из Петербурга, который прочитал прокламацию перед собравшимися крестьянами. Крестьяне «хвалили, что хорошо написано»¹.

М. Р. Попов, участник массового «хождения в народ», ссылается на рассказ А. С. Емельянова, действовавшего под именем Боголюбова в Воронежской губернии и арестованного за участие в демонстрации 1876 года у Казанского собора. Некоторые крестьяне «каким-то чутьем угадывали в пропагандистах своих истинных друзей». Так, крестьянин Семен из деревни Пески близко сошелся с Емельяновым-Боголюбовым и не хуже своего учителя из Петербурга разъяснял односельчанам, почему не осуществляется заветная мужицкая мечта насчет матушки-земли. «Проходят на Дон крестьяне Пензенской губернии и заходят на поле к Семену напиться воды. Семен честь-честью приглашает присесть случайных гостей, угощает водой и начинает держать к ним такую речь: «Чьи будете и куда бог несет?» — Получив в ответ, что гости его идут на Дон на заработки, Семен спрашивает: «Скажите мне, будь у вас земли вдоволь, сколько вашей силушки хватит одолеть ее, кормилицу, пошли ли бы вы на край света киселя хлебать?» — «Что говорить, — отвечают гости, — кто от добра добра ищет? Сам знаешь, братик мой, — нужда всех нас гонит, — вот кто». — „А кто тому причиной, — спрашивает вновь Семен, — скажи-ка мне, кто тому причиной, что у нас земли нет? Не знаешь, — спешит с ответом на поставленный им же вопрос Семен, — так слушай: царствие, жан-

¹ ЦГАОР, ф. 109, экс. 1, д. 230, лл. 98—100.

дармствие, дворянствие, поповствие. А вот если б всех их, аспидов наших, залассалить, запрудонить, дело бы то приняло другой оборот и не было бы у нас на Руси, что у одного чрез край, по горло, вон как у нашего барина, а у других, прямо сказать, нет ничего. И я вот тоже все к господу вздыхал,— а что им господь, коли в их руках сила,— да вот, спасибо, люди открыли глаза,— указывая на Алексея Андреевича, сказал Семен.— И я тебе теперь прямо говорю, пока в их руках власть, не видать крестьянству земли, как ушей своих“»¹.

Самому М. Р. Попову довелось на том же Дону встретить крестьянина Петербургской губернии Ямбургского уезда, которого звали Алексеем. «Проходил я мимо одной харчевни,— пишет М. Попов,— и заметил собравшуюся толпу пред харчевней. Среди толпы, стоявшей кругом, я заметил Алексея. Он с обнаженной головой, наступив одной ногой на шапку, почему-то брошенную им на землю, декламирует из «Парадного подъезда» Некрасова со своими собственными вставками: «Волга, Волга, Дон и Азовское море, весной многоводной вы не так заливаετε поля, как великой скорбью народной переполнена наша земля» и пр., в таком же роде с своими прибавлениями. Меня заинтересовала эта сцена, я стою и молча слушаю. Кончил Алексей весь «Парадный подъезд». В толпе раздалось: „Браво, браво, Алеша! Вот куплетист, так куплетист!“»² Случай действительно примечательный. Стихотворение Некрасова включилось в революционную пропаганду, причем в роли своеобразного пропагандиста, читающего у харчевни «Парадный подъезд» («Размышления у парадного подъезда»), выступает крестьянин, работающий в качестве разгрузчика вагонов с углем.

Известно, что участники героического «хождения в народ» в своей пропаганде использовали поэму «Кому на Руси жить хорошо». Некрасовская поэма становится одним из наиболее действенных произведений пропагандистской литературы. Русский крестьянин не был подготовлен к восприятию социалистических идей, но в крепостническом характере реформы он прекрасно разбирался. У ограбленных крестьян не было сомнения в том, что помещики,

¹ Попов М. «Земля и воля» накануне Воронежского съезда.— Былое, 1906, август, с. 26. Выражения «залассалить, запрудонить» находят пояснение в статье М. Попова: юные революционеры в беседах с крестьянами «не стеснялись подкреплять свою пропаганду ссылками на Лассалья и Прудона» (там же, с. 25).

² Былое, 1906, август, с. 29.

чиновники и попы являются их главными врагами, с которыми необходима борьба. Наиболее сознательные крестьяне и фабричные шли за пропагандистами, сами произносили речи, организовывали сходки и распространяли потаенную литературу. Яким Нагой и другие красноречивые крестьянские говоруны в поэме Некрасова — выдающееся художественное открытие революционных сил, скрытых в самом народе. Поэма Некрасова является своеобразным художественным синтезом различных видов крестьянского фольклора, включая сюда публицистику, народные толки и слухи, крестьянское политическое красноречие.

4. Некрасов идет на прямое сближение своей поэмы с фольклором, однако делает он это не для того, чтобы реставрировать фольклор или внешним образом подражать ему. Задача поэта совсем иная. С помощью фольклора (художественного и публицистического) Некрасов воспроизводит духовную и социальную жизнь крестьянской России. При этом он, однако, приходит к выводу, что сам фольклор не всегда поспевает за развивающейся действительностью, а порой даже усыпляет энергию народа. Ощущение идейной ограниченности фольклора, его двойственности не оставляет Некрасова и тогда, когда он обращается к нему, следует за ним. Некрасовский фольклоризм — это и подражание фольклору, и идейное и художественное его переосмысление, его революционная интерпретация. Именно поэтому Некрасов пытается создать новые песни (песни Гриши Добросклонова), которые должны, перейдя в фольклор, способствовать пробуждению в народе революционного сознания¹.

Проблему «других песен» Некрасов понимает широко, не ограничиваясь исключительно песенной поэзией. «Другие песни» — это вообще другая литература, созданная для народа (поэзия и проза), отличная от той, которая имеется, издается и распространяется. Русскому крестьянину нужны новые книги, с ним нужно учиться разговаривать как равный с равным. Поэма «Коробейники» (1861) была написана для крестьян, и крестьянину она посвящена: «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии)». Стихи посвяще-

¹ О становлении крестьянского политического самосознания в поэме «Кому на Руси жить хорошо» см.: Б и л и н к и с Я. Замысел и композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо». — Русская литература, 1961, № 2, с. 139—149.

ния свидетельствуют о большой и искренней дружбе поэта с крестьянином-охотником Г. Я. Захаровым:

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу.
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу...

В. В. Жданов пишет об этих некрасовских стихах: «Так, в самих некрасовских стихах отыскался и был назван по имени один из тех, кого поэт в своей деревенской жизни величал то приятелями, то друзьями. Обращение к нему в стихах через журнал «Современник» носило, конечно, вызывающий характер. Мы не знаем другого поэта, который с таким простодушием печатно предлагал бы свое творение на суд крестьянских читателей»¹.

Из восьмистишья вырастает поэма, где стих равно приспособлен и к сказу, и к песне, и к беседе. Некрасов умел прислушиваться к голосу народа и возвращать ему его же слово, сказку, песню, поговорку и поговорку в преобразованном виде. Не только начало «Коробейников» («Ой, полна, полна коробушка...») превращается в народную песню, но и вся поэма становится подлинно народной книгой и используется в революционной пропаганде. Из «Коробейников» в народническую «Сказку о четырех братьях» целиком переходит «Песня убогого странника». «Видят — идет странник и поет он песню, да

¹ Жданов В. Некрасов. М., 1971, с. 346. В. В. Жданов напоминает также о сохранившемся замечательном письме Гаврилы Яковлевича, посланном Некрасову в пасхальные дни 1869 года. Письмо, в котором Гаврилы Яковлевич цитирует строку из посвящения «Коробейников», трогает неподдельной любовью и горячей привязанностью к поэту. Со слов Гаврилы Яковлевича унтер-офицер Кузьма Резвяков записывал: «Христос воскрес! Дорогой ты мой боярин Николай Алексеевич. Дай тебе бог всякого благополучия и здравия да поскорей бы воротитца в Карабику. Об ком же вспомнить как не о тебе в такой великий и светлый праздник. Стосковалось мое ретивое, что давно не вижу тебя, сокола ясного. Частенько на мыслях ты у меня и как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем и все это очень помню, как бы это вчера было и во сне ты мне часто привидишься... Коли надумаешь ты порадовать меня, то пришли мне поскорей также свой патрет, хоть бы одним глазком я посмотрел на тебя. Пиши страховым письмом, а то украдут на почте...». (Цит. по кн.: Жданов В. Некрасов, с. 351).

жалобную такую, братья стали слушать...»¹ Только последняя строфа пропета в «Сказке о четырех братьях» несколько иначе:

Я всю Русь исходил: воет-стонет мужик,
С холоду стонет он, с холоду,
С голоду воет он, с голоду.

В той же «Сказке о четырех братьях» содержится почти Некрасовская «песенка мудреная». Путешествующие братья из конца в конец обошли «Русь крещеную», попали на каторгу, но не потеряли веры, что «пробудится народ, он почувет в себе силу могучую, силу необоримую...» В параллель к разговору братьев Н. И. Соколов приводит соответствующие строки из знаменитой песни «Русь»:²

Русь не шелóхнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая...

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

5. Некрасов возлагает огромные надежды на дружеские беседы и на печатное слово, обращенное к крестьянам. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» содержится целая декларация о демократических книгах для народа и их значении в революционном воспитании народных масс. Крестьянину нужны содержательные книги, а не те, которые сбывает офеням на базаре купец-книгопродавец («С Лубянки — первый вор») ³. Купец на сельской ярмарке «спустил по сотне Блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко». Среди лубочных книг — «Шут Балакирев» и «Английский милорд». Об этих книжках и портре-

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 269.

² См.: Соколов Н. И. Некрасов и литературное народничество. — Русская литература, 1967, № 3, с. 159.

³ Посетив летом 1861 года в Мстере книгопродавца И. А. Голышева, Некрасов «подробно расспрашивал о книжной торговле через офеней и ходебщиков». «Затем, — рассказывает Голышев, — напившись чаю, он просил показать ему наш магазин; в магазине он внимательно пересматривал народные книги и картины. При этом он сообщил мне о своем намерении заняться изданием для народа особых книжек, которые он предполагал составлять из своих стихотворений и распространять среди офеней». (Цит. по кн.: Розанов Л. А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. Л., 1970, с. 8).

тиках, отправившихся «гулять... по царству всероссийскому», Некрасов отзывается с презрением: «Черт знает для чего!» Программное выступление Некрасова о «народных книгах» и «народных заступниках» хорошо известно, оно заключено в главу «Сельская ярмонка». Это взволнованная речь в защиту революционного просвещения и демократических «народных книг»:

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?
Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великие,
Носили их, прославили
Заступники народные!
Вот вам бы их портретики
Повесить в ваших горенках,
Их книги прочитать...¹

Свою поэму Некрасов замышлял как «народную книгу», отсюда в ней такое фольклорное богатство и стиль, отвечающий художественному сознанию русского крестьянина. Глеб Успенский писал о Некрасове и его поэме: «...Н[иколай] А[лексеевич] много думал над этим произведением, надеясь создать в нем «народную книгу», т. е. книгу полезную, понятную народу и правдивую. В эту книгу должен был войти весь опыт, данный Н[иколаю] А[лексеевичу] изучением народа, все сведения о нем, накопленные, по собственным словам Н[иколая] А[лексеевича], «по словечку» в течение двадцати лет»².

¹ Среди черновиков «Сельской ярмонки» сохранились строки:

Эх, эх, придет ли времечко,
Когда (приди, желанное)...
Швырнув под печку Блюхера,
Милорда беспардонного
И подлого шута,
Крестьянин купит Пушкина,
Белинского и Гоголя...

² Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1953, с. 179

Участница общественного движения 70-х годов А. Г. Степанова-Бородина отмечала: «Ни одна народная книга, написанная со специальной целью поучать народ, не будет ему так понятна, как «Коробейники» и «Кому на Руси жить хорошо». А все потому, что каждый крестьянин найдет в них отголосок своих понятий и стремлений, все потому, что найдет в них простые, безыскусственные человеческие чувства, переданные характерным и родным ему языком, все потому, что поэт изучил народ наш и знает его, как никто»¹.

Ясно, что это была особая «народная книга», великое произведение русской классической литературы. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» была обращена и к простому народу, в надежде, что русский крестьянин многое в ней поймет и должным образом оценит, и ко всей мыслящей России, к передовой интеллигенции, которая должна способствовать революционному просвещению², вести народ за собой.

6. До сих пор некрасовскую поэму изучали по преимуществу во взаимодействии с крестьянским фольклором, во взаимосвязях с ним. В этом направлении сделано очень много, имеется огромная литература, посвященная проблеме «Некрасов и фольклор». Но есть и другая область, куда исследователи пока еще мало заглядывали. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» должна быть сопоставлена с потаенной литературой революционных народников, с их «народными книгами». В научной литературе уже отмечалось воздействие Некрасова на создание народнических сказок («Сказка о четырех братьях», «Дедушка Егор») ³. Вполне

¹ Цит. по кн.: Т в е р д о х л е б о в И. Ю. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М., 1954, с. 186—187.

² Мы полностью согласны с замечанием Ф. Я. Приймы: «Распространенное мнение о том, что поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов хотел создать книгу для народного чтения, и поныне широко бытующее в литературе, вряд ли можно принять безоговорочно. Поэт всегда и всюду страстно мечтал «бросить хоть единый луч сознания» на трудный путь народного развития, однако замысел большой поэмы или эпопеи не мог ограничиться только этим. Некрасов был одушевлен идеей создания своеобразной энциклопедии русской жизни, и поскольку центральной проблемой последней была проблема мужика, поэт посвятил свое произведение судьбам русского пореформенного крестьянства, соотносенным с судьбами русского народа в целом» (История русской поэзии, т. 2, глава «Н. А. Некрасов». Л., 1969, с. 66).

³ См.: С о к о л о в Н. И. Некрасов и литературное народничество.— Русская литература, 1967, № 3, с. 158; С о к о л о в Н. И. Русская литература и народничество. Л., 1968, с. 119.

естественно также обратное влияние: Некрасов, безусловно, знал революционно-пропагандистскую литературу 70-х годов и отчасти использовал ее опыт, ее достижения.

В замечательной пропагандистской сказке «Где лучше?» («Сказка о четырех братьях и об их приключениях») есть нечто общее с одним из главных мотивов «Кому на Руси жить хорошо», правда, не нашедшим отражения в подцензурной редакции. В печатном тексте поэмы отсутствует рассказ о жизни на каторге Савелия-богатыря. Только из черновых фрагментов известно, что Савелий трижды убежал с каторги. «Поймают: разумеется, дерут, дерут, дерут!» И все же Савелий бежит, скитается по тайге, поджигает заезжую избу, где остановились на ночлег угнетатели народа:

«А двери-то камнями,
Корнями, всякой всячиной
Снаружи заложу,
Кругом избы валежнику
Понавалю дубового,
Зажгу со всех сторон,
Горите все, проклятые!..»

Вернувшись с каторги в свою родную деревню, Савелий с горечью говорит крестьянам: «Эх вы, Аники-воины! Со стариками, с бабами вам только воевать!» В сказке «Где лучше?» братья уходят из-под стражи, чтобы затем «проповедовать бунт», принять участие в народной революции.

Поэма Некрасова свободна от односложных характеристик и заведомо пропагандистских приемов. Объединяя в себе самые разнообразные источники (фольклорные и литературные) и богатейшие жизненные впечатления, «Кому на Руси жить хорошо» высоко поднимается и над крестьянским фольклором и над пропагандистской литературой русских революционных народников. Поэма Некрасова представляет собой генеральную «народную книгу» в русской литературе.

7. Переключка поэмы Некрасова с произведениями народнической пропагандистской литературы, общие мотивы в них объясняются не только взаимными влияниями, но и прежде всего тем, что и Некрасов и революционные народники изображали одну и ту же действительность, придерживались одних и тех же идейно-эстетических позиций. Поставим стихи Некрасова рядом с отрывками из пропагандистских «народных книг».

Стихи из главы «Помещик»:

Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилась:

Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

Из сказки «О Правде и Кривде» Кравчинского:

«И первая-то цепь — цепь поповская. А вторая-то цепь — цепь помещичья. А третья-то цепь — цепь купеческая. Вот этими-то цепями и сковали богатыря враги его и делали с ним что хотели, потому что крепки были цепи, которыми они сковали его...»¹. «Три врага у народа: попы, цари с помещиками и богатые... Власть царская — это столб, который одним концом все-таки крепко сидит в земле. И, однако, народ повалит этот столб!»².

Из главы «Пьяная ночь» (последняя строка из бесцензурной редакции):

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три долщика:
Бог, царь и господин!

Из той же пропагандистской сказки:

«Пойдешь ты по деревням: весь народ мается на каторжной работе, а не знает ни отдыха, ни радости. Ест он сухой хлеб, слезами поливаяючи, спит на сырой земле, горем подстилаяючи. А маленькая кучка помещиков да кулаков во всю жизнь ничего не делает, а не знает, куда девать богатств своих!»³

Из черновых набросков главы «Демушка»:

Сладка ли жизнь крестьянина?
Чуть-чуть подрос, беда кругом,
Кровавый пот, безмерный труд...
Глотай обиды тяжкие —
Не пикни... а не то —
Остроги, клейма, каторга...
Всю жизнь дрожи солдатчины...

Как видим, Некрасов очень близко подходит в изображении народной жизни к потаенной литературе, но наиболее острые в политическом отношении стихи он вынужден оставлять за пределами печатного текста. Повторяем, что подобные совпадения объясняются логикой революционного мышления и одинаковой ориентацией на фольклор, не

¹ Агитационная литература русских революционных народников..., с. 103.

² Там же, с. 115.

³ Там же, с. 101.

праздничный и обрядовый, а самый что ни на есть прозаический, обыденный. Многие потаенные произведения революционных народников (в стихах и в прозе) созданы, в свою очередь, по методу Некрасова, соответственно основным принципам некрасовского фольклоризма (со слов народа). И там и здесь сам народ рассказывает о своем бедственном положении и тщетности попыток получить настоящую волю. «Эстетическая позиция» пропагандистских «народных рассказов» точно определена в рассказе «Бог-то бог, да сам не будь плох»: «толковать» о том, что мужик «на своей шкуре вытерпел». Некрасов тоже указывает на прямую связь народных легенд и сказов с деревенской действительностью, с ужасами крепостничества. Отзыв о крестьянских рассказах в поэме Некрасова дают сами слушатели:

Такие сказы чудные
Послышались... и диво ли?
Ходить далёко за словом
Не надо — все прописано
На собственной спине.

Это и высокая похвала, данная самим народом, и меткое определение жизненной основы антикрепостнического фольклора. «Все прописано на собственной спине» — точно выражает социальную сущность народной поэзии. Творческая история многих песен, сказов и речей предопределена этой страшной формулой.

8. Некрасов учитывает опыт русской «вольной поэзии» и в процессе работы над поэмой идет на прямое сближение своей «народной книги» с революционной пропагандой. В поэме разработаны почти все сюжеты и мотивы пореформенной потаенной литературы (положение народа, грабительская реформа, ненависть крестьян к помещикам, попам и чиновникам, народные толки и слухи, путешествующие мужики, рост политического сознания угнетенных масс), но в ином художественном воплощении, «методом прерванных и недоговоренных речей», по выражению К. И. Чуковского. «Вообще вся поэма один из величайших памятников эзоповой речи в России»¹. Некрасов постоянно говорит о переполненной чаше народного горя, каждой строкой своей поэмы дает понять, что терпению народа приходит конец, туча может разрядиться, пролить «кровавые дожди». В метафору, в иносказание у Некрасова

¹ Чуковский Корней. Мастерство Некрасова, с. 701, 707.

запрятано сочувствие крестьянской революции, ее ожидание. Все настроение поэмы, драматизм событий ведет именно туда, в сторону социальных потрясений. Но Некрасов был вынужден многое недосказывать, ограничиваться намеками. Пропагандистская литература как бы снимает с поэзии Некрасова шифры, досказывает иносказания и недомолвки. Пропагандисты-литераторы ориентировались на вольную печать или на распространение своих произведений в рукописных списках (рукописная литература). Это была литература открытого революционного пафоса, открытых революционных призывов и наставлений, без всяких умолчаний и обиняков, до конца откровенная и резкая по тону, прямая в изображении всех социальных противоречий, не щадящая и самого царя, готовая в любое время превратиться в политическое воззвание. Потаенные книжки могут служить надежным комментарием к поэме Некрасова, к отдельным ее зашифрованным местам и недоговоренным речам. Совместное изучение некрасовской поэмы и пропагандистской литературы 70-х годов может принести свои результаты¹.

9. Необходимо подчеркнуть, что не только «Кому на Руси жить хорошо», но вся поэзия Некрасова оказывала огромное влияние на революционных народников-пропагандистов. Некрасов был нравственным наставником тех, кто пошел в народ. От лица всех участников героического «хождения в народ» Н. А. Чарушин писал: «Любимым же нашим поэтом того времени был, несомненно, Некрасов,

¹ «Кому на Руси жить хорошо» можно в известной степени тоже отнести к потаенной литературе. Как известно, ряд принципиально важных строк, целые четверостишия и первоначальные наброски, вводимые советскими исследователями в основной текст поэмы Некрасова, фактически представляют собой бесцензурные редакции. Они не могли появиться в легальной печати, в изданиях «Кому на Руси жить хорошо», вышедших при жизни поэта. Иногда Некрасов сам перечеркивал готовые стихи, заранее предвидя невозможность провести их через цензуру. Так, в частности, было зачеркнуто четверостишие о Грише Добросклонове: «Ему судьба готовила...». Через автоцензуру прошли и некоторые черновые наброски. Поэт часто не доводил готовые стихи до белой, окончательной редакции, зная, что их все равно не пропустит цензура. Таким образом, те самые стихи, которые звучали особенно революционно, оставались неизвестными читателю той поры, продолжали лежать в столе поэта среди других его рукописей. «Пир на весь мир» не мог появиться в 1876 году в «Отечественных записках», по требованию цензуры отпечатанные листы «Пира» были вырезаны из журнала. Несколько экземпляров журнального текста запрещенной главы получили распространение и послужили основой для возникновения рукописных копий (см.: Гаркави А. М. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и революционное движение 1870-х годов, с. 18).

произведениями которого мы зачитывались и многие из них выучивали наизусть. Его народнический уклон, его страстная любовь к обездоленному люду и гражданский характер мотивов его поэзии, столь родственный и нашему настроению, увлекали нас и искренне привязывали к самой личности поэта»¹.

Некрасову как поэту не только довелось принять участие в «хождении в народ», быть певцом героического движения, но и пережить вместе с революционными народниками все его неудачи. Драматизм событий нарастал и сгущался, трагедия одиноких борцов продолжалась, уносил в могилу все новые и новые жертвы. Может быть, потому Некрасов и не закончил поэму «Кому на Руси жить хорошо», что и в самом революционном движении не видно было желаемого конца. Трагическая судьба массового «хождения в народ» не могла не сказаться на поэме, на ее итогах. Поэт остается наедине с Гришей Добросклоновым, с ним беседует о «счастье народном» и его же благословляет на служение народу. Неизвестно, чем бы закончил Некрасов поэму, но черновые наброски свидетельствуют о том, что Грише Добросклонову уготовлены были Сибирь и каторга.

Большой Некрасов не успел допеть свою лебединую песню. Измученный болезнью, травлей врагов и цензуры, поэт только от народа ждал защиты и помощи. Трагические стихи «Черный день! Как нищий просит хлеба...», написанные незадолго до смерти, кончаются призывом небывалой силы:

Я взываю к русскому народу:
Коли можешь, выручай!

До сих пор борцы и с ними гражданские поэты шли в народ, чтобы оказать ему помощь, вывести на дорогу к счастью, объединиться с ним в последнем акте борьбы. Это была не только мечта, но и действие, подвиг, почти всегда кончавшийся поражением. Ныне, думая о трагедии одиноких борцов, Некрасов сам обращается к народу за помощью, в нем видит единственную надежду на спасение всей передовой России.

Свою нерасторжимую связь с народом, с делом революционных борцов Некрасов ощущал до последней минуты

¹ Ч а р у ш и н Н. А. О далеком прошлом, ч. 1 и 2. Кружок чайковцев. Из воспоминаний о революционном движении 1870-х годов. М., 1926, с. 158.

жизни. В предсмертном стихотворении, обращаясь к своей «кнудом иссеченной Музе», поэт с гордостью писал:

Не плачь! завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть многообразие связей некрасовской поэзии с революционной действительностью. В годы народнического движения поэма «Кому на Руси жить хорошо» воодушевляла молодое поколение на подвиги, вселяла веру в возможность победы над темными силами. В поэме сказался многолетний опыт крестьянского демократа, поэта громадного, неповторимого в своей индивидуальности.



Вокруг народных рассказов Л. Н. Толстого



1

«Хождение в народ» можно рассматривать не только в узком смысле этого понятия — как общественное движение 70-х годов XIX века, но и более широко: отличительная особенность великой русской литературы — постоянная заинтересованность в судьбе народа, исключительная отзывчивость на народные нужды. Литературное «хождение в народ», начатое Радищевым, завершается Толстым, тоже по-своему народником, поднявшимся на вершину художественного реализма, чтобы обозреть крестьянскую Россию, всю народную жизнь. Дороги от социалистической потаенной литературы 70-х годов, созданной для распространения среди крестьян и фабричных, ведут к Толстому, к его народным рассказам и его книгам для народа.

Если у Достоевского отсутствует особый интерес к крестьянству, к деревенскому экономическому укладу и пишет он о «трудящемся народе» вообще, включая сюда и крестьянство, и городскую мелкую буржуазию, разночинцев, мещан, обывателей, то Толстой проявляет повышенный интерес именно к мужику, к русской деревне, к крестьянскому экономическому быту, духовной культуре.

В те самые годы, когда революционные народники готовились к «хождению в народ», работали над программным документом («Должны ли мы заняться рассмо-

рением идеала будущего строя?») и приступали к созданию книг для народа, Толстой уже составляет «Азбуку», по которой должны учиться все дети, «от царских до мужичких»¹. Опубликовав в конце 1872 года «Азбуку», Толстой в 1875 году выпускает «Новую азбуку» и «Русские книги для чтения», куда включает и рассказы, написанные учениками яснополянской школы². В эти же годы появляются и книги для народного чтения, созданные революционерами-семидесятниками. Толстой и революционные народники сходятся на одной и той же дороге, вместе начинают «хождение в народ».

Толстой писал свои книги для народа, полагая, что они тоже «из народа», стоят рядом с фольклором: В яснополянской школе он учил крестьянских детей писать сочинения и восторгался этими сочинениями, ставя ученические рассказы превыше всего. Вот его отзыв о рассказе «Солдаткино житье», написанном крестьянским мальчиком Федькой: «Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе»³.

В журнале «Ясная Поляна» Толстой выступал с педагогическими статьями, в которых призывал следовать за патриархальным мужиком, учиться у него и нравственности и художественной культуре. Фактически Толстой отказывался признать за педагогикой научно-философское содержание. Чернышевский, считавший, что без теории не может быть народного образования, отмечал в своей рецензии на журнал «Ясная Поляна» недостаток в нем «определенных убеждений», недостаток сознания «того, что нужно народу, что полезно и что вредно для него» (10, 517). На последний важнейший вопрос у Толстого был всегда один и тот же ответ: нужно усваивать и развивать те

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное), т. 61. М., 1953. с. 269. (В дальнейшем ссылки на соответствующие тома этого издания даются в тексте).

² Замысел написать «книгу для чтения» и азбуку «для семьи и школы» возник у Толстого еще в 1859 году, в связи с организацией первой яснополянской школы. В приложении к педагогическому журналу «Ясная Поляна» (1862—1863) Толстой печатал рассказы русских писателей (Гл. Успенского и Н. Успенского), фольклорные и литературные переделки, сочинения самих крестьянских детей. См.: Каштанова И. А. Книжки-приложения к журналу «Ясная Поляна». — Яснополянский сборник. Статьи и материалы. [Тула], Тульское книжное изд-во, 1962, с. 114—127. Для нас наибольший интерес представляют «Русские книги для чтения», которые отдельным изданием вышли в 1875 году.

³ См.: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. 70-е годы. Л., 1960, с. 244.

духовные ценности, которые созданы народом, обогащать его «духовную пищу». Обращаясь к «людям науки и искусства», Толстой спрашивает: «А что мы прибавили к народным былинам, легендам, сказкам, песням, какие картины передали народу, какую музыку?..» (25, 357). Таким образом, Толстой тезис «служить народу» понимает весьма своеобразно. Если он говорит о народной духовной культуре, то имеет при этом в виду и эстетическую и идейную сущность фольклора и творчество писателей и художников, основанное на фольклорной этике и эстетике, в том числе и собственные произведения для народа.

Толстой даже несколько переоценивает народное творчество, противопоставляя его искусству цивилизованного общества. «Народное искусство,— утверждает Толстой,— до сих пор служит главным питанием господского искусства, постоянно из него заимствующего. Отнимите у поэзии легенды, взятые из народа, в особенности у музыки народные мотивы, и как мало останется поэзии; в особенности у музыки останется очень мало» (30, 396).

Толстой не только преувеличивал значение фольклора, но и высказывал при этом парадоксальные взгляды, граничившие с нигилистическим отрицанием эстетической ценности литературы и искусства. «Я убедился,— говорит Толстой,— что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке клюшничке» и напев «Вниз по матушке по Волге», что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости» (8,114). Чтобы возвысить патриархальное крестьянство, его духовную культуру и нравственность, Толстой готов принести в жертву и Пушкина, и Бетховена, и самого себя, свои гениальные романы, созданные до перехода на позиции патриархального крестьянства.

Для Толстого крестьянский фольклор и есть подлинно «народная книга», в которой отражены народные идеалы и народное самосознание: «Единственные же книги, понятные для народа и по его вкусу, суть книги, написанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок и т. п.»¹.

¹ Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы, 1862, № 8, с. 60.

Это не значит, что фольклор не нуждается в идейном и художественном развитии, в литературном продолжении. Сам Толстой дает пример того, как следует сближать литературу с фольклором. Былины, сказки, легенды и притчи служили писателю надежным материалом для социальных аллегорий и нравоучительных иносказаний. Социальная дидактика прежде всего, затем уже художественная интерпретация фольклора, поиски жанра и стилистических приемов.

Общее у Толстого и революционных народников состояло прежде всего в страстном разоблачении всех угнетателей народа, в отрицании существующей действительности, в мечте о новом социальном обществе, построенном на равноправии. Толстой разделяет с революционерами-семидесятниками и заблуждения и иллюзии. «Подобно народникам,— пишет Ленин о Толстом,— он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй»¹.

2

В критике социального зла, в «срывании всех и всяческих масок» Толстой превосходит всех своих предшественников. Есть еще одна область, где встречаются Толстой и революционные народники, где они сходятся, чтобы затем резко разойтись.

Русский крестьянский утопический социализм — учение столь же социально-экономическое, как и нравственное, этическое. В. А. Малинин пишет о революционных народниках: «В истории русской мысли, возможно, не было другого течения, представители которого приписывали бы столь великое значение «нравственному фактору», как революционные народники. С ними выдерживают сравнение, пожалуй, лишь декабристы, хотя они, разумеется, были далеки от «теории факторов» и не помышляли об этическом обосновании социалистического идеала»². Толстой тоже был своеобразным социалистом-утопистом, придававшим огромное значение «нравственному фактору» и моральным требованиям.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 101.

² М а л и н и н В. А. Философия революционного народничества. М., 1972, с. 153.

Еще декабристы пытались убедить крестьян и солдат в необходимости и законности борьбы с земными притеснителями, ссылаясь на повеление самого бога. Свои политические воззвания, обращенные к народу, они именовали «священными катехизисами». Разночинцы, участники «хождения в народ», тоже используют Библию для пропаганды революционных понятий, перетолковывают священное писание в духе своей социальной программы и тактики. Идея всеобщего равенства, столь чтимая революционными народниками и Толстым, частично опирается на сенсимолистскую трактовку социальной и нравственной сущности христианства.

Обращение к привычным для народа религиозным символам, использование священного писания рассматривалось народниками как одна из наиболее действенных форм революционной пропаганды. Напомним в связи с этим хотя бы о пропагандистской деятельности Николая Теплова, вышедшего из нижегородского кружка, во главе которого стоял Александр Ливанов¹. Теплов на одном из заседаний кружка читал автореферат «Каким должен быть пропагандист и в какой форме всего удобнее вести пропаганду». Он, как об этом говорится в обвинительном заключении, «на словах и в написанном им реферате решительно доказывал необходимость идти в народ для пропаганды возмущения против царя и притеснений привилегированных классов, причем речи Теплова были так увлекательны, что действовали сильно даже на Ливанова»². Реферат Теплова, видимо, не сохранился. Частично о нем можно судить по тем «выпискам», которые были отобраны у Теплова в самом начале 1875 года в Муроме. В обвинительном акте говорится: «отобраны выписки из св. писания, служившие, по мнению Теплова, подтверждением мысли о необходимости революции»³. Е. С. Крапивин, студент Казанского университета, приехавший в Нижний-Новгород 14 января 1874 года и поселившийся в квартире Грацианова, где в то время проживал Александр Ливанов, в показаниях (от 16 сентября 1874 года) сообщает: «В великом посте на нашу квартиру приходили Теплов и Нефедов». Вскоре Ливанов и Теплов перебираются к братьям Се-

¹ См.: Б а з а н о в В. Александр Ливанов и его трактат «Что делать?».— Русская литература, 1963, № 3.

² Государственные преступления в России в XIX веке, т. 3. Paris, 1905, с. 165.

³ Там же.

ребровским. Крапивин захаживает на эту квартиру: «Там Теплов с неделю читал Евангелие, делал выписки из него...»¹ Это и были те самые «выписки», которые попали в руки жандармов. Полагаем, что и в не дошедшем до нас реферате Теплова, обсуждавшемся в нижегородском кружке, доказывалась необходимость вести пропаганду в форме, примененной в прокламациях долгушинцев. Не случайно Теплов читает Евангелие и делает выписки, снабжая их своим революционным комментарием. Возможно, что Теплов работал над прокламацией. Наброски пропагандистского документа, сделанные его рукой, сохранились в следственном деле, и они показательны:

«Оправдание революции (Матф., 18, 7—9; Исход, 21, 24; Лука, 19, 45—46).

Против начальства (Матф., 19, 25—26; Лука, 22, 24—26; Матф., 4, 10).

Царя не должно наз[ывать] «отцом» (Матф., 17, 25—26; т., 23, 9).

Цари даны в наказание (1-ая книга Царств, 8).

Против присяги (Матф., 5, 33—37; т., 23, 20—22).

Характеристика эксплуат[аторов] (Матф., 23, 4—7, 14, 27—29; т., 12, 34).

Против богатых (Матф., 19, 23—24).

Против ростовщиков (Лука, 6, 35).

Против храмов, икон и т. п. (Матф., 18, 20; Иоанн, 4, 24; Деян. Ап., 17, 29).

Против памятников (Матф., 23, 29).

Против постов (Матф., 59, 17—20).

Против судов (Иоанн., 8, 7).

Против през[ирания] иноверцев (Д. Ап., 10, 28).

За пропаганду (Матф., 16, 27—28).

О любви к ближнему (Матф., 22, 39).

За коммуны (Иоанн., 17, 10; Д. Ап., 2, 44—45; т., 4, 32, 34—35).

Против Троицы (Иоанн., 17, 21; 1-е посл. Иоанн., 4, 13, 15—16)»².

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 263, л. 39.

² ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 264, лл. 337 об. и 338. Одновременно у Теплова была отобрана тетрадь с выписками из сочинений Чернышевского («Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X»), Шашкова («Русские реакции»), Худякова («Древняя Русь»), Шапова («Великорусские области и смутное время» из «Отечественных записок» за 1861 год, кн. 10 и 11), Н. И. Ш(ашкова) («Происхождение и развитие нищенства» из журнала «Дело» за 1872 год, № 7), а также «выписки,

Под большинством тезисов, этих «против» («против начальства», «против богатых», «против судов» и т. д.), составляющих нравственный катехизис революционного народника, мог бы подписаться Толстой. Он был и «за коммуны», за патриархальную социалистическую общину. Его устроила бы и сама форма обращения к крестьянам: социальные и этические понятия переводились на язык священного писания. Не мог бы согласиться Толстой только с одним программным требованием Теплова: «оправдание революции». Но и среди участников «хождения в народ» были своеобразные «толстовцы», противники идеи революции.

Поиски наиболее доходчивых форм пропаганды, учитывающих религиозность русского крестьянина, привели Теплова в Орел к Маликову, который был ему известен еще по кружку ишутинцев. В своих показаниях Теплов подробно рассказывает о встрече с Маликовым и характеризует его учение как «крайне симпатичное». «Здесь (в Нижнем-Новгороде.— В. Б.) столкнулись мы с Аитовым, который рассказал нам, что он слышал про одного служащего на какой-то железной дороге в Орле, Маликова, который открыл новую религию и назвал ее религией «богочеловеков», что основы этой религии очень сходны с христианством, а именно в основе лежит заповедь: «люби ближнего, как самого себя», и что эта заповедь руководит всей его религией. Надо заметить, что я,— показывает Теплов,— вообще крайне интересуюсь всякими религиозными текстами, толками и т. п., и мне кажется, что в них лучше всего выливаются стремления некоторых масс народа, конечно, не абсолютно! Видя, что я крайне заинтересован этой религией, Аитов предложил мне съездить к этому Маликову и хорошенько рас-

неизвестно откуда почерпнутые, под названием «Царские богатства и траты» и „Богатства и траты частных лиц“. Все эти выписки также предназначались для пропаганды. О выписках из св. писания в прокурорском донесении сказано: «Задаваясь же вопросом, для какой цели эти выписки (служили) имелись, с вероятностью можно предполагать, что они должны были служить с революционной целью, на что указывает как обнаруженный ныне заголовок, так и помещенные в конце выписок афоризмы вроде следующих: «Царя не должно называть отцом», «Цари даны в наказание», «Оправдание революции», со ссылками на известные главы и стихи Евангелия, с помощью которых действительно можно превратно истолковать эти афоризмы и таким образом вредные идеи подкреплять подобного рода ссылками» (ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 254, лл. 231—232). На первой странице выписки стояло название, старательно перечеркнутое: «Условия, обеспечивающие успех провинциальной революции».

смотреть его религию... Пробыли мы у него, кажется, меньше недели, и вот какое впечатление произвела на меня его проповедь. Но сначала изложу его учение, как я понял.

Всякий человек, к какому бы званию он ни принадлежал — богочеловек, т. е. он есть вместилище того бога, которому он поклоняется; он сам — бог. Поэтому, видя вокруг себя таких же людей, а следовательно, богов, он бессознательно начинает практиковать заповедь: «люби ближнего, как самого себя». Он верует в других людей, он поклоняется им, но вместе с тем видит в них недостатки. Богочеловеку нанести физический или нравственный вред другому человеку отвратительно. Он не может этого сделать; а потому Маликов и нападает на тех людей, которые проповедуют революцию»¹.

В показаниях от 27 января 1875 года начальнику рязанского губернского жандармского управления Теплов признается, что религиозное учение Маликова произвело на него «сильное впечатление». Но едва ли следует слепо доверять в данном случае Теплову. Жандармскому полковнику он ничего не говорит о революционной пропаганде, но сознательно пытается выдать себя за ученика Маликова, понимая, что реакционное учение о «богочеловеке» не может быть преследуемо царской властью. Насколько Теплов преувеличил это «сильное впечатление», свидетельствуют его постоянные оговорки: «И, очень может быть, я сделался бы его последователем, если бы Маликов доказал бы мне научным путем его справедливость и историческую необходимость. Но он этого сделать не мог, во-первых, потому, что я недостаточно для этого образован, а во-вторых, потому, что, как он сам говорил, не успел еще учению своему придать вид системы»². О второй встрече с Маликовым: «Но и на этот раз Маликов готов не был, и не желая открыто сознаться перед собой, что я не богочеловек, я обманул себя и Маликова и даже взялся рассмотреть по книгам всевозможные секты. Но это, говорю я, было чистойшей натяжкой; отчасти же мне не хотелось обидеть Маликова»³.

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 264, лл. 132 об. и 133.

² Там же, л. 133 об.

³ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 264, л. 134 об.

Известно, что народники проявили некоторый интерес к учению Маликова, посещали Орел; в частности, к Маликову ездил Д. А. Клеменц. Маликову удалось привлечь на свою сторону Н. В. Чайковского, что же касается Клеменца, то он относился к Маликову отрицательно¹. Клеменц тоже интересовался религиозными учениями, но лишь в целях революционной пропаганды, чтобы найти вернейший путь к сознанию крестьянина. Полагаем, что и Теплов, пытавшийся основные политические лозунги народников прикрыть ссылками на Евангелие, на первых порах надеялся, что Маликов поможет найти дорогу к душе крестьянина, что его учение о «богочеловеке» можно будет использовать в беседах с крестьянами. В действительности Маликов идейно разоружал народников, уводил их от социальных вопросов, настраивал против революционной борьбы. Маликова Теплов расхваливал только жандарму, в своем же кармане носил «выписки» из революционного катехизиса. Давыд Аитов, с которым Теплов совершил путешествие в Орел, оказался случайным человеком среди народников, и на него Маликов произвел действительно сильное впечатление. Когда Аитова арестовали и предъявили ему рукописи, отобранные в Муроме у Теплова, он в своих показаниях от 22 июня 1875 года коснулся и орловского эпизода:

«Предъявленные мне три рукописных тетради, из них первая «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» Чернышевского, вторая, начинающаяся словами «Когда царь Иван Васильевич Грозный...», и третья: выписка из священного писания — признаю все писанными рукою Н. Теплова. Мне известно, что Теплов писал заметки, в которых доказывал необходимость кровавой революции. Об этом он мне говорил сам после своего обращения в новую религию и, конечно, отрицал то, что писал прежде, но, что было писано, мне неизвестно. О религии новой и ее основателе А. Маликове я узнал от Дм. Клеменца в Москве. Прибыв в Орел через несколько недель после этого, я с Н. Тепловым отправился к А. Маликову

¹ Хотя Н. В. Чайковский и был среди учредителей известного народнического кружка, впоследствии называвшегося по его фамилии, фактически он не был идеологом революционного народничества и не участвовал в героическом «хождении в народ». С 1874 года Чайковский уходит в богоскательство. А. И. Фаресов свидетельствует: «Уже в 1874 году Чайковский пристал к Маликову, отрицая вражду и насильственные меры» (Ф а р е с о в А. И. Семидесятники. Очерки умственных и политических движений в России. СПб., 1905, с. 301).

и застал там Дм. Клеменца, который пробыл при мне в квартире Маликова дня два и уехал неизвестно куда. Клеменц при мне вел спор с А. Маликовым, доказывая необходимость революционного пути и непригодность нового, т. е., что проповедь новой религии не облегчит страданий народа; но мне кажется, что аргументы, приводимые Дм. Клеменцом, менее основательны, чем А. Маликовым, что замечал, как мне кажется, и сам Дм. Клеменц»¹. Характерно, что Теплов в своих показаниях ничего не сказал о встрече с Клеменцем у Маликова. Он утверждал: «Ни в первый раз, ни во второй я ни с кем у Маликова не познакомился»².

С. Ф. Ковалик не делает различия между Аитовым и Тепловым. По его словам, «Теплов и Аитов вскоре отказались от чисто революционной деятельности. Под влиянием вдохновенной проповеди Маликова, основателя богочеловеческой религии, они, вместе с учителем своим, уверовали, что только пропагандой социализма во имя религии и непротивления злу можно спасти народ и доставить ему счастье»³. Признания самого Теплова отнюдь не свидетельствуют, однако, о том, что он «уверовал» в учение Маликова и отказался от революционной пропаганды.

О Маликове сообщает А. И. Фаресов, который в молодости тоже путешествовал по селам и деревням с запасом запрещенных книг. Однажды Фаресов забрел в Орел, где Маликов, привлекавшийся ранее по каракозовскому делу и уже побывавший в ссылке в Холмогорах, в начале 1874 года несколько неожиданно изменил своему радикальному образу мыслей и принял «новую веру», все надежды стал возлагать на «религиозное возрождение человека». «Протестуйте пассивно и, как Христос, призывайте вложить меч в ножны», — говорил Маликов Фаресову. Новое учение должно было «примирить народ со всеми сословиями»⁴. Фаресов пережил Маликова и в 1904 году откликнулся на его смерть некрологом в «Вестнике Европы»: «В Вильне, 8-го марта 1904 г., скончался 63-х лет Александр Капитонович Маликов, известный не столько своими литературными трудами: «Край без будущего»

¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 264, л. 217 и об.

² Там же, л. 134 об.

³ Ковалик С. Ф. Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. М., 1928, с. 79.

⁴ Фаресов А. И. Семидесятники. Очерки умственных и политических движений в России, с. 299.

и «На задворках фабрики», сколько значительным влиянием, которое он оказывал в семидесятых годах на молодежь, являясь со своим кружком предтечей Л. Н. Толстого в учении о непротивлении злу силой и о борьбе с ним исключительно христианскими мерами. Как бы ни смотреть на поднадзорную жизнь Маликова в шестидесятых годах и на ее перелом к семидесятым годам в сторону христианской жизни,— несомненно, что «маликовцы» представляют собой любопытный эпизод в истории умственных течений среди русского общества семидесятых годов и заслуживают полного внимания»¹.

Об отношении революционных народников к Маликову свидетельствует следующий отклик в журнале «Вперед!»: «В самый разгар движения русской молодежи в народ с проповедью борьбы на почве экономических интересов, с проповедью разрушения старого общественного строя, под развалинами которого приходилось погребсти врагов народа — в это самое время войско русской социальной революции, едва начавшее формироваться в разбросанных неорганизованных отрядах, было деморализовано раздавшейся в его рядах проповедью новых «богочеловеков», толковавших ему о «божественной сущности», которую приходилось «вскрывать» в себе каждому и которая охватывала своею любовью не только сознательных борцов за народ, но и всех врагов его, жандармов и биржевых спекулянтов, железнодорожных царей и его величество Александра Николаевича. Во всех их могла быть «вскрыта божественная сущность», все они могли войти в мистическое царство любви богочеловеков; и потому насилие, кровавая борьба, агитация, вызывающая рабочего на бой против его эксплуататора — все это была проповедь зла, все это был грех против духа святого». Учение Маликова журнал «Вперед!» характеризует как «припадок самой жалкой и отсталой метафизической мистики, и притом в форме, которая должна была побудить молодежь бросить начавшуюся борьбу за народ, начавшуюся агитацию в народе для насильственного завоевания лучшего будущего.— К счастью, припадок оказался очень легким. Русская молодежь осталась в огромном большинстве верна своей традиции и не захотела «вскрывать божественную сущность» в жандармах и биржевиках»². Приведа отзыв

¹ Вестник Европы, 1904, № 9. Цит. по кн.: Ф а р е с о в А. И. Семидесятники..., с. 291.

² Цит. по кн.: Л а в р о в П. Л. Народники-пропагандисты 1873—78 гг., изд. 2-е. Л., 1925, с. 262—263. Возможно, что сам Маликов в ту пору

о Маликове, появившийся в журнале «Вперед!», П. Л. Лавров от себя замечает: «Уже совершенно определенно за внесение религиозно-метафизических элементов в социалистическую пропаганду, устраняя начало революции и всякой насильственной борьбы (предвосхитив проповедь Л. Н. Толстого), стояла группа так называемых «богочеловеков», организованная около Маликова».

3

В январе 1889 года на прогулке Л. Н. Толстой встретил А. К. Маликова. В Дневнике (от 8-го января) он сделал следующую запись: «Встретил на гуляньи Маликова и вынес одно из самых радостных впечатлений» (50, 21). Друг этого Маликова В. И. Алексеев был учителем в Ясной Поляне (62, 369. Письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 3 января 1878 года). Отзыв Толстого об Алексееве в какой-то степени относится и к Маликову: «Выше христианского учения он ничего не признает и исполняет его в смысле нелюбостыжания, воздержания похотей, кротости, любви, неосуждения, смирения, служения другим, так, как я бы желал когда-нибудь исполнять» (62, 59. Письмо Толстого к С. С. Урусову от 22...28 декабря 1879 года).

Конечно, толстовская теория непротivления злу складывалась совершенно независимо от влияния евангельских заповедей Маликова. У Толстого все сложнее.

Бегство из Ясной Поляны, хождение пешком по деревням, желание встречаться с народом — все это как будто из эпохи героического «хождения в народ». Решение Толстого порвать связи с официальной Россией, полностью перейти на позиции патриархального крестьянства было подготовлено и прежним социальным опытом самого писателя и опытом русского освободительного движения. Революционные народники не могли не симпатизировать Толстому, хотя толстовство они отвергали. П. А. Кропоткин видел в позднем Толстом идейного и нравственного союзника революционеров-семидесятников. «Силою своего убеждения и любви к народу и могуществом своего художественного гения он,— писал Кропоткин о Толстом,— расшевелил лучшие струны человеческой совести; а последним своим поступком — удалением от чуждой ему

находился под впечатлением «Бесов» Достоевского, в частности — образа Шатова, носителя теории «богочеловеков».

семьи, с мыслью посвятить остаток сил великому делу пробуждения общественной совести,— он безбоязненно, правдиво, как истый боец, завершил свою жизнь»¹.

Но Толстой, как и Достоевский, расходился с революционными народниками в выборе методов борьбы с существующей действительностью, в понимании самой нравственной природы человека. Толстой, однако, ближе к народникам и по своим нравственным понятиям и в своем жизненном поведении. В 80—90 годы Толстой продолжает своеобразное «хождение в народ» и участвует в создании «народных книг». Книги для народа, написанные Толстым и переданные им в издательство «Посредник», недаром вызвали гнев церковников. В 1886 году вышла в свет брошюра протоиерея А. Иванова «О книжках для народа, издаваемых фирмой „Посредник“». Ранее статьи этого протоиерея о Толстом и его «народных книгах» печатались в «Тульских епархиальных ведомостях». А. Иванов призывал «стать на страже всего духовного стада, ограждать православный народ от тенденциозного балагурства, морали, прикрываемой невинной формой детской сказки, а иногда и священным текстом писания»². Отмечая, что книжки Толстого, изданные «Посредником», не соответствуют требованиям «религиозно-нравственного воспитания и образования народа», протоиерей Иванов тут же иллюстрирует свой вывод примером из народных рассказов Толстого. О рассказе «Зерно с куриное яйцо» сказано, что эта «сказка тоже клонит к социализму в некотором роде. Старик объясняет, что в старину земля не была ничьей собственностью, своим считали только труд, и чужими трудами никто не пользовался; оттого хорошо и жили и хлеб хорошо родился. Небольшая сказка, в четыре маленьких странички, а какую широкую социалистическую идею проповедует!».

Здесь же содержится отзыв о «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах»: «Сказка осмеивает современные условия жизни:

¹ Кропоткин П. Толстой.— Утро России, 1910, № 306, 21 ноября, с. 2—3.

² Иванов А. О книжках для народа, издаваемых фирмой «Посредник». Воронеж, 1886, с. 4. См. также: Лебедев В. К. Борьба духовной печати против издания произведений Л. Н. Толстого для народа.— В кн.: Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX веков. (Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена, т. 414 Л., 1971, с. 282—284.)

политические (необходимость содержать войско), экономические (значение денег) и социальные (значение умственного труда)... Сказка, хоть и от лица дурака (разумеется, сказочного, который, очевидно, себе на уме), проводит принципиально мысль о возможности быть царству без войска, без денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя, который по крайней мере ничем не должен отличаться от мужика, мысль о единственно полезном труде — мозольном»¹.

Народные рассказы и сказки Толстого имели огромное революционизирующее значение. В 80-е и 90-е годы эти рассказы и сказки Толстого, а также его публицистические статьи («Письма о голоде») как бы заменили уничтоженную самодержавием пропагандистскую литературу революционных народников. О Толстом «Московские ведомости» в январе 1892 года писали как о самом страшном пропагандисте: «Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда... Граф открыто проповедует программу социальной революции, повторяя за западными социалистами избитые, нелепые, но всегда действующие на невежественную массу фразы о том, как «богачи» пьют пот народа, пожирая все, что народ имеет и производит!»²

В отзывах цензоров и мракобесов-публицистов из «Московских ведомостей» и «Епархиальных ведомостей» содержатся явные преувеличения, вызванные страхом перед революцией. Толстой предстает перед ними как один из главных разрушителей существующего порядка. В действительности Толстой не был проповедником «социальной революции», его отношение к «западным социалистам» и отечественной «подпольной пропаганде» было куда сложнее. Позднейшие народные рассказы Толстого, основанные на легендарно-сказочных и былинных сюжетах, вбирают некоторые идеи и сюжетные положения потаенной литературы эпохи массового «хождения в народ» и одновременно отталкиваются от пропагандистских книжек революционных народников, спорят с ними.

Противоречия в народных рассказах Толстого были отмечены Степняком-Кравчинским. Степняк-Кравчинский читал о Толстом публичные лекции в 1888 году в Англии

¹ Иванов А. О книжках для народа, с. 44—45.

² Цит. по кн.: Бычков С. Л. Н. Толстой. Очерки творчества. М., 1954, с. 402—403.

и в 1891 году в Соединенных Штатах Северной Америки. На основе этих лекций им были написаны две статьи — «Свет России» и «Граф Толстой как писатель и социальный реформатор». М. И. Перпер, опубликовавшая статьи о Толстом в «Литературном наследстве», замечает: «Высоко ценя Толстого-художника, «чье творчество останется в веках и всегда будет вызывать восторг и восхищение», Степняк резко порицает «религиозные идеалы» Толстого-пророка, «уводящего назад в далекое, уже чуждое нам прошлое», заявляет о неприемлемости его социальной философии „для всех свободолюбивых русских людей“»¹.

И в самом деле, Степняк-Кравчинский высоко ценил рассказы Толстого, приравнивая их к лучшим демократическим книгам для народа. В статье «Свет России» он писал о рассказах для народного чтения: «За последние несколько лет Толстой написал около двух десятков небольших рассказов для народного чтения. Не все они выдерживают сравнение с другими его произведениями. Есть среди них вещи довольно слабые, есть слишком перегруженные философией и потому малохудожественные.

Но лучшие из них — настоящие шедевры и могут служить образцами истинно народной литературы, представляя собой лучшее, что в ней создано.

Толстой сразу завоевал внимание народа. Его рассказы расходятся в сотнях тысяч экземпляров и читаются крестьянами с большой жадностью... Своим примером, которому охотно последовали многие русские писатели, своими личными усилиями, советами и помощью в издании книг для народа Толстой много содействовал и содействует развитию нашей народной литературы»².

Однако в статье «Граф Толстой как писатель и социальный реформатор» Степняк-Кравчинский делает существенную оговорку, уточняющую отношение революционного народника к социально-политическим воззрениям великого художника. Говоря о двух основных стихиях русской национальной жизни, или двух «элементах» — западном и восточном, Кравчинский отмечает двух великих русских писателей, наиболее полно воплотивших эти элементы в своем творчестве: «Тургенев представляет западный... элемент, уже довольно сильный в современной России и все

¹ Перпер М. И. Русский пропагандист Толстого. Две статьи С. М. Степняка-Кравчинского. — Литературное наследство, т. 75, кн. 1, 1965, с. 545.

² Литературное наследство, т. 75, кн. 1, с. 551.

более усиливающийся с каждым поколением, распространяясь от высших классов к народным массам. Толстой же, наоборот... самый полный выразитель противоположной стихии — того восточного элемента, который хоть и изживаете понемногу, но все еще пока преобладает среди миллионов русских крестьян.

В чем же состоит восточный элемент? На мой взгляд, самым характерным, хоть и внешним его проявлением, — пишет Кравчинский, — является пассивная покорность перед бедствиями внешнего мира, отсутствие охоты к борьбе с ними, коренящиеся в том, что принято называть фатализмом»¹.

Известно, что революционные народники ставили своей основной задачей подготовить крестьян к организованным действиям; они и книги писали, преследуя цели революционной пропаганды и просвещения народа. У Толстого была своя программа: он призывал к нравственному усовершенствованию, чтобы все жили «по-божьи». В «Исповеди» Толстой заявляет о своем окончательном переходе к «истинному» христианству: «Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым» (23, 47). Идеи христианского социализма в некоторых народных рассказах Толстого оборачивались резкой критикой существующей действительности и прославлением социально-этических утопий патриархального крестьянства. Народное, вернее крестьянское, представление о государстве во главе с мнимым мужицким царем прекрасно отражено в «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах». Иван-дурак, став царем, подает пример трудолюбия и бескорыстия. Ему и царские платья ни к чему, он прячет их в сундук, а сам одевается в «посконную рубаху», чтобы удобнее было работать. Герой толстовской сказки учреждает патриархальную крестьянскую республику, где «всего много», все сыты, одеты и обуты. Своим нравственным поведением и трудолюбием («мозоли на руках») он побеждает враждебные силы, в частности и тараканского царя, пытающегося силой разрушить Иваново царство. И помещики и царедворцы, все без исключения, доказываются в сказке, должны принять на себя крест смирения,

¹ Литературное наследство, т. 75, кн. 1, с. 552.

добровольно отказаться от частной собственности и власти, сравняться с мужиками. Но и крестьяне не должны бунтовать, поддерживать смутьянов, силой добиваться равноправия. При всей ее оппозиционности по отношению к самодержавной России и помещицкому строю, толстовская сказка проникнута идеализацией такого мужицкого «счастья», которое завоевывается мирным, нравственным путем, без применения насилия.

Говоря о народе, Толстой разумел, по словам Г. В. Плеханова, прежде всего «крестьянина доброго старого времени, представлявшегося ему в виде все выносящего и все прощающего Платона Каратаева (в «Войне и мире»)»¹. «Наш великий художник,— подчеркивает Г. В. Плеханов,— очень ошибался, думая, что трудящаяся масса всегда и везде относится к своим страданиям и лишениям с спокойной и твердой уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — „добро“»².

Принципиальное расхождение между Толстым и революционерами-семидесятниками начиналось тогда, когда речь заходила о способах изменения существующей действительности. Именно потому, что в религиозно-дидактических рассказах Толстого простой народ желает жить «по-божьи», страдать и терпеть, ничего не меняя в своем положении, наиболее сознательные рабочие и отчасти крестьяне сами вступают в полемику с толстовством, с теорией непротivления, «христианского единения». В особенности эта полемика обострилась позднее, после первой русской революции 1905 года. Так, русские мужики советуют графу Толстому окончательно покинуть дворянскую усадьбу («проклятое барство»), не возлагать надежд на добрую христианскую жизнь, не бояться социального насилия. Крестьянин Оренбургской губернии А. Шильцов писал в августе 1908 года Толстому:

«Да, дорогой Лев Николаевич, только все и делается мозолистой рукой! Мозолистая рука питает всех, и, наверно, скоро эта же мозолистая рука сдвинет и устранил всю неправду. Все крестьяне уже давно чувствуют, что творится что-то неладное, и вот это чувство с каждым годом, и особенно неурожайным, разрастается больше

¹ Плеханов Г. В. Еще о Толстом.— В кн.: Толстой в русской критике, изд. 3-е. М., 1960, с. 397—398.

² Там же, с. 397.

и больше, а потом сразу обрушится вся эта стихийная сила на головы злодеев» (78, 298) ¹.

Один из выдающихся представителей первого поколения русских революционеров-марксистов Н. Е. Федосеев в письме к рабочему социал-демократу А. А. Андреевскому, сочувствовавшему толстовскому учению, подчеркивал: «Прикрываясь проповедью всем и каждому личного усовершенствования, мы косвенно поддерживаем общественную несправедливость. Говорить людям, принадлежащим к господствующему классу, о нравственной необходимости не угнетать других людей, не пить их кровь — значит вопиять в пустыне, делать бесполезное, пустое дело. Убеждать людей, принадлежащих к подчиненным классам, к трудовому населению, в том, что путь их к спасению — личное усовершенствование, значит связывать им руки, обрекать их на бесконечное страдание, значит делать вредное дело» ².

В борьбе с толстовщиной приняли участие и старые народники, в частности Н. К. Михайловский. В статье «А. Н. Островский.— Еще о гр. Л. Н. Толстом» (1880) Михайловский писал по поводу цикла толстовских рассказов, вышедших в издательстве «Посредник» и в «Книжках „Недели“»: «Существеннейшую тенденцию этих рассказов, главную точку, в которую почти все они бьют, составляет знаменитое непротивление злу» ³. Теория непротивления злу обуславливает и другие консервативные элементы рассказов Толстого, написанных для народа. «В своих народных рассказах гр. Толстой, желая стать на общую с народом почву (желание само по себе очень естественное и законное), поддакивает некоторым, вовсе не желательным, суевериям и фантастическим представлениям мужика и в то же время, по отношению к делам житейским, самым резким образом топчет некоторые идеалы народа, заслуживающие совсем иного трактования...» ⁴ Или, как говорит

¹ Разговоры Толстого с крестьянами, крестьянские письма к великому писателю-проповеднику и его ответы уже привлекали внимание исследователей. В книге Б. С. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого» (М.—Л., 1960) содержится богатый материал для изучения вопроса о восприятии творчества Толстого народными массами (см. главу «Голоса народа»).

² Федосеев Н. Е. Статьи и письма. М., 1958, с. 186—187.

³ Михайловский Н. К. Островский А. Н.— Еще о гр. Л. Н. Толстом.— Л. Н. Толстой в русской критике. М., 1960, с. 266. Михайловский имел в виду следующие рассказы Толстого: «Свечка», «Чем люди живы», «Где люди, там и бог», «Два старика», «Три старца», «Вражье лепко, а божье крепко» и др.

⁴ Там же, с. 269.

далее Михайловский, Толстой «неправ, когда потворствует народным суевериям и предрассудкам, но столь же неправ и тогда, когда топчет народные понятия о рабстве, о батрачестве, о женском труде»¹. По мнению Михайловского, знаменитая «Сказка об Иване-дураке» только иллюстрирует теорию непротивленчества².

В той же статье Михайловский подробно рассматривает рассказ Толстого «Ильяс». «Крепостное право, — пишет Михайловский, — не существует, но возможны и существуют другие формы зависимости, которые гр. Толстой тоже вводит в свои народные рассказы с ярлыком добра, в чем, конечно, тоже резко расходится с мнением самого народа. Есть у него в этом отношении чрезвычайно поучительная сказочка «Ильяс» (тоже текст к лубочной картине). Это рассказ о том, как богатый и добрый башкирец Ильяс от разных несчастий обеднел и пошел к соседу в работники. Тут он и нашел свое счастье»³. Далее Михайловский недоумевает: «Как могло случиться, что демократический, «народнический» писатель, каким принято считать гр. Толстого, как бы проповедует народу прелести рабства и батрачества? Без сомнения, он намеренно такой проповеди не ведет. Он просто презирает жизнь со всеми ее сложными формами. Он выстроил себе «келью под елью», куда разрешается ходить всем на поклонение и откуда сам он презрительно выглядывает на весь божий мир: рабы и свободные, батраки и самостоятельные хозяева, — какие это все пустяки! Все — все равно, все — трын-трава, лишь бы старца в келье под елью слушали да злу не противились...»⁴.

¹ См.: Л. Н. Толстой в русской критике, с. 272.

² Журнал «Книжный вестник» об изданиях «Посредника» писал со всей резкостью: «Графу Л. Н. Толстому почему-то показалось, что мужик наш безнравственный человек и, конечно, при этом и не религиозный. Ведь это ужасно! Надо помочь этому горю: и вот Л. Н. Толстой начинает поучать его легендами вроде трех «Беломорских старцев», бегающих по воде под молитву, «трое вас, трое нас, помилуй нас»; или негаснувшей свечой на сохе хлебопашца, или сказочками об Иване дураке и винокуре и прочей, даже не мелочью, а дребеденью, вовсе не удовлетворяющей мужика, для которого они написаны и фантазия которого своими замороженными легендами и вымыслами гораздо богаче этих побасенок (...). Сказками мужик наш богат и сам (...) дайте ему чтение здоровое, историческое или бытовое, а не сказки (...) Научите его тому, что он может извлекать из окружающей его природы, что он может сделать своими богатырскими руками (...) и за это он скажет великое спасибо и расскажет вам сказку лучше вашей» (Книжный вестник, 1886, № 15—16, 15 августа, с. 704).

³ Там же, с. 268.

⁴ Там же, с. 278.

Возможно, что не без влияния полемической статьи Н. К. Михайловского была написана «Сказка о мужике Егорке», посвященная Л. Н. Толстому. Сергей Синегуб, отбывавший после каторги ссылку в Сибири и остававшийся верным своим прежним убеждениям, решил своей «Сказкой о мужике Егорке» ответить на рассказ Толстого «Ильяс». Пережив множество бед и горя, несчастный крестьянин Егорка обращается за советом к премудрому отшельнику. «Отшельник» отвечает Егорке:

Любовь да терпение
Победят зло на свете!..
Об этом предмете
Прочитай в рассказе
О добром Ильясе!

Сказка начинается с изображения тяжелой жизни многолетнего Егорки. Попав в кабалу к мироеду-кулаку Климу, Егорка отправляется на «чужую сторонку», чтобы заработать там деньги и расплатиться с долгами. Вместе с Егоркой уходят и другие деревенские мужики. Есть в этой сказке, как и в «Сказке о четырех братьях и их приключениях», кое-что общее с поэмой Некрасова. В «Сказке о мужике Егорке» показаны деревня, отданная на разграбление мужику-мироеду, и безвыходное положение неимущих мужиков, решивших искать счастье на реке Дарье, вернуться из путешествия с «казной золотой». Во сне путешествующие крестьяне действительно видят счастливую жизнь, построенную по образу и подобию наивной крестьянской утопии. Главное в этой утопии, не выходящей за пределы деревенской околицы,— материальный достаток.

...Будто воротился
Он домой, веселый,
Деньжищ полны полы
Принес своей женке
Из чужой сторонки;
И, вошедши в силу,
Тотчас же кобылу
Купил с жеребенком,
Корову с теленком,
Подновил избенку,
Да разрядил женку...

Но это только сон, в жизни нет и такого счастья. Вместо фольклорного поэтического путешествия, сулящего в недалеком будущем зажиточную, веселую жизнь, Егорку и его односельчан всюду преследуют бесправие, грабеж, бедствия, изнурительный труд.

Но почему же сказка о Егорке посвящена Л. Н. Толстому? Основная идея заключена в самом конце сказки. Вернувшись из путешествия, Егорка со своей бедой обращается к «премудрому отшельнику». Совет «отшельника» (настоящего толстовца): потерпи и смирись. Только любовью и смирением, толкует он Егорке, можно победить зло:

Ты только смирися,
Пойди поклонися
Хоть тому же Климу...
...И Клим устыдится
И сердцем смирится
Пред твоей любовью...
...Следуй сему слову:
Не противься злему!

Что мог ответить на эту толстовскую проповедь многострадальный Егор? Конечно, он не мог согласиться с советами «отшельника» забыть об обидах, простить «брюхатому» Климу. Ответ мужика Егорки выдержан в лучших традициях народного вольнолюбия, крестьянско-политического красноречия:

— Я ль не поклонялся?!
Я ль сопротивлялся?!
Но чтоб так смириться,
Климу-лиходею,
Своему злодею,
Да ему батрачить,
У него собачить,—
Нет уж, это дудки!
Я еще в рассудке...

Конец сказки совсем печальный. Не желая смириться и не видя иного для себя выхода, Егорка выбирает покрепче сук, чтобы повеситься, ибо «жить нет больше силы!». Перед смертью он с горькой иронией вспоминает слова «отшельника»:

«...По твоему слову,
Не противлюсь злему!»
: : : : : : : : :
С этим самым словом
На суку еловом
Повис наш Егорка
С крутого пригорка!

У Толстого Ильяс в батрачестве, смирении и терпении находит свое счастье («такое счастье нашли, что лучше и не надо»); Егорка уходит из жизни, чтобы не быть батра-

ком у Климки, не унижаться и не терпеть. Это два противоположных характера. «Сказка о мужике Егорке» продолжает печальную историю крестьянских «хождений» в поисках счастливой земли. В Приложении мы публикуем «Сказку о мужике Егорке» по тексту отдельного издания, по-видимому, пропагандистской брошюры, рассчитанной на распространение среди крестьян¹. Сохранившийся в семейном архиве С. В. Синегуба (внука поэта) экземпляр брошюры не имеет титульного листа, отсутствуют и выходные данные. После текста сказки напечатано обращение «К читателю», из которого в экземпляре С. В. Синегуба сохранилось лишь несколько начальных строк.

Эта сказка, ныне совершенно забытая, является своеобразным и ярким образцом демократической «народной книги».

¹ В письме к П. Ф. Якубовичу от 14 (27) октября 1903 года, хранящемся в том же семейном архиве, С. С. Синегуб рассказывает о том, как «Сказка о мужике Егорке» читалась в читинской квартире главного управляющего приисками Баллода, куда обычно собирались служащие коротать длинные зимние вечера. Как выясняется из письма Синегуба, сказка его встретила у слушателей весьма холодный прием. Иначе, разумеется, и не могли отнестись к пропагандистской сказке сибирские либеральные чиновники. С. С. Синегуб сообщает также, что его сказка печаталась в «Амурской газете» без подписи автора, однако нам пока не удалось обнаружить ее на страницах этой газеты.



Приложение



Сказка
о мужике
Егорке



(Посвящается гр. Л. Н. Толстому)

Жил себе Егорка
На верху пригорка;
Над землею трудился,
Из-за гроша бился.
От зари до зорьки
Лился пот с Егорки —
Над плохим наделом,
За кустарным делом,
Весной за сохою,
Летом за косою,
Осенью за цепом,
Чтобы быть, вишь, с хлебом,
Зимой за дровами
Да за сапогами.
Был мужик он дюжий,
Хоть и неуклюжий,
Был работник с сметкой,
Не балован водкой,—
Выпивал немного,
Но во славу бога;
Только в день воскресный
Распевал он песни,
В час мрака ночного
Вдоль села родного

Идя домой к женке
В ожиданьи гонки.
Женка его тоже
Лезла вон из кожи
Над скотом, над пашней,
Над стряпней домашней.
Каждый год рожала,
И все было мало,—
Полна детьми хата,
Она — знай брюхата,
И не унывает,
Знай в бане рождает...
Тут роптать негоже,
Дело это божье!
Они не роптали,
Жили-поживали
Со своей заботой,
День-деньской с работой.
Нету тунеядства —
Но и нет богатства!
Жил себе Егорка
Ни сладко, ни горько:
С хлебом уберется,
За сапог примётся,
Сапог изготовит
Да Савраску словит.
Запряжет Савраску
Во тележку тряску,
На базар укатит,—
Там деньжонок схватит,
Деньгу в мошну спрячет
И обратно скачет,
Везет пряник детям,
Душу теша этим.—
Дома всё изладит,
Подати уплатит,
Не любя к тому же
Недоимок дюже.
Словом, хоть не жирно,
Да жил себе мирно.
И прожил бы век он
Мирным человеком,
Был бы всем доволен,
Да во всем бог волен...
Ох! По миру ходит,

Днем и ночью бродит,
Промеж людей рыщет,
Жертвы себе ищет,
И в лесу и в поле,
В тюрьме и на воле,
На суше, на море
Шнырит-рыщет — горе.
Зашло и к Егорке,
Что жил на пригорке.
Выпал год случайный
Больно урожайный,
Рожь-то у Егора
Повыше забора!
Егор с женой ходит,
Руками разводит,
Весело смеется
Да диву дается,
Гладит Катерину:
«Понатрудишь спину
Ноне ты над жнивой!»
— Только б в час счастливый!
Спинушка своя-то,
Не за деньги взята!
Время шло, и скоро
Стала рожь Егора
Цвести, колоситься,
В золото рядиться.
Только вдруг нежданный
Ветер окаянный,
Налетел ревучий
С градовою тучей;
В молнии и громе
Град с яйцо в объеме
С неба вдруг посыпал
Да на четверть выпал.
Во мгновенье ока
Бешенством потока
Пашня вся изрыта,
Смята рожь и смыта,
И Егор без хлеба
По милости неба.
А тут, глядишь, вскоре
И новое горе:
По этому году
Сапогу нет ходу.

Скупщик на базаре
В веселом ударе:
«Праздник у нас ныне.
Пара по полтине,
Сапогов-то много!»
Просят ради бога
Продавцы набавить,
Их в беду не ставить,
А кулак хохочет
И слушать не хочет.
Туго же Егору
Стало о ту пору!
Бедный Егор тужит,
Горе его дюжит,
Охает с женою
Над своей бедою:
«Как беду залечим?
Подать платить нечем!
И семян к весне-то
Ни зернышка нету!»
Подумал Егорка:
«Как уж тут ни горько,
А надо смириться —
Климу поклониться,
Я же кабак Клима
Не пропускал мимо.
С нашего же миру
Нагулял он жиру,
Авось вспомнит бога
Да и даст немного
На докук без гнева
Семян для посева».
Вот Егор заходит
К Климу и заводит
Речь о боге вышнем
И о многом лишнем, —
Клим не понимает,
Слушая, зевает.
Вот Егор смелее
Начал, попрямее:
«Так и так, мол, милый,
Поослаб я силой,
Видишь ли, к весне-то
Ни зернышка нету.
У тебя ж в амбарах,

От годов-то старых,
Есть, кажись, запасец...»
— Про себя есть, братец!
«Сделай милость божью,
Ссуди меня рожью;
Господь воздаст вдвое
За дело такое!
Я же твой плательщик,
За тебя молельщик».
Почесав за ухом,
Почесавшись брюхом
О свою застойку,
Начал Клим не бойко:
«Что же! Можно этга
Для мила соседа!
Так и быть, утешу,
Пуд тебе отвешу!
Время, вишь, тугое,—
Так ты вернешь втрое
Да мне за услугу
Десятину лугу
На увале Белом
Выкosiшь меж делом!»
Крякнул Егор с горя,
Но, с Климом не споря,—
Тут же не до спору
Бедному Егору,—
Молвил: «Так, любезный!
Спасибо, болезный!»
Взяв рожь под расписку,
Поклонившись низко
Климу добродею,
Куль взвалив на шею,
Поплелся Егорка
К своему пригорку.
В избу он заходит,
С женкой речь заводит:
«Семян я промыслил,
Да идя измыслил
Вот каку затею:
Хлеб-то я посею,
А насчет уборки
Ты уж без Егорки
Как-нибудь справляйся,
Сама убирайся!»

— Ну, а ты-то что же?
С сапогом ведь тоже
Ныне дела плохи!
«Ешь их вши и блохи!
С сапогом вожжаться —
Даром натружаться!
А пойду я, женка,
На чужу сторонку!
Люди бают — тамо
Сотни в лето прямо
Клади в свою мошну.
Да и боле можно!
Недоимка ныне
В хлебном магазине,
Да и в подать тоже,
А это — негоже!
Надо дело сладить,
Выбелить да сгладить!»
Взвыла Катерина:
«Экая кручина!
Ты уйдешь далеко,
Меня одинокой
С детками покинешь,
Да и сам там сгинешь!»
Детки тут же были,
Глядя на мать, взвыли.
Молвил Егор строго:
«Цыц! Не войте много!
Брось ты пустословье!
Дал бы бог здоровье,
Живо обернуса —
Жив домой вернуса,
Да вернуса с деньгами,
Деткам с калачами».
И пошел Егорка
С своего пригорка.
Поплелись с ним тоже
Фомка Криворожий,
Левка Белобрысый,
Галактион Лысый,
Да Иван Беспалый,
Да Кирюшка Малый.
Жены, что вдовицы,
Шли до околицы,
Мужей проводили

И вдосталь повыли.
Ставши за селеньем,
С тихим умиленьем
Мужья покрестились,
С женами простились.
И в смутной тревоге,
По пыльной дороге
От места родного
Долго шли без слова,
Широко шагая,
Пыль в себя вдыхая.
Шли и все молчали,
Но вот увидали
На версте тридцатой
Али двадцать пятой
Шедшую по струнке
Насыпь для чугунок;
Тут Иван Беспалый
Да Кирюшка Малый
Молвили к артели:
«Стой, братцы, взопрели!
Эк жарища мучит!
Да и живот пучит!
Шли уж больно скоро,
И обедать в пору!»
Мужики присели
К насыпи, поели
Под лазурью неба
С солью, с луком хлеба —
Водицей запили,
Силы подбодрили.
Подкрепивши тело,
Стали свое дело
Обсуждать разумно,
Хоть маленько шумно:
«Ну, так вот, ребята,
Порешить нам надо:
Уж куда идти нам,
Удалым детинам?!
Из какой сторонки
Принести можно женке
Не мошну пустую —
Казну золотую?»
Тут веселый Левка
Начал дело ловко.

Молвил Криворожий:
«Мне солдат захожий
Сказывал когда-то,
Как идти тут надо,
Да, вишь, незадача —
Позабыл я, кляча!»
— Эка, право, жалость!
А ты, Фомка, малость
Умом шевельни-ка
Небольшу толику,
Коли бог поможет,
Ты и вспомнишь, может.
Долго думал Фомка,
Да вдруг молвил громко:
«Плохо, братцы, что-то...
Видно, нам работа
Вяжет ум веревкой!»
— Это, брат, неловко! —
Вся артель сказала
И долго стояла,
Молча в землю глядя.
— Что ж, Егорка, дядя,
Как узел развяжешь,
Что же ты нам скажешь?
«А вот что, ребята,
Нам на полдень надо.
Как-то раз прохожий
Сказывал мне тоже:
Ты на полдень прямо
Иди, мол, а тамо
Дойдешь ты до града,
А тут свернуть надо,
Баял, кажись, вправо.
Дале ж — степь на славу,
Широка, что море,
Лежит на просторе,
Степь-то хлебородна,
Земли сколь угодно;
Баре там богаты,
Лишним людям рады;
Хлеба много сеют,
Денег не жалеют,
В горячую пору
Дают в день без спору
За работу в поле

Пятитку и боле».
— Так что же, ребята,
Чаво лучше надо?!
Все вдруг загалдели:
«Что же в самом деле!
Это ль еще худо?!
Будет с нас покуда!
По пятитке в сутки —
Это сказать шутки!»
Загоготал Левка:
«Это, малый, ловко!»
Фомка Криворожий
Рассмеялся тоже,
И Иван Беспалый,
Человек бывалый
(В жизни был два раза
У храма у Спаса,
Молился святому
За сто верст от дому),
Тож не удержался,
В бороду смеялся.
Всем им было любо,
Егорке ж сугубо.
И с надеждой сладкой
По дороге гладкой
На полдень на самый
Повалили прямо.

.

Месяц шли и больше,
Что дальше, то горше:
Ноги поотбили,
Обувь изнасили,
Пищи стало мало,
Денег недостало,—
Все ж таки ребята
Добрались до града.
Тут Иван Беспалый
Да Кирюшка Малый,
Фомка Криворожий
С ними заодно же,
Что-то оплошали,
Всурьез захворали:
Ноги, вишь, стянуло,

Живот что-то вздуло,
Есть им неохота,
Маает их тошнота,
Мучит жар да холод,
В башке стучит молот,
Грудь всю разломило,
Идти не под силу.
«Видно, вам, ребята,
Тут остаться надо», —
Молвил Егор скорбно:
«Тихон преподобный,
Мужичий радетель,
У бога свидетель
Трудной жизни нашей,
О хворости вашей
Будет молить бога —
Будет нам помога!
Нам же недосужно,
Идти дальше нужно».
Ночь проведши в граде,
Утром на прохладе,
На свет зари глядя,
Наш Егорка-дядя,
Левка Белобрысый,
Галактион Лысый
Из корчмы дешевой
В путь пустились снова.

.
И вот пред их взором
Степь с ее простором,
Но к их удивленью,
Горю и «сумленью»,
От края до края
Лежит степь сухая,
По бокам дороги
Жалких нив убогих
Скорбный шелест слышен:
Жаром солнца выжжен
Сок колосьев тонких,
Реденьких и ломких.
Все в степи погибло,
Все жара пришибла.
Где труды блистали

Ярче чистой стали,
Там теперь «калюжи»,
Гнилой грязи лужи!
И стоит пред ними
Тростник недвижимый,
Издавна здесь росший;
Теперь весь засохший,
Никнет молчаливый,
Некогда шумливый.
Редки, жалки чащи,
Вербовые рощи
С сухими ветвями
Стоят над прудами.
Словно как в пустыне,
Леса нет в помине;
Только холм-могила
Изредка уныло
Торчит среди степи.
А над степью в небе
Солнце не сияет,
А огнем пылает.
Перестав быть солнцем,
Стало в ад оконцем,
Полымем из ада
Испепелить радо
Все, все до травинки,
До малой былинки.

Мужики шагали,
Тяжело дышали,
Пот лился с них градом,
Степь казалась адом,
И в душе и в теле
Все места болели.
И притом повсюду
Их встречали худо.
Глядишь, в одном месте
Просят уйти с честью,
В другом гонят в шею,
Брани не жалея.
«Дьявол вас тут водит!
Много вас тут бродит,
Людей сего сорту!
Проваливай к черту!»
Куда ни совались,

Нигде не нуждались
В удалых детинах,
В их руках и спинах.

.

Как-то раз им к ночи
Не хватило мочи
Шествовать по пыли,
Пораспухли ноги
От долгой дороги,
Да и плохо елось
(Хлеба не имелось),
Так и захотелось
Отдохнуть им, грешным,
В горе неутешным,
Да раздобыть кстати
Хлеба Христа ради.
Вот в село заходят
И к хате подходят.
На пороге хаты
Старец бородатый.
«Здравствуй, старец божий!
Пожалей захожих,
Пусти Христа ради
Заночевать в хате...
Больно ослабели,
Ничего не ели».
Старец молчаливо
Оглядел пытливо
Всех гостей незваных
В одежонках рваных,
Потом уж сурово
Молвил им: «Здорово!
Здесь уже немало
Таких-то бывало!
Хоть вашего брата
Гнать бы в шею надо!
Шляются по свету!»
— А за что же это? —
Мужики спросили:
— Чем мы прогневили?
«А чем вам хвалиться?
Что вам не сидится
Дома?! Вишь ты, рыщут,
Счастья себе ищут...

В год-то с урожаем
Мы вас проклинаем!»
Мужики с печали
В башке зачесали.
Подав гостям кашу,
Хлеб да простоквашу,
Начал старик снова
Мягче свое слово:
«Нынче все едино
Всем одна кручина!
Шляйтесь себе с богом
По нашим дорогам;
Пыли-то не больно
Жалко,— есть довольно!
Бери ее смело
На грешное тело,
Ну а в год дождливый,
В хлебный год счастливый,
Вы нам, что засуха,
Большая поруха.
Отколь что возьметя!
Столь вас наберется,
Не мигнуть и глазу,
Глядишь, цены сразу
Сбавят на работы
Пришлые народы!
И нам, вишь, помеха
И вам не утеха!» —
Сказал старик горько,
Глядя на Егорку.
Смутился тут дядя,
В простоквашу глядя!
Но на счастье Левка
Замял дело ловко:
«И у вас, знать, дедка,
Урожай редки!
А нам говорили,
Степь в большой, мол, силе,
Земли сколь угодно
Черной-хлебородной».
Молвил ему дедка:
«Редко, милый, редко!
Отчего, бог знает,
Земля все тощает,
Барская, мужичья —

Ровно, без отличья...
Земли черной много,
А родит-то плохо!»
А в ответ на это
Галактион деду
Молвил, вздохнув тихо:
«Видно, всюду лихо!
Ваша степь хвалена,
Что моя Алена,
Тучна, гладкобока
И костью широка,
А родить — не родит,
Все пустая ходит».
Но, прикончив кашу,
Хлеб и простоквашу,
Они покрестились,
Старцу поклонились,
Ходоки пристали —
Тотчас же постлали
На пол одежонки,
В головы котомки,
Легли, позевнули
И тотчас уснули.
Левке сон приснился:
Будто воротился
Он домой веселый,
Деньжищ полны полы
Принес своей женке
Из чужой сторонки;
И, вошедши в силу,
Тотчас же кобылу
Купил с жеребенком,
Корову с теленком,
Подновил избенку,
Да разрядил женку
И в школу сынишку
Послал учить книжку,
По благости божьей.
Галактион тоже
Добрый сон увидел:
Господь не обидел
И его Алены,
Наконец рожденный
Его сын, столь жданный,
Здоровый, румяный,

Сидел в штанах новых
На руках отцовых,
И отец смеялся,
Сыном любовался!..
Одному Егорке
Снился сон прегорький,
А видел Егорка,
Что чинилась порка
Ему в наставленьи
В волостном правленьи,
При мире крещеном,
Климом угощенном;
И пребольно секли —
Словно черти в пекле.
Старшина начальник
Да Клим целовальник
Секли своеручно,
Горячо и звучно!
И свистали лозы!
Лились его слезы,
Кровью багровело
Трудовое тело,
И лежал Егорка
Под этую поркой
С душою, убитой
Стыдом и обидой.—

.

Скоро в нашей тройке
Пошло все к расстройке:
У Галактиона —
Съешь его ворона —
Сон, что ему снился,
Так в сердце вцепился,
Что он одним утром,
По раздумьи мудром,
С надеждой отрадной
Повернул обратно.
Да и Левка скоро
Оставил Егора;
По пути уж кстати
Побывал он в граде
Поразузнать — что же
Сталось с Криворожим,

С Иваном Беспалым
Да с Кирюшкой Малым.
Умер Криворожий,
И Иван с ним тоже.
Жив только Кирюшка,
Да ему полушка
Вся цена-то стала.
И драть его мало!
Грех с ним приключился,
С бабой он слюбился,
С молодой вдовицей,
С ведьмой-чаровницей,
С лукавой хохлушкой,
С больничною служкой!
И в сетях-то этих
Позабыл о детях,
О жене, о доме!
Словно как в Содоме
Живет в этом граде
С бабой на прохладе;
Ест себе галушки,
Мандрики, пампушки,
Пьет с бабой горелку
И читит за безделку
Эти все деянья!
О дне покаянья
И о суде Страшном
За вином брашным
Забыл окаянный,
Бабьей лестью пьяный!
И от Левки скрылся,
К нему не явился.
Плюнув на все это,
Виля конец лета,
Дорогой знакомой
Побрел Левка к дому,
С пустою мощною,
С печальной душою,
Не чуждой укора
В сторону Егора.
Лето отлетело...
Листвой пожелтелой
Леса покрывались;
Журавли слетались
На поля пустые

И в страны иные
С криком улетали.
Люди собирали
Плод страды тяжелой...
Оживлялись села,
Росли скирды хлеба,
На гумнах стук цепа
Уже раздавался;
Всюду попадался
С конем иль с волами
Воз скрипуч с снопами.—
Егорка ж упрямый
Все шел себе прямо,
Мысля втихомолку:
«Все ж добыюсь я толку,
Не может быть это,
Чтоб по белу свету
Не сыскать мне доли,
Словно ветра в поле».
Брел один он долго,
Наконец над Волгой
В город заявился,
И там очутился
На плацу огромном,
В нарядишке скромном
Модного покрою,
Кое-где с дырою,
Кое-где с богатой
Большою заплатой.
Он стоял безмолвный
Средь площади, полной
Всякого народа,
Различного сброда,
И у всех наряды
Так же франтоваты.
Сошлись и глядели
Голые артели.
А перед толпою
Ласковой лисою
Человечек юркий,
Что-то вроде турки,
Цыгана иль жида,
Престранного вида,
Говорил лукаво:
«Послушайте, право,

Что долго гудорить,
И кричать, и спорить?!
Вы одно лишь знайте —
Паспорты давайте,
Идите в контору
И без разговору
Контракт подпишите,
Поскорей берите
На путь свой задатки,
В зубы по десятке,
И, помолясь богу,
Айда в путь-дорогу!
Уж поверьте слову,
Лучшего иного
На редкость дождаться!
Что тут торговаться?!
Легкая работа,
А на ней в полгода
Сотен пять добудешь!
Большие жилища,
Готовая пища,
В праздники винища,
За труды и рвенье,
Пейте без стеснения
За счет управленья!
И подчет недельный
Аккуратный, цельный!
Пришедши, на месте
Рубликов на двести
Вперед заберете,
Домой отошлете!»
Выслушав все это,
Егорка соседа
Толкнул полегоньку,
Спросил потихоньку:
«Куда нанимает,
Что так обещает?!»
— Хочет заусловить
Насыпь изготовить
Для чугунок новой!
Так вот свое слово
В ход-то и пускает,
И народ склоняет.—
«Бает он не худо!..
Далече ль отсюда?»

— В месте то не близком,
Верст сот восемь с лишком.
Егорка, как прежде,
Предался надежде;
Подумал он: «Что же?
Ведь и меня тоже
Господь с неба видит,
Даром не обидит;
Ведь не все ж напасти,
Авось тут и счастье!
Так и быть, наймуся
И в контракт впишуся!»
Человечек юркий,
Что-то вроде турки,
Цыгана иль жида,
Престранного вида,
Тем временем скрылся.
Тут зашевелился
Народ... Загалдели
Голые артели:
«Дуй, братцы, на гору!
Валико-сь в контору!
Давно с голодухи
У нас скверность в брюхе!
Да и надоело
Жить, братцы, без дела!
А тут все ж работа
И не без дохода!
Коль не врет, тем паче,
Этот сын собачий!»
И все гуртом в гору
Двинулись в контору.
И Егор туда же,
И вперед всех даже!
Вот через неделю
Егорка с артелью
(По круглому счету
Сотни три народу)
Были уж на месте.
Хоть не в такой чести,
Как сулил им ловкий,
При самой наемке,
Человечек юркий,
Что-то вроде турки,
Цыгана иль жида,

Престранного вида;
Все ж были в жилище,
Да и не без пищи.
Барак малость тесен,
На стенах все плесень,
Да заодно, кстати,—
Ни нар, ни полатей,
Ни столов, ни лавок,
Ни пола вдобавок,—
Зато светло больно
И свежо довольно.
В окнах стекол нету,
В стенах не без свету;
И хоть дверь затворят,
Но с богом не спорят;
В дождичек мокренько,
В холод холодненько.
Под одно к жилищу
Подогнана пища:
Хлебушко с мякиной
Да с беленькой глиной,
С червем солонина
Да с душком брюшина,—
Все из магазина;
Бери сколь угодно
И по цене сходной,
Повыше столичной,
С прибылью приличной.
Чего ж еще надо?
Но наши ребята
Через две недели
Уже загалдели.
Жалобы подняли,
На все возроптали:
«Бери себе — ваше,
А нам подай наше!» —
Кричат и начальство
Требуют, канальство.
«Вишь ты,— что сулили,
А чем наделили!
Это ведь безбожно!
Тут подохнуть можно
От житья такого!
Подай станového!
Пускай он рассудит!

Что будет — то будет!
Требуем расчёту,
Нейдем на работу!»
И власти дорожной
Было невозможно
Унять бунт беспутный
(Подвиг этот трудный).
Прибыло начальство
Усмирять нахальство.

.
.
.
.

Жили себе козы,
Росли себе лозы,
Из села Засеки
Пришли дровосеки,
Лоз-то нарубили,
Да на воз взвалили,
Да и укатили.
Это, вишь, присловье,
Одно пустословье!
Ну и на здоровье.
А мы посмеемся
Да к сказке вернемся.
Егорка не смелый
Видит — плохо дело!
Он с дороги с этой
Как-то без билета
В полночную пору
Задал домой деру!
Не скоро Егорка
Достигнул пригорка;
Долго он шатался,
Долго побирался
По местам по новым
Именем Христовым.
Место не знакомо —
Трудно попасть к дому.
Хоть люди простые
Душою не злые,
В каждой деревеньке
Его не за деньги

Питали и грели
В мороз и метели,
Что зима с собою
Той поздней порою
Принесла в подоле
И пустила в поле,—
Но люди простые
Про места чужие
Мало что слышали,—
Плохо толковали
Егорке блажному
Про дорогу к дому.
Стал уж он бояться,
Что ввек не добратся
Из чужого места
К родному насесту.
Но и в эту пору
Помог бог Егору.
Раз в мороз трескучий
Послал ему случай.
В губернии жалкой,
Где подати палкой
С голодного люда
Выбивают худо,
Где в деревне каждой
Едят в год однажды,
На Пасху святую,
Трапезу мясную
И где хлеб овсяник
Люди чтут за пряник,
А об ржаном знали,
Что деды едали
Не по малой крохе
При царе Горохе,—
Было между прочим
И село Кусочи.
Божьим изволеньем
Над этим селеньем
Не царила бедность,
И на всю окрестность
Одно в житье сладком
Славилось достатком;
Был тут храм Николы,
Кабак был и школа.
Вот Егор раз к ночи

И зашел в Кусочи.
А где храм есть божий,
Там наверно тоже
Есть и поп...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Только о полночи
Набат что есть мочи
По селу раздался...
Народ весь поднялся,
Небо вдруг зарделось:
Школа загорелась!
А в школе, к печãли,
Дети ночевали.
По случаю святок
Сироток с десятков
С учительшей жили,
Праздник проводили.
Учительша в страхе
Лишь в одной рубахе,
Выломавши раму,
Из окошка прямо
Прыгнула, разбилась
И чувства лишилась.
Девочки ж малютки,
Потеряв рассудки,
В пламени метались,
В дыму задохались.
Уже загорались
У деток рубашки...
Гибнули бедняжки!
Народ весь сбежался,
Охал и метался,
Бабы воем выли
Да воду носили.
Хоть народ топтался,
Никто не решался

Прыгнуть в огонь к детям
И спасти их этим.
Горе Егор видит:
«Э! Бог не обидит
За доброе дело!»
И в полымя смело,
Крестясь, махнул прямо
В выбитую раму.
Из огня он вылез,
Пяток деток вынес;
Без лишнего слова
Махнул в огонь снова
И вынес остаток,
Сосчитал — десяток!
«Эк! Кусай вас блохи,
Какие все крохи!..
Ну, с меня довольно,—
Пообжегся больно!»
Егор улыбался,
Полой обтирался
Да за чуб хватался:
«Опалил, знать, с телом!
Вишь, пахнет горелым!..
Что, девоньки, — жутко?!
С огнем плоха шутка!»
Детки к нему жались.
Больно испугались.

.

Зданье догорало;
Пламя утихло...
Народ расходился,
Егорке дивился:
«Вишь, какой отважный!
Экой мужик важный!»
Наконец на тройке
И становой бойкий
Прикатил к пожару;
Едва с полугару
Его растолкали
И растолковали
О беде в селенье,
И он во мгновенье
С урядником вместе

Был уже на месте.
«Что?! Каким манером
Случилось, примером?
Не было ль поджога?» —
Спрашивал он строго.
Староста замялся,
В башке почесался:
«Господь его знает?!
Всякое бывает!»
Становой обходит
Место и поводит
Грозными очами.
«Есть тут между вами
Сбродный люд, бродячий?
Слышь ты, сын собачий?!»
Староста замялся
И вновь почесался:
«Есть один захожий,
Только — мужик гожий;
Этакой отважный.
Мужик, кажись, важный!
Не будь он — девчешки
Были б головешки!»
— Ну вот, я ведь знаю,
Сразу, брат, смекаю.
Сами поджигают,
А потом спасают!
Где он? Приведи-ка
Воина Анику!
Сонного Егора
Притащили скоро.
«Кто ты?» — Я Егорка
С крутого пригорка.
«Есть билет?» — Билету
У меня, вишь, — нету...
«А! Ты беспаспортный!
И плут первосортный,
Вижу уж по роже!
Ты поджиг?» — Пошто же?
Храни меня боже!.. —
Обиженный горько,
Отвечал Егорка.
Но становой гордо
Треснул его в морду:
«Что рассуждать с швалью!

Взять его, каналью!
Протокол составить
И в город отправить!»

.

Случай вышел горький!
Зато у Егорки
Отдохнули ноги
В городском остроге,
Хоть душа болела.
Тоска одолела
По детям, по женке,
По родной сторонке.
Но через полгода
Пришла и свобода;
В суд его водили,
Там его судили
И, как ни смекали,
Все же оправдали
(Нынче судят слабо).
Потом по этапу
Погнали Егорку
К родному пригорку.

.

Что ж он видит дома?
Кажись, все знакомо,
Но, однако, все же
Что-то есть негоже,
Что-то приключилось,
Что-то изменилось.
Кажется Егорке,
Что и на пригорке
Будто стало тише;
Избенка без крыши,
А возле избенки
Ни детей, ни женки;
Дверь в избу открыта,
Окошко разбито.
В избу он заходит —
Пусто... Только бродит
В избе петух старый
Да куриц две пары.

Что такое, боже?!
И на дворе тоже
Развалилась стайка!
«Да где же хозяйка?
Катерина, где ты?!
Детки мои, светы?!» —
Крикнул Егор дико,
И этого крика
Сам же испугался.
Но не отозвался
Никто на крик горький
Бедному Егорке.
Сердце его сжалось,
Что-то оборвалось
Там, в сердце, привычном
К невздам обычным.
И сошел Егорка
С своего пригорка.
Как пьяный, шатаясь,
Побрел, спотыкаясь,
Он к Левке-соседу
Поискать ответу:
Что случилось с семьею?
Что стряслось такое
Над гнездом родимым,
Теплым и любимым?
Не весел, не светел,
Левка его встретил,
Грязный, с хриплой глоткой
И пахнувший водкой:
«А! видел, бродяга,
Как Клим-то, сутяга,
Постарался другу
За свою услугу?!
С него взятки гладки!
Нынче, брат, порядки.
За рожь взял Савраску,
А потом и Машку
С телкой в недоимки
Брюхатому ж Климке
Продали... Чу-де-сно!
Порядки — известно!
А нужда приспела,
Твоих деток съела.
Мать их схоронила

Да и разрешила
Топить горе в чаре,
Да с кручиной в паре
Запряглася в дышло,—
Ну и дело вышло!
Уж кабака Клима
Не пропустит мимо!
И теперь с позором
Под чужим забором
Где-нибудь свалилась,
Коль не утопилась!
Могуча, брат, водка!
Вот и завтра сходка
Будет — и Егорке
Не миновать порки
При мире крещеном,
Климом угощенном!
Мне самому горько!
Выпьем, брат, Егорка!
Пей со мной, мой милый,
Коли жить есть силы,—
Тоже разорили
И меня, беднягу,
Как тебя, бродягу!
Эх! Егорка — ду-ра!
Знай, мужичья шкура
Со смиренным духом
Не обрстет пухом!»
Молча без ответа,
Как во сне, все это
Выслушал Егорка.
Усмехнувшись горько,
Молвил потом другу:
«Окажи услугу!»
И он обнял Левку:
«Дай мне, брат, веревку?»
— На! — «Спасибо другу
За эту услугу!»
Ни на что не глядя,
Наш Егорка-дядя
Вышел за селенье...
Лопнуло терпенье!
И Егорка бедный,
Никому не вредный,
Жизнью умудренный,

Пошел в лес зеленый.
Шел он в лес убитый,
В сердце с ядовитой
Тоскою глубокой,—
И зашел далеко.
Только вдруг под елью
Видит Егор келью,
А в той келье кельник,
Премудрый отшельник.
Егор удивился
И остановился.
Мудрец, видя это,
С знаками привета
Просит войти в келью
Под большую елью.
«Вижу, ты, брат, в горе,
Со злой долей в споре...
Побудь тут со мною
И своей бедою
Поделись... быть может,
Нам господь поможет
Снять с сердца больного
Тяжесть горя злого.
Знаю я прекрасно:
Люди злы ужасно
И не живут в мире!
На жизненном пире,
По законам света,
Добрым места нету!»
Не заходя в келью,
Сел Егор под елью
На скамье дерновой.
О жизни суровой,
Злой, многострадальной,
Горькой и печальной,
Без тепла и света,
Без ласк и привета,
Без искры участия,
Без капельки счастья,
Повесть свою начал.
Без жалоб, без плача,
Только с озлобленьем
И недоуменьем
Говорил он. Кельник,
Премудрый отшельник,

Слушал с грустным взором
И с тихим укором,
Как пепел седою
Качал головою.
И наконец горько
Окончил Егорка:
«Правда твоя, милый;
Страшен свет постылый!
Люди злы безбожно!
Стало жить не можно;
В мире бой и давка!..
Вот хоть Клим наш, пьявка,
Сгубил напоследок
Жену мою, деток
И добился б порки
Самому Егорке,
Да спасет веревка,
Что дал мне друг Левка...
Что ж терпеть, докуда?
Что я сделал худо?
Мухи не обидел,
А счастья не видел!
Век-то я трудился,
Век пот с меня лился,
А меня знай давят,
Словно волка травят!..
Силы ж нет, родимый,
Совладать со злыми;
И нас злая сила
К земле придавила,
Как в год несчастливый
Градом колос нивы!»
Смолк Егор... И кельник,
Премудрый отшельник,
Мягко, не сурово,
Начал свое слово:
«Не в силе, друг, дело!
Силой не сумела
Вся масса людская
Добыть в мире рая!
Только лишь прощенье,
Любовь да терпенье
Победят зло в свете!..
Об этом предмете
Почитай в рассказе

О добром Ильясе!..
В твоей полной власти
Узнать в жизни счастье,
Ты только смирился,
Пойди поклонися
Хоть тому же Климу
И скажи: «Родимый,
Возьми меня к дому,
Тебе, как родному,
Я буду слугою,
К твоему покою!»
И Клим устыдится
И сердцем смирится
Пред твоей любовью,
К твоему здоровью!
Следуй сему слову:
Не противься злumu!»
— Я ль не поклонялся?!
Я ль сопротивлялся?!
Но чтоб так смириться,
Чтобы поклониться
Климу-лиходею,
Своему злодею,
Да ему батрачить,
У него собачить,—
Нет уж, это дудки!
Я еще в рассудке...

.

Ночь уже спустилась,
И луна явилась
Над еловым лесом...
И звездным навесом
Небо нависало
Над землей усталой...
А сквозь ветви ели
Звездочки глядели
Кротко, полны ласки,
Словно деток глазки.
Ни луны далекой,
Ни звезд, что высоко
Над землей светились
И тихо катились,
Плывя, словно в море,
В небесном просторе,—

Не видел Егорка.
Встал и, вздохнув горько,
Отошел немного.
И, помолясь богу,
Молвил он: «Ну, милый,
Жить нет больше силы!
По твоему слову,
Не противлюсь злему!»

.

С этим самым словом
На суку еловом
Повис наш Егорка
С крутого пригорка!

ОГЛАВЛЕНИЕ



| | |
|--|-----|
| От автора | 3 |
| Глава первая. К спору о «народных книгах» | 6 |
| Глава вторая. Ряженая литература | 63 |
| Глава третья. Эпопея крестьянской жизни | 198 |
| Глава четвертая. Вокруг народных рассказов Л. Н. Толстого | 287 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Сказка о мужике Егорке (<i>Посвящается гр. Л. Н. Толстому</i>) | 310 |
|--|-----|

**В 1983 году
в издательстве
«Художественная литература»
вышли в свет:**

Бушмин А. «Александр Фадеев. Черты
творческой индивидуальности»

Бялый Г. «В. Г. Короленко»

Кантор В. «„Братья Карамазовы“
Ф. Достоевского»

Глухов Ю. «Федор Гладков»

Эвентов И. «Демьян Бедный. Жизнь.
Поэзия. Судьба»

Базанов В. Г.

Б17 От фольклора к народной книге: Монография.
Изд. 2-е.— Л.: Худож. лит., 1984.— 344 с.

В книге рассматривается круг проблем, связанных как с историей русской литературы и с фольклористикой, так и с историей революционного народнического движения 1870-х годов. Основное внимание уделено судьбе демократической книги для народа, произведениям революционных народников, распространявшимся в крестьянской и рабочей среде и сыгравшим важную роль в революционной пропаганде и просвещении народа. Много места отводится анализу великой «народной книги» — поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в связи с революционным движением в России пореформенной поры.

Б 460400000-050
028(01)-84 КБ-41-78-83

ББК.83.3Р1

Василий Григорьевич Базанов

**ОТ ФОЛЬКЛОРА
К НАРОДНОЙ
КНИГЕ**

Редактор **Т. Мельникова**

Художественный редактор

Р. Чумаков

Технический редактор

Н. Литвина

Корректор **А. Борисенкова**

ИБ № 3384

Сдано в набор 28.03.83. Подписано в печать 29.09.83. М 29969. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 18,06 усл. печ. л. 18,06 усл. кр.-отт. 19,92 уч.-изд. л. Тираж 6000 экз. Изд. № Л IX—76. Заказ № 864. Цена 1 р. 70 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

